

Российская академия наук
Институт психологии

К. К. ПЛАТОНОВ

МОИ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
НА ВЕЛИКОЙ ДОРОГЕ
ЖИЗНИ

(Воспоминания старого психолога)



Издательство
«Институт психологии РАН»
Москва 2005

УДК 159.9
ББК 88
П 37

Платонов К. К. Мои личные встречи на великой дороге жизни (Воспоминания старого психолога)/Под ред. А. Д. Глоточкина, А. Л. Журавлева, В. А. Кольцовой, В. Н. Лоскутова. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. — 310 с. (Выдающиеся ученые Института психологии РАН)

П 37

УДК 159.9
ББК 88
П 37

В книгу вошли воспоминания выдающегося ученого-экспериментатора, психолога и невропатолога, военврача и летчика Константина Константиновича Платонова. Становление психологии как науки в молодой стране по имени Советский Союз встретило множество видимых преград и подводных рифов. Книга представляет интерес как история борьбы настоящих ученых, преданных своему делу, с косностью руководства и бюрократизмом чиновников, с непониманием научных идей. Это история о людях, которые, невзирая на сложности быта, испытывая боль войны и разруху, стремились и упорно шли к высокой цели. Все это предстает перед нами сквозь призму чувств и душевных терзаний тех, кто творил науку, кто, идя по великой дороге жизни, оставлял свой глубокий след не только в науке, но и в сердцах последователей и учеников.

Эта книга издана в память о дорогом учителе силами помнящих его учеников.

ISBN 5-9270-0055-X

© Институт психологии Российской академии наук, 2005

Содержание

ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО К.К. ПЛАТОНОВА	5
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	39
I. ДЕД И ОТЕЦ	41
Иван Яковлевич Платонов	41
Константин Иванович Платонов	46
II. ИРЕ И ИРЕВЦЫ	56
Институт распространения естествознания	56
Виктор Валентинович Стахорский	57
Георгий Всеволодович Каховский	59
Пантелеймон Васильевич Толкачев	61
Иван Константинович Тарнани	62
Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев	64
Биофак ХИНО	65
Михаил Павлович Марков	67
III. МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ	70
Николай Константинович Кольцов	70
Владимир Леонидович Дуров	73
Михаил Михайлович Завадовский	76
Иван Илларионович Месяцев и Плавморнин	80
IV. ПУТЬ В МЕДИЦИНУ	84
Владимир Петрович Воробьев	84
Захар Иванович Чучмарев	88
Психотехника снизу	94
Леонид Леонидович Васильев	98
Поведенческий съезд	105
Встречи с полярниками	109

V. СОВЕТСКИЕ ПСИХОТЕХНИКИ	113
Анатолий Моисеевич Мандрыка	113
Серафим Михайлович Василейский	120
Исаак Навтулович Шпильрейн	127
Соломон Григорьевич Геллерштейн	135
Ася Ильинична Колодная	141
Николай Дмитриевич Левитов	144
VI. СОВЕТСКИЕ ПСИХОЛОГИ	150
Константин Николаевич Корнилов	150
Владимир Николаевич Мясичев	157
Сергей Леонидович Рубинштейн	164
Надежда Николаевна Ладыгина-Котс	174
Борис Герасимович Ананьев	178
Борис Михайлович Теплов	183
Виктор Николаевич Колбановский	194
Григорий Демьянович Луков	204
Григорий Гаврилович Голубев	209
VII. СОВЕТСКИЕ ПСИХИАТРЫ	215
Владимир Михайлович Бехтерев	215
Виктор Петрович Осипов	221
Михаил Осипович Гуревич	227
VIII. СОВЕТСКИЕ ФИЗИОЛОГИ	234
Василий Яковлевич Данилевский	234
Иван Петрович Павлов	237
Алексей Алексеевич Ухтомский	240
Петр Кузьмич Анохин	242
Алексей Данилович Сперанский	248
Владимир Владимирович Стрельцов	254
Яков Федорович Самтер	266
Николай Александрович Бернштейн	270
Константин Михайлович Быков	275
Леон Абгарович Орбели	283
ПОСЛЕСЛОВИЕ	291
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ	292

ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО К.К. ПЛАТОНОВА

Вниманию читателей предлагается книга воспоминаний Константина Константиновича Платонова «Мои личные встречи на великой дороге жизни».

Что в ней ожидает читателя?

Биолог, врач, доктор медицинских наук, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки К. К. Платонов известен как ученый-исследователь, психолог-теоретик и психолог-практик, стоявший у истоков российской психологической науки советского периода и посвятивший ей, по существу, всю свою многогранную жизнедеятельность. Он внес значительный вклад в разработку общей и социальной психологии, психологии труда, военной психологии, истории психологии. Автор ряда психологических концепций и в то же время прекрасный популяризатор психологии, он обладал великим даром говорить просто об очень сложных и специфически научных проблемах. Многие из тех, кто впоследствии связал свою судьбу с психологией, впервые об этой науке узнали из книги К. К. Платонова «Занимательная психология», написанной им в госпитале, в период реабилитации после инсульта.

С чрезвычайным вниманием, высокой ответственностью и самоотверженной отдачей относился К. К. Платонов также к той функции, которую он выполнял до самых последних дней своей жизни, — быть наставником, учителем молодых ученых. И все, кому посчастливилось знать К. К. Платонова и работать с ним, испытали на себе

благотворное влияние его личности, навсегда запомнили его душевную щедрость, готовность делиться своими обширными знаниями и передавать свой богатейший опыт, увлеченность психологией, можно сказать, одержимость и оптимизм. Он был многогранной и цельной личностью, отличался необычайной широтой интересов: знаток и ценитель музыки, изобразительного искусства, достижений медицины и космонавтики, литературы и истории. Собеседник всегда получал от него новую, неизвестную ему ранее информацию, восхищался оригинальными и глубокими суждениями и оценками.

К. К. Платонов был предан науке, ей он отдавал всего себя всю свою сознательную жизнь. Буквально до самого последнего своего вздоха он продолжал работать, оставаясь на передовом рубеже научного поиска.

Трудна и прекрасна судьба ученого. Жизненной стратегией К. К. Платонова было стремление всегда находиться там, где начинались серьезные дела, где ставились и решались новые и трудные задачи, где требовались смелые, верные гражданскому долгу люди. Именно в этих условиях и в эти исторические моменты его пылкий ум и неукротимая энергия получали свою максимально полную реализацию. Невероятная работоспособность, новаторский дух, бесстрашие в постановке новых задач и способов их решения — вот что более всего отличало Платонова — ученого и человека.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что в личной и научной судьбе К. К. Платонова, как в капле воды, отразилась вся история отечественной психологии с ее проблемами и поисками на всех этапах ее развития. А история эта была непростой и научная работа — нелегкой. Серьезные достижения, выдвинувшие отечественную психологическую науку в фарватер мировой психологии, сочетались с немалыми ошибками: периоды бурного развития сменялись временами отступления, застоя, свертывания исследований в отдельных ее отраслях. В развитии психологии отразились те общие социальные трудности, через которые прошла наша страна, наша наука. Каких только перипетий не пришлось пережить тем ученым, которые связали свою жизнь и научную судьбу с психологией: Б. Г. Ананьеву, Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву,

В. Н. Мясищеву, С. Л. Рубинштейну, Д. Н. Узнадзе и многим, многим другим. Среди них — организаторов и создателей отечественной психологической науки XX столетия — достойное место занимает и К. К. Платонов.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, как раз и знакомит его с историей отечественной психологической науки советского периода начиная с ее становления в первые послереволюционные годы и до середины восьмого десятилетия прошлого века. Но это не сухая хроника событий и фактов научной жизни. История предстает в книге через описание особенностей реальных личностей ученых, творивших ее. С ними в тех или иных обстоятельствах пришлось соприкоснуться К. К. Платонову. При этом с одними его связывали глубокие творческие контакты и дружба на протяжении долгих лет, и они оказали огромное влияние на формирование его личности и научных интересов, знакомство с другими ограничивалось лишь мимолетными встречами. Но благодаря автору книги мы получаем возможность глубже познакомиться с теми и с другими, узнать об очень многих интересных людях и их судьбах.

Пристальное внимание, особенно в последние годы работы, Константин Константинович уделял истории отечественной психологии, постоянно подчеркивал важность историко-психологических разработок. За строками этой книги, за меткими, сочными, порой даже чрезвычайно эмоциональными характеристиками ученых чувствуется глубокое дыхание истории. Жизнь и творчество персонажей книги представлены на фоне социально-экономических и политических событий, происходивших в нашей стране. Главный же герой этой книги — история нашей психологической науки.

Эта книга в определенной мере компенсирует дефицит историко-психологической литературы. История становления и развития отечественной психологической науки предстает в освещении автора через описание личности и деяний конкретных ученых, о которых мы получаем здесь богатую информацию, а многих впервые открываем для себя. Все это делает ее особенно привлекательной не только для специалистов-психологов, но и для всех читателей, которых интересует история отечественной научной мысли.

По своему жанру эта книга может быть отнесена к мемуарной литературе, прежде всего потому, что в ней четко прослеживается авторская позиция, его оценка личностей, интерпретация описываемых ситуаций и фактов, а исторические события воспроизводятся через призму авторских подходов и установок. Но одновременно это и психологический по своему содержанию труд, так как объектом исследования автора являются личности, рассматриваемые в контексте социальных условий их формирования, раскрываются разные характеры, исследуются психологические аспекты межличностного, делового и неформального общения в научном мире. Следует заметить, что персонажи книги раскрываются не просто человеком, знавшим их и передающим свои житейские впечатления, а тонким психологом-ученым, профессионально исследующим внутренний мир личности. Поэтому многие авторские оценки и характеристики не просто представляют интерес, но и обладают определенной научной ценностью. Это делает книгу заметным явлением в этом жанре научной литературы.

Наконец, как уже было сказано, через описание особенностей разных людей, встречи с которыми автор бережно сохранил в своей памяти, в своем сердце и донес до читателя, перед нами зримо раскрывается и собственный жизненный путь К. К. Платонова как ученого, вошедшего в историю отечественной психологической науки.

К. К. Платонов родился 7 июня 1906 г. в г. Харькове в семье потомственных врачей. Его дед Иван Яковлевич Платонов — известный русский психиатр, один из тех врачей-подвижников, которые способствовали утверждению нового подхода к лечению нервно-психических заболеваний, формированию гуманного отношения к человеку, пораженному этим тяжелым недугом. Отец, Константин Иванович, — крупный невропатолог, доктор медицинских наук, работавший с 1909 по 1912 г. в Петербурге в нервно-психиатрической клинике Военно-медицинской академии под руководством В. М. Бехтерева, впоследствии — известный врач-клиницист и преподаватель медицины, внесший большой вклад в разработку и использование в клинике неврозов методов внушения и гипноза. Большое влияние на формирование личности ученого оказала его

мать — Вера Александровна Лебедева, высокообразованный, культурный человек, профессиональный педагог.

Проведший детство в окружении больных, рано столкнувшийся с человеческим несчастьем и сам перенесший большие потери (у К. К. Платонова рано умерла мать), испытывавший благотворное влияние родных, Константин Константинович глубоко усвоил и навсегда впитал в себя устойчивый интерес к познанию людей и их проблем.

В 1921 г., будучи 15-летним подростком, Константин Константинович начинает работать коллектором-препаратором в Институте распространения естествознания (ИРЕ) в г. Харькове. ИРЕ представлял собой первый народный лекторий, созданный на базе краеведческого музея, где для населения бесплатно читались лекции по атеизму и краеведению. В 1924 г. К. К. Платонов избирается секретарем правления ИРЕ и утверждается лектором. Следует отметить, что в течение всей своей жизни К. К. Платонов активно участвовал в лекционной пропаганде, являлся членом правления Всесоюзного общества «Знание», с высокой ответственностью относился к подготовке каждой лекции. Здесь же, в ИРЕ, он делает свои первые шаги в науке, здесь формируются его интересы, здесь он приобретает значительный объем знаний в области естествознания, а также навыки, необходимые ученому-естествоиспытателю. Итогом уже первых научных проб К. К. Платонова явился его «Краткий определитель амфибий и рептилий Украины» — книга, вышедшая в Харькове в 1926 г., которая представляла собой довольно систематическое учебное пособие для студентов педвузов. А ведь автору этой книги было в то время всего 20 лет. Сам он очень любил свой первый научный труд, с гордостью показывал его своим друзьям и коллегам.

В ИРЕ К. К. Платонов работал с людьми, глубоко и искренне любящими природу, убежденными в необходимости распространения и пропаганды естественных наук. Это В. В. Стахорский — один из организаторов ИРЕ, ботаник-дарвинист, учитель природоведения Харьковского художественного училища, Г. В. Каховский — известный энтомолог, путешественник, участник многих экспедиций конца

XIX — начала XX в. в разные страны мира, автор коллекции насекомых, хранящейся в Зоологическом музее АН СССР, И. К. Тарнани — профессор зоологии Харьковского сельскохозяйственного института, председатель правления ИРЕ, Б. П. Остащенко-Кудрявцев — профессор астрономии, М. П. Марков — гибридолог, профессор ветеринарного института и др.

Определенное влияние на К. К. Платонова оказали встречи и с другими известными советскими естествоиспытателями. Среди них Н. К. Кольцов — советский генетик, отстаивавший идею генетической обусловленности психосоматических и поведенческих свойств животных, известный генетик М. М. Завадовский, А. Л. Васильев — руководитель лаборатории нейрофизиологии Института мозга и специалист в области парабиоза, автор серии популярных и научных трудов по проблемам внушения, отечественные полярники-исследователи Г. А. Ушаков, О. Ю. Шмидт и др.

В ИРЕ произошла встреча К. К. Платонова с его будущей женой Галиной Николаевной, ставшей на всю жизнь ему верным другом и помощником и разделявшей все его жизненные успехи и трудности.

В 1923 г. К. К. Платонов поступает на биологический факультет Харьковского института народного образования. Однако его деятельная натура требовала полной отдачи, поиска социально значимой сферы деятельности. И такой одновременно и научной, и практической областью ему представлялась медицина. Сказывалось влияние родителей-врачей, общая гуманистическая ориентированность личности. И в 1925 г. он переводится на первый курс Харьковского медицинского института. Позднее, в 1929 г., уже будучи дипломированным врачом и работая в области психогигиены, он экстерном заканчивает биологический факультет, получая, таким образом, второе высшее образование.

В студенческие годы К. К. Платонов одновременно работает внештатным младшим научным сотрудником в психофизиологической лаборатории Украинского психоневрологического института, возглавляемой профессором Э. И. Чучмаревым. Здесь он осуществляет первую попытку психофизиологического исследования, включив-

шись в обследование лиц, находящихся под следствием (совместно с Э. И. Чучмаревым, В. А. Лавровой, С. Д. Кашинским). Таким образом, уже с самых первых шагов четко обозначились и заявили о себе, может быть, еще не совсем осознанные, но уже глубоко ощущаемые интересы в области изучения естественнонаучных основ психики и сознания, что впоследствии на сравнительно долгое время становится главным полем научной деятельности К. К. Платонова.

Важно отметить, что на выбор его жизненного пути значительное влияние оказала встреча с Владимиром Михайловичем Бехтеревым, известным русским психиатром, ученым-невропатологом, состоявшаяся в 1925 г. в доме отца Константина Константиновича. Эта встреча представителей двух поколений на стыке двух эпох в истории отечественной психологии глубоко символична. О ней часто и очень тепло отзывался К. К. Платонов, пишет об этом он и в своих воспоминаниях. И не случайно: ведь с именем В. М. Бехтерева связано очень много важных событий в истории русской психологии. Он являлся организатором первой в нашей стране психофизиологической лаборатории, созданной в 1885 г. в г. Казани, и Петербургской лаборатории экспериментальной психологии, открытой в 1904 г. Под руководством В. М. Бехтерева создаются Психоневрологический институт, Институт мозга и психической деятельности, Психоневрологическая академия, Казанский институт НОТ, Государственная лаборатория по изучению труда, организуется ряд научных журналов и т. д. Огромны и научные заслуги В. М. Бехтерева в разных отраслях физиологии, морфологии, анатомии и психологии, в разработке ряда ведущих направлений и проблем психологической науки, ее основополагающих принципов и подходов. Наконец, В. М. Бехтерев воспитал целую плеяду ученых, прославивших отечественную науку, поэтому разговор с таким человеком, блестящим ученым-естествоиспытателем не мог не оставить неизгладимого следа в сознании К. К. Платонова.

Следует отметить, что, где бы впоследствии ни работал К. К. Платонов, какими бы проблемами он ни занимался, естественнонаучная направленность его взглядов всегда проявлялась достаточно четко и последовательно.

Обладая кипучим темпераментом, целеустремленностью, являясь чрезвычайно деятельным человеком, К. К. Платонов стремился максимально полно и с наибольшей отдачей использовать свои возможности и применять полученные знания в своей активной практической деятельности. В 1926 г. он работает в психотехнической лаборатории Южной железной дороги, затем, переехав в Ленинград, — в Институте мозга по проблемам нейрофизиологии, а после окончания Ленинградского института медицинских знаний едет по распределению работать врачом в Забайкалье.

Практическая энергия сочеталась у К. К. Платонова с исследовательской. Очень рано, уже в молодые годы, у него сформировалась потребность ставить и решать проблемы, пытаться не только видеть, но и объяснять мир. Это, в частности, отчетливо проявилось во время медицинской практики в Забайкалье, где его врачебная деятельность сочеталась с глубоким исследованием урвской болезни, проведенным совместно с профессором Н. И. Дамперовым, в котором получены интересные и полезные научные и практические результаты. Симбиоз исследователя и практика, способность ставить серьезные исследовательские задачи и самому непосредственно решать их — ценнейшее качество, которое всегда отличало К. К. Платонова.

Становление молодого ученого осуществлялось на фоне социально-исторических преобразований, происходящих в нашей стране после Октябрьской революции. В 1920—1930-е годы происходила перестройка и в психологической науке на диалектико-материалистической основе. Критика идеалистического толкования психологии, господствовавшего в дореволюционной психологической науке, и ее ведущего метода — интроспекции, а также призыв к перестройке науки на новых философских основаниях содержались в работах П. П. Блонского «Реформа науки» (1920) и «Очерк научной психологии» (1921), а также в докладе К. Н. Корнилова «Современная психология и марксизм» на I Всероссийском съезде по психоневрологии (1923, г. Москва). Один из инициаторов перестройки психологической науки в нашей стране, К. Н. Корнилов, отмечая историческую неизбежность переворота в методологических предпосылках общественных наук и естествознания, подчеркивал, что этот

переворот, конечно же, не может пройти бесследно и для соединительного звена этих сфер человеческого знания, каковым является психология.

Критический пересмотр идеалистического, субъективно-эмпирического подхода в психологии привел к усилению ведущих направлений объективной психологии — реактологии и рефлексологии, выступающих как антитеза субъективным интроспекционистским направлениям психологической мысли, о чем свидетельствуют решения II Всесоюзного съезда по психоневрологии (1924, г. Петроград), а также выход в свет работы В. М. Бехтерева «Общие основания рефлексологии» (1921) и др. Тенденции превращения биологии и физиологии в естественнонаучный фундамент психологической науки способствовало издание в 1920-е годы ряда трудов естествоиспытателей и физиологов: работы «Биопсихология и смежные науки» (1923) В. А. Вагнера, «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» (1923) И. П. Павлова и др.

Конечно же, становление психологии на новой методологической основе явилось итогом творческой деятельности многих ученых и научных коллективов. Однако представлять развитие марксистской психологической науки как движение исключительно по восходящей линии было бы неверно. Ее становление не могло быть совершенно безошибочным, в ее развитии были и тупиковые направления. «Такого обилия выброшенных на общественный рынок идей, — писал К. Н. Корнилов в 1928 г., — часто противоречивых, может быть и ошибочных, даже ненужных, мы не наблюдали никогда еще в истории русской психологии. И этот колоссальный поток идей и их столкновение не прошли бесследно: в результате его мы имеем не менее колоссальный сдвиг — от идеализма и метафизики к диалектическому материализму».

Оценка того или иного направления, течения или школы психологии не может быть осуществлена на основе лишь одного полюса континуума: «положительное» или «отрицательное», «адекватное» или «ошибочное». Ибо, как правило, в них содержатся и конструктивные идеи, требующие дальнейшего развития, и ошибочные

положения, подвергающиеся справедливой научной критике. Именно такой процесс серьезного переосмысления позиций психологической науки, поиска основополагающих принципов построения психологии на диалектико-материалистических философских основаниях протекал в нашей стране в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Критическому анализу подвергались прежде всего так называемые механистические направления психологии — реактология и рефлексология, при этом не были сохранены рациональные зерна данных направлений в психологической науке, чем была нарушена преемственность научного познания.

В отношении к психотехнике также не было проявлено гибкости, свойственной диалектическому подходу. Возобладало отрицание, которое привело к ее ликвидации. Многие видные ученые, организаторы науки были подвергнуты репрессиям (И. Н. Шпильрейн, С. Г. Геллерштейн, Д. И. Рейтынбарг и др.). Командно-административные, субъективистские, волюнтаристские методы руководства наукой, утвердившиеся в нашей стране в 30-е годы XX в., привели, как известно, к уничтожению ряда перспективных научных направлений, многих весьма плодотворных и ценных идей. В итоге на несколько десятилетий были свернуты, например, исследования в области социальной психологии и психологии труда. Последние возродились лишь в 1950-е годы в форме инженерно-психологических разработок, представлявших только часть этой обширной области психологических исследований. Психология труда впоследствии вынуждена была вновь открывать для себя те проблемы и решать те задачи, которые уже были поставлены и достаточно успешно решались нашей наукой.

Нельзя не отметить, что эта страница истории психологии в нашей стране, к сожалению, до сих пор почти не исследована, прежде всего в силу отсутствия необходимого документального материала. И поэтому тем более важным представляется то, что в книге К. К. Платонова этому периоду развития отечественной психологии уделяется значительное внимание.

Ценность этой информации и в том, что она исходит не от постороннего, беспристрастного наблюдателя, а от ученого-исследователя, видевшего изнутри процесс становления, развития, можно

сказать, некоторого расцвета, а затем и разгрома этого научного направления, он был также свидетелем расправ с учеными, сыгравшими значительную роль в борьбе с интроспекционизмом, но не сумевшими в силу не только личных, но и объективных причин встать на последовательные диалектико-материалистические позиции, реализовавшими в психологии, по существу, механистически материалистический подход. Игнорируя роль и функции психики и сознания человека в его взаимодействии с миром и сводя психическую деятельность исключительно к поведенческим актам, представляющим собой непосредственный ответ организма на объективные воздействия извне, В. М. Бехтерев и К. Н. Корнилов тем самым, по существу, ставили под сомнение и само существование психологии как самостоятельной науки, призванной исследовать реалии, отраженные в понятиях «психика» и «сознание человека».

В конце 1920-х — начале 1930-х годов в ходе острых дискуссий по проблемам рефлексологии и реактологии были вскрыты недостатки механистического подхода к пониманию сущности и природы психического, показано упрощенное толкование отражения мозгом человека окружающего мира. Большую роль в преодолении этих ошибочных позиций сыграла деятельность методологической секции при Обществе неврологии, рефлексологии, гипнологии и биофизики (создана в 1928 г.), а также конференция по методологическим проблемам рефлексологии (1929, г. Ленинград) и I Всесоюзный съезд по изучению поведения человека (1930, г. Ленинград). Завершилась критика рефлексологии и реактологии на реактологической дискуссии, проведенной в Государственном институте психологии, педологии и психотехники (1931, г. Москва). В результате всей этой серьезной методологической работы, проведенной в конце 1920-х — начале 1930-х годов, утвердилось диалектико-материалистическое понимание психики, сознания, личности. Психика стала рассматриваться как процесс и результат отражения, как субъективный образ объективного мира. Вводится принцип двойной детерминации психического — со стороны объективного мира и со стороны материального субстрата — мозга. Психика, сознание утверждаются как главный предмет психологического исследования.

Признается регулирующая роль психического в поведении живых организмов, находящихся на определенном этапе филогенеза, активная преобразующая роль психики и сознания в жизнедеятельности человека.

Если учесть объективную сложность исследования психики (сознания) человека, многоуровневых связей его душевного мира с материальным миром, то можно понять, почему в истории психологии длительное время сохранялось упрощенное толкование предмета психологии, предпринимались попытки его сведения к исследованию психических явлений низшего уровня (рецидивы такого подхода возникали даже в 1950-е годы). В этой связи становится особенно ясным методологическое значение именно диалектико-материалистического взгляда на психику и сознание, их место и роль в регуляции деятельности и поведения, утвердившегося в отечественной психологии в этот период, что позволило отстоять самостоятельность психологии как научной дисциплины, укрепить ее и обеспечить ее дальнейшее развитие.

Диалектический материализм явился основанием разработки методологических принципов психологии: детерминизма, развития и общественно-исторической обусловленности психики, единства сознания и деятельности, рефлекторной природы психического, системного подхода, единства теории, эксперимента и практики и др. Нельзя не подчеркнуть, что Платоновым внесен вклад в обоснование принципа личностного подхода и принципа иерархической организации психической деятельности. Данная система методологических принципов является общей для всех отраслей отечественной психологической науки, определяет ее целостность, а также успешность взаимодействия с различными школами мировой психологической науки.

Анализ показывает, что на всех этапах развития психологической науки в нашей стране важным детерминирующим ее фактором являлись именно запросы практики, реальные общественные потребности в психологических знаниях и технологиях.

Отечественная психология с момента ее зарождения и до настоящего времени осуществляет поиск путей и форм связи своих исследований с жизнью, возможностей влияния на практическую

деятельность и общественное развитие. Этим же характеризовалась и психология советского периода.

Решение широкомасштабных задач преобразований в промышленности и сельском хозяйстве в 1920—1930-е годы, необходимость оптимизации трудовой деятельности и воспитания людей вызвали бурное развитие психотехники и педологии — прикладных отраслей психологии, непосредственно ориентированных на практические требования времени.

Основным направлением научных исследований в области психотехники являлось изучение трудовой деятельности. Аккумулируя достижения интенсивно развивающейся в тот период технической мысли, психотехника способствовала решению практических задач научной реконструкции и организации труда, совершенствования производства. В это же время начинают активно разрабатываться проблемы профессионального отбора и профессиональной ориентации, изучаются психологические аспекты рационализации труда; на основе психологических исследований разрабатываются рекомендации по снижению утомляемости, повышению работоспособности человека, уменьшению аварийности и производственного травматизма, созданию психологически обоснованных конструкций машин и инструментов; формируются такие новые направления исследования, как психическая гигиена, психология воздействия (плакат, реклама и т. д.). Масштаб и характер задач определил и организационные формы развития науки. Создается широкая сеть психологических лабораторий, научно-исследовательских кабинетов, консультационных пунктов на промышленных предприятиях, транспорте, в культурно-просветительских учреждениях.

В русле психотехники был поставлен и решен и ряд важных теоретических проблем, включающих разработку общих подходов к психологическому исследованию трудовой деятельности, обоснование необходимости ее комплексного изучения, исследование взаимодействия человека с машиной на основе реализации принципа приспособления орудий труда к особенностям и возможностям работающего, разработку различного рода профессиографических методов, в том числе трудового метода, представляющего собой

изучение профессии в процессе ее освоения самим исследователем и т. д.

Большую роль в создании и развитии отечественной психотехники сыграли отечественные ученые И. Н. Шпильрейн, С. Г. Геллерштейн, Н. А. Бернштейн, А. И. Колодная, Н. Д. Левитов, А. М. Мандрыка и др. О большинстве из них идет речь в книге К. К. Платонова. Перед читателем предстают энергичные, увлеченные научным поиском, творчески мыслящие люди, первопроходцы в своей сфере исследования. Признанием значительных достижений отечественной психотехники для решения научных проблем психологии труда, ее успехов и авторитета в мировой науке явилось то, что VII Международная психотехническая конференция была проведена в Москве в 1931 г. под председательством признанного лидера отечественного психотехнического движения И. Н. Шпильрейна.

Однако становление и развитие психотехники происходило в условиях, когда реальные возможности психологической науки, и прежде всего уровень проработанности ее методолого-теоретических проблем, отставали от уровня и масштаба тех практических задач, которые жизнь ставила перед ней. Поэтому неизбежным следствием такой ситуации являлось значительное преобладание эмпирического поиска, что было чревато серьезными ошибками; в их ряду отрыв практико-ориентированных эмпирических исследований от общепсихологической теории и абсолютизация тестовых методов исследования, которые подкупали своей оперативностью, доступностью исследователю, пригодностью для проведения массовых обследований в естественных условиях. Допущенные ошибки в определенной мере отражали естественную динамику развития научного знания, что ставило исследователя перед новыми проблемами, требующими анализа неизведанных ранее объектов, и не могло гарантированно оградить его от возможных ошибок и просчетов.

В мае 1932 г. К. К. Платонов возглавил исследовательский сектор Нижегородского автозавода, решающего проблемы промышленной гигиены и санитарии, НОТ и психологии труда. В отдел, наряду с химической и санитарно-гигиенической лабораториями, входила и психотехническая лаборатория. Здесь большое внимание

уделялось разработке проблем профотбора, «оздоровления труда», работоспособности, травматизма и т. д. Предметом особой гордости молодого ученого были разработка и внедрение специальной конструкции стульев к рабочим местам. Впоследствии К. К. Платонов всегда с улыбкой вспоминал, что в свою бытность руководителем психотехнического отдела он был глубоко убежден в том, что усовершенствование стульев может быть главным условием повышения производительности труда.

В 1934 г. К. К. Платонова переводят на Челябинский тракторный завод, где он разворачивает такую же работу.

На примере личной судьбы К. К. Платонова на этом отрезке его жизненного пути отчетливо прослеживается то, что эмпирический характер психотехнических разработок 1930-х годов не позволял им выйти за рамки добытых фактов и сделать на их основе глубокие научные обобщения, несмотря на энтузиазм, высокую научную и организационную активность, творческую инициативу и научную смелость ученых.

В 1935 г. начинается новый этап в жизни и научной деятельности К. К. Платонова, на много лет определивший его путь в психологии. Ему предлагают работать в недавно организованном в Москве Научно-исследовательском санитарном институте (в дальнейшем Институт авиационной медицины). К. К. Платонов вступает в ряды Красной Армии, получает воинское звание военврача III ранга. Так началась научная разработка К. К. Платоновым авиационной и военной психологии, которым была отдана большая часть его научной жизни. В 1936 г. без защиты диссертации (по совокупности работ) К. К. Платонову была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. Он назначается начальником филиала этого института в Качинской авиационной школе.

Главным предметом научных исследований К. К. Платонова становятся психологические проблемы летной деятельности: формирование навыков и способностей летчика, использование различных систем летных тренажеров в профессионально-психологической подготовке к восприятию летчиком приборной доски, изучались также психические состояния человека в условиях полета и т. д.

К. К. Платонов всегда стремился максимально полно представлять предмет своего исследования. С этой целью он ставит перед собой и последовательно решает задачу овладения умениями и навыками пилотирования самолета, много летая сам, непосредственно проводит различные психологические исследования в воздухе.

Этот период ознаменовался также напряженной научной и педагогической деятельностью. К. К. Платонов разрабатывает курс лекций по авиационной психологии. В Качинской школе издается его «Конспект курса психологии». В это время у него вместе с Л. М. Шварцем созревают и реализуются замыслы подготовки книги «Очерки психологии для летчиков» — первого оригинального отечественного систематического учебного пособия.

Опубликование в 1936 г. постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», предопределившего разгром психотехники и педологии, не могло не сказаться негативно на состоянии всех других отраслей психологической науки, а также и на судьбах ученых. Отразилось это определенным образом и на деятельности К. К. Платонова. В 1936 г. ему было предложено сдать дела и выехать с семьей в Москву для решения вопроса о его дальнейшей службе. Вопрос о его демобилизации вскоре, однако, был снят, ибо претензии, предъявляемые ему, не имели отношения к его научным результатам и оказались необоснованными. Ему была предложена работа в психиатрическом отделении комгоспиталя в Лефортове (филиале лечебного Института авиационной медицины). Одновременно в 1937–1938 гг. Константин Константинович работал в психиатрической клинике Гиляровского. В госпитале он проводит серию исследований психических и физиологических состояний человека в условиях барокамеры, а также продолжает анализировать и обобщать материалы по урловской болезни. В то же время начинается интенсивное научное сотрудничество К. К. Платонова с коллегами из Института психологии.

В 1939 г. К. К. Платонов был назначен начальником учебного отдела Института авиационной медицины. В его функции входила организация учебных сборов авиационных врачей, повышение уровня их профессиональной подготовки на базе института. В это же время

у него появляется интерес к истории авиационной медицины и авиационной психологии, который сохранился до последних дней его жизни и воплотился не только в серии соответствующих публикаций, но и в подготовке целой плеяды специалистов по истории психологии, психологии труда и авиационной психологии.

Буквально в последний предвоенный день 1941 г. К. К. Платонов дописал последнюю страницу задуманной им популярной книги «Человек в полете».

Великая Отечественная война поставила и перед психологической наукой новые серьезные и ответственные задачи: массы людей, одетых в солдатские шинели, необходимо было, прежде всего, рационально, грамотно распределить для подготовки по боевым специальностям, а также изыскать пути эффективной адаптации их к действиям в боевых условиях, к опасности стихии войны. Важно было также вскрыть психологические условия и пути ускоренного формирования у них боевых умений и навыков, эмоционально-волевой устойчивости в бою.

Нельзя не подчеркнуть, что патриотизм как доминирующее чувство, как устойчивое состояние души каждого настоящего советского человека в полной мере был присущ нашим психологам. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал главным ориентиром в жизни и деятельности как тех психологов, кто с оружием в руках сражался с ненавистным врагом на фронте, так и тех, кто продолжал в тылу исследовательский поиск. Об этом красноречиво свидетельствует тематика психологических разработок того времени.

Так, Б. М. Теплов завершил в 1943 г. серьезное психологическое исследование содержания и специфики деятельности военачальников по руководству войсками в бою, раскрыл ее внутреннюю структуру и совокупность личностных качеств полководца, определяющих его эмоциональную устойчивость в бою и «способность к максимальной продуктивности ума в условиях максимальной опасности»*. И хотя в этой работе Б. М. Теплова речь шла о полководце,

* Теплов Б. М. Ум полководца // Проблемы индивидуальных различий. М.: АПН РСФСР, 1961.

его идеи легли в основу подготовки всего офицерского корпуса наших Вооруженных сил.

Г. А. Фортунатов, А. С. Прангишвили и др. направили свои исследовательские усилия на выявление психологических и социально-психологических механизмов страха и паники, на раскрытие условий и путей их профилактики и преодоления*.

К. Н. Корнилов, Н. Д. Левитов, С. Л. Рубинштейн и др. предприняли попытки психологического анализа боевой деятельности, выявления ее особенностей и раскрытия на этой основе некоторых условий и путей формирования у бойцов и командиров качеств, необходимых им для успешной деятельности в бою**.

Отдельные психологи осуществляли исследовательский поиск новых, научно обоснованных способов и приемов подготовки воинов к действиям на поле боя (по ряду боевых специальностей) — летчиков (Е. В. Гурьянов), радиотелеграфистов (Е. А. Ракша-Соловьева), акустиков подводных лодок (З. С. Гусинский, М. Я. Михельсон).

Б. Г. Ананьев, Т. Г. Егоров, К. Х. Кекчеев, С. В. Кравков, Л. М. Шварц и др. на основе исследовательских данных определили ряд условий и путей обеспечения эффективности деятельности личного состава подразделений и частей на поле боя. Были выявлены, например, внутренние причины нарушений (под воздействием сверхмощных раздражителей в бою) устойчивости ясного видения предметов и точности слухового восприятия, а также сбой в работе зрительных и слуховых анализаторов. Были найдены пути повышения зрительной

* Фортунатов Г. А. Страх и его преодоление: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1942; Прангишвили А. С. Социальная психология паники // Психология. Тбилиси, 1943; Коновалов Н. А. Роль эмоций в боевых действиях // Военный вестник. 1944. № 1.

** Корнилов К. Н. Воспитание моральных качеств // Красная Звезда. 1941. 1 и 5 апреля; Маскава Л. Н. Психология дисциплины бойца. Тбилиси, 1941; Атадзе Р. Г. Воля как фактор боевой деятельности. Тбилиси, 1942; Хаджава З. И. Психологические основы боевой деятельности // Психология. Тбилиси, 1943; Левитов Н. Д. Воля и характер бойца // Военный вестник. 1944. № 1; Сарычев С., Спиридонова Ф. К вопросу о воспитании боевой выносливости // Военный вестник. 1944. № 9—10.

и слуховой чувствительности в экстремальных условиях, что обеспечивало возможность эффективного наблюдения — за полем боя, воздушным пространством на постах ПВО и т. д.*

Были разработаны также способы повышения точности глазомерного определения расстояний и различения быстро движущихся целей, ускорения адаптации к темноте и шуму, совершенствования свето- и звукомаскировки, борьбы с ослеплением воинов прожекторным светом и снегом**.

Отечественным психологам принадлежит заслуга в раскрытии особенностей психической деятельности человека при различных поражениях мозга, в разработке научно-психологических основ и эффективных способов восстановления утраченных или нарушенных в результате ранений и контузий высших психических функций — памяти, мышления, речи (А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин и др.), а также движений, психомоторики (Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев и др.), в психической реабилитации раненых, контуженых, инвалидов войны. Многих людей это возвратило к трудовой и боевой деятельности***.

Как видим, целый ряд ведущих отечественных психологов уже в самом начале войны сориентировался на исследование военно-прикладной проблематики.

В этой связи нельзя особо не отметить грузинскую психологическую школу, которая оперативным и организованным образом включилась с началом войны в эту работу****.

* Подробнее см.: Рубинштейн С. Л. Отечественная психология в условиях Великой Отечественной войны // Под знаменем марксизма. 1943. № 9–10.

** См.: Кекчеев К. Х. Психофизиология маскировки и разведки. М.: Отечественная наука, 1942; Он же. Ночное зрение (как лучше видеть ночью) — М.: Отечественная наука, 1942.

*** Подробнее см.: Смирнов А. А. Отечественные психологи — обороне Родины в годы Великой Отечественной войны // Вопросы психологии. 1975. № 2, № 4; Леонтьев А. Н., Запорожец А. В. Восстановление движения. М.: Воениздат, 1945.

**** Психологической проблематике была посвящена специальная сессия АН Грузинской ССР в 1942 г.

В годы войны получили определенное решение многие важные проблемы, диктуемые суровыми требованиями боевых действий, что не означало, однако, свертывания теоретической психологической мысли. На основе результатов эмпирических и экспериментальных исследований в нашей психологической науке продолжали развиваться новые перспективные направления, плодотворные идеи, оригинальные подходы и методы.

Отдавая должное самоотверженности, таланту и неизвестных, и выдающихся отечественных психологов того времени, их напряженным научным и практическим усилиям, направленным на помощь бойцам и командирам в бою, нельзя вместе с тем не заметить, что наша психологическая наука не была должным образом подготовлена к тому, чтобы эффективно и всесторонне осуществлять исследования, связанные со сложнейшими экстремальными условиями и задачами боевой деятельности воина и боевого коллектива, возникшими с началом войны. Отечественная психологическая наука не была нацелена на решение этих задач и соответствующим образом организована. Поэтому она далеко не в полной мере отвечала фронтовым запросам, особенно нуждам личного состава подразделений и частей.

Прежде всего, приходится сожалеть о том, что не только не решалась, но даже не была поставлена центральная для военной психологии и важнейшая для фронтовых нужд проблема психологической закалки, психологической подготовки личного состава подразделений и частей к боевым действиям в условиях современной войны (М. И. Дьяченко, М. П. Коробейников). Как было установлено лишь спустя двадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, психологическая подготовка включает в себя:

- формирование надежности психических функций человека при действиях в экстремальных ситуациях;
- формирование эмоционально-волевой устойчивости;
- формирование постоянной внутренней готовности человека к боевым действиям (А. Д. Глоточкин).

В этой связи чрезвычайно трудно согласиться с оптимистическим выводом, содержащимся в одной из брошюр, опубликованной в 1977 г.: «Важнейшим итогом развития военной психологии в период войны явилось то, что она приблизилась к практике Вооруженных сил, избавилась от того, что было грузом старого, случайного, временного, определила в качестве своего главного объекта личность советского воина, а в качестве основной задачи — поиск путей создания и реализации его морально-политических преимуществ перед солдатом империалистической армии»*.

Многие факты, к сожалению, свидетельствуют не только об этом, а нередко доказывают и обратное. Могла ли отечественная психология так «приблизиться» к войсковой (боевой) практике, когда, по утверждению тех же авторов, из-за отсутствия подготовленных кадров военных психологов во время войны военно-психологические исследования в армии и на флоте сократились?

На основе этих противоречащих друг другу положений можно заключить, что наша военная психология в годы Великой Отечественной войны лишь благодаря статьям командиров, политработников и преподавателей военно-учебных заведений, а отнюдь не научным трудам обогатилась ценным фактическим материалом, глубокими наблюдениями и обобщениями об особенностях боевой деятельности советских солдат, сержантов и офицеров в боевых условиях, о психологической закалке личного состава, о путях предотвращения и преодоления страха и паники.

Запоздалая реакция психологической науки на требования боевой практики во многом объясняется тем, что умонастроения руководства армии и военно-морского флота в тот период устойчиво характеризовал следующий стереотип: высокий моральный дух войск обеспечивается исключительно идейно-политическим влиянием на них посредством пропаганды и политической подготовки солдат (матросов), сержантов (старшин) и политических занятий офицеров.

* Барабанщиков А. В., Феденко Н. Ф. Из истории отечественной военной психологии. М.: ВПА им. В. И. Ленина, 1977.

Психологическая же подготовка личного состава армии и военно-морского флота к боевым действиям расценивалась скорее как выдумка ученых-психологов.

И хотя многие многоопытные фронтовые командиры соединений и частей под влиянием жестких требований боя на свой страх и риск стремились внедрять на занятиях по тактике боевых действий подразделений элементы психологической закалки личного состава (пулеметные стрельбы в промежутках, а также поверх голов наступающих подразделений, обкатка пехоты танками, пребывание в противогасах в камерах окуривания и т. п.), глубокого теоретического обоснования такая работа не находила ни в период войны, ни длительное время после ее окончания. Все это не могло не сказаться негативно на эффективности боевых действий.

В годы войны оказалась также в загоне и явно недостаточно решалась с научно-психологических позиций исключительной важности проблема военно-профессионального психологического отбора. Потоки хлынувшей в Вооруженные силы многомиллионной массы призванных распределялись в многочисленные школы и курсы (учебные команды) для подготовки солдат и матросов по боевым специальностям, а также подготовки офицерских кадров — по существу, без какого-либо научно обоснованного отбора, что называется, «на глазок».

При распределении призванных по подразделениям недостаточно учитывались их способности и другие индивидуально-психологические особенности. В расчет обычно принимались профессиональный трудовой опыт, уровень предшествующей военной подготовки и общего образования. Пополнение войск подразделялось лишь на три категории:

- а) обученных,
- б) мало обученных,
- в) необученных.

По словам А. Г. Демина и И. Д. Ладанова, к обученным обычно относили участников боев или лиц, прошедших два или более сборов в запасе. К мало обученным причислялись лица,

прошедшие менее двух сборов в запасе, а также мобилизованные пожилых возрастов. Из категории обученных формировали учебные команды пулеметчиков, минометчиков, артиллеристов, автоматчиков, стрелков, стараясь сохранить профиль их прежней подготовки.

Нетрудно представить, какой ценой был оплачен такой упрощенный подход к подбору солдат и матросов и распределению призванных по боевым специальностям, к каким издержкам в эффективности и сроках подготовки он приводил, какими потерями обернулся на полях сражений.

Ведь только за два первых месяца после нападения фашистской Германии на нашу страну у нас было сформировано 150 новых дивизий, а численность одного только запасного полка доходила до 30—40 тысяч солдат и сержантов. Всю эту огромную массу людей необходимо было распределить по боевым специальностям грамотно, с учетом индивидуально-психологических особенностей каждого.

Такой масштабный отбор мог осуществляться посредством применения тестов, доказавших свою эффективность еще в период Первой Мировой войны в вооруженных силах США и других стран, где в результате массового тестирования были сэкономлены большие средства, а главное — существенно снижены потери в живой силе и технике и повышена эффективность подготовки воинов к различным боевым специальностям. В наших Вооруженных силах вопреки здравому смыслу и мировому опыту тестирование было осуждено и запрещено как антинаучное направление.

Над психологией и в годы Великой Отечественной войны продолжала нависать тень предвзятости и недоверия, окутавшая ее после известного постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», когда целые научные направления и отрасли науки (например, социальная психология) были свернуты.

Ученые же психологи, особенно те, кто развернул применение психологических тестов в своих психотехнических исследованиях, были покрыты позором, а некоторые из них даже репрессированы.

Многие другие были надолго запуганы или сменили профессию. Об этом очень правдиво пишет в своей книге К. К. Платонов, чудом избежавший подобной участи.

Потенциал психологической науки был серьезно подорван. Однако и те возможности, которые в психологической науке еще имелись, были использованы слабо, что не могло не отразиться и на военной психологии. Не этим ли объясняется тот факт, что военная психология как важнейшая отрасль психологической науки, призванная обслуживать войсковую практику и прежде всего повышать эффективность боевой деятельности, ни перед войной, ни во время войны, ни длительное время после ее окончания не находила своего организационного оформления? Даже название этой отрасли психологической науки — «военная психология» — было введено в научный оборот лишь в 60-е годы прошлого столетия.

Во время войны Константин Константинович продолжает свою деятельность как практический психолог. В 1943 г. по настоятельным просьбам об отправке на фронт его назначают начальником санитарной дивизии (позднее корпуса) 16-й воздушной армии I Белорусского фронта, в составе которой он закончил Великую Отечественную войну в Берлине. С ноября 1943 г. К. К. Платонов был назначен председателем военно-врачебной летной комиссии фронта, призванной проводить медицинскую экспертизу с целью определения профессиональной пригодности и возможностей возвращения летчиков после ранения к боевой летной деятельности.

Боевой путь К. К. Платонова, майора, подполковника, а затем полковника медицинской службы, был отмечен высокими боевыми наградами — орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени, а также 11 медалями.

В 1944 г. вышла книга К. К. Платонова «Человек в полете». На основе нового, полученного в условиях боевых действий материала Константин Константинович значительно дополнил и переработал книгу «Очерки психологии для летчиков», написанную им в предвоенные годы в соавторстве с Л. М. Шварцем.

В феврале 1944 г. в местечке Мезериту отечественные солдаты обнаружили психиатрическую больницу, и К. К. Платонову было поручено обследовать пациентов с целью выявления возможных шпионов и диверсантов, оставленных там нацистами. Оказалось, что это была одна из «фабрик смерти», на которой фашисты ежедневно умерщвляли десятки людей. С гневом и болью описывает он эти чудовищные злодеяния в статье «Убийцы в белых халатах», опубликованной во фронтовой газете. Все материалы, которые удалось получить при обследовании клиники, К. К. Платонов переслал И. Эренбургу.

День Победы полковник Платонов встретил в Берлине.

После окончания войны он продолжал работать невропатологом в Центральном военном авиационном госпитале, являясь одновременно членом Центральной военно-лётной комиссии по определению профессиональной пригодности лётчиков к лётной боевой деятельности. Много сил и времени он уделял пропаганде идей психологии, в первую очередь авиационной.

В 1947 г. К. К. Платонов вновь был приглашен на работу в Научно-исследовательский институт авиационной медицины, где продолжал трудиться до 1958 г. В этот период он многое сделал для совершенствования методов и способов психологического исследования лётной деятельности.

Содержательные научные контакты складываются у К. К. Платонова с многими известными психологами и физиологами: Б. Г. Ананьевым, П. К. Анохиным, Н. А. Бернштейном, А. Н. Леонтьевым, В. Н. Мясищевым, С. Л. Рубинштейном, А. А. Смирновым, Б. М. Тепловым и др. В воспоминаниях автора им уделяется большое внимание. Это были по-настоящему крупные ученые, яркие, интересные, духовно богатые личности, которым приходилось порой в нелегких условиях проводить научные исследования и создавать отечественную психологическую науку.

На определенных этапах исторического развития того или иного государства могут возникать и играть доминирующую роль социальные факторы, тормозящие развитие науки. В нашей стране это прежде всего 30–50-е годы XX в., когда в управлении наукой утверждается

авторитарный, командно-административный стиль, проявившийся в попытках положить в основу всего научного здания один подход и в сворачивании всех тех направлений научной мысли, которые не укладывались в прокрустово ложе такого подхода, в установлении жесткого контроля, административных и идеологических санкций по отношению к тем исследователям, которые в той или иной мере допускали отступление от этого признанного якобы единственно правильным пути научного развития, в сворачивании научных дискуссий, обсуждений. Наиболее рельефно такой стиль и соответствующие ему методы руководства наукой проявились, как известно, в 1930-е годы в отношении психотехники и педологии. Не менее тяжелые последствия для психологической науки вызвала Павловская сессия 1950-х годов, организаторы которой сделали все, чтобы вопреки взглядам И. П. Павлова на психологию подменить психологию физиологией, свести психологические исследования к изучению закономерностей рефлекторной деятельности мозга. В этот период вновь особенно отчетливо проявилась тенденция подгонки фактов и научных обобщений под одну официально признанную теорию, в качестве которой спекулятивно использовалось учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. На этой основе в эти годы осуществлялась реорганизация психологии в плане перевода ее в подчиненное физиологии положение. Учinen был также разгром ученых, стоящих на методологически «неверных» позициях. Теперь уже, по существу, вся психология оказалась под угрозой запрета. Отечественных психологов поставили перед необходимостью отказа от многих принципиально важных научных положений, раскаяния (в буквальном смысле этого слова), признания якобы допущенных ими ошибок. Многие из них, стремясь сохранить для себя возможность продолжения психологических исследований, вынуждены были в поисках обходных путей уйти в сферу психофизиологической проблематики, где ими были достигнуты немалые результаты. Примером в этом отношении является школа дифференциальной психофизиологии, созданная в тот период Б. М. Тепловым.

Поворот в сторону физиологии осуществил и К. К. Платонов. Ему, в частности, пришлось существенно переделывать уже готовую

и сданную на рассмотрение докторскую диссертацию, которую в связи с этим он защитил в 1953 г., а в 1954 г. получил степень доктора медицинских наук и звание профессора. Следует отметить, что К. К. Платонову было значительно легче, чем многим другим, акцентировать внимание на физиологических основах психической деятельности в силу базового медицинского высшего образования и естественнонаучной ориентированности подхода, сформировавшегося еще на ранних этапах его научно-исследовательской деятельности.

В 1950–1960-е годы формируются оригинальные концепции, новые отрасли психологической науки: психология личности, социальная психология, инженерная психология и др. Значительный вклад в разработку данной проблематики внес К. К. Платонов. В 1950-е годы наряду с авиационной психологией он активно разрабатывает проблемы психологии труда — отрасли психологической науки, развитие которой определялось высокой степенью общественной потребности в результатах таких исследований, тем более что уничтожение психотехники привело к нарушению научной преемственности в изучении психологии труда. Приходилось начинать все с азов. После продолжительного перерыва в 1956 г. К. К. Платонов, завершив соответствующие исследования, публикует монографию «Психология труда». По существу, это первая обобщающая научная работа в сфере трудовой деятельности. Кроме того, в течение девяти лет (1950–1958) он читает студентам МГУ курс лекций по психологии труда.

В 1958 г., когда Константину Константиновичу исполнилось 52 года, на него обрушился тяжелый удар. Разрушительный недуг — инсульт — приковал его к постели, лишил возможности двигаться, писать, работать. Сказались, вероятно, долгие физические и нервные перегрузки, сломившие его могучий организм. Будучи больным, он совершает подлинный подвиг: ценой невероятных усилий воли, концентрации всех своих душевных и физических сил заставляет себя подниматься, тренироваться в движении, что и позволило ему вновь приступить к работе. Своим примером он практически подтверждает тот тезис, научному обоснованию которого он уделял

большое внимание в своих работах: все внешние воздействия на человека опосредуются особенностями его личности, социальное в человеке влияет на биологическое.

В 1959 г. полковник медицинской службы К. К. Платонов выходит в отставку. Символично то, что коллеги, провожая Константина Константиновича на заслуженный отдых, подарили ему статуэтку Дон Кихота, этого бескорыстного, вечно мечущегося в поиске, борющегося с несправедливостью рыцаря.

Жить не работая, находиться вне активной научной деятельности Константин Константинович, конечно, не мог. В 1960 г. он проходит по конкурсу на должность старшего научного сотрудника сектора психологии Института философии Академии наук СССР — первого психологического подразделения, которое было создано в системе Академии наук С. Л. Рубинштейном, долгие годы его возглавлявшим. И снова закипела активная творческая жизнь Константина Константиновича. Более того, период 1960—1980-х годов стал наиболее творческим и наиболее насыщенным его научными поисками и значительными достижениями.

В целом, характеризуя особенности этого этапа жизненного пути ученого, можно выделить следующие основные направления его научной деятельности: наряду с разработкой теоретических основ психологии он исследует проблематику авиационной психологии, психологии личности, психологии религии, социальной психологии, медицинской психологии. В каждом из указанных направлений им были получены результаты, имеющие как фундаментальное теоретическое, так и практически-прикладное значение. В 1961 г. издается его книга «Психология летного труда», выходит статья, посвященная истории отечественной авиационной психологии, для коллективной монографии «Психологическая наука в СССР» в соавторстве с Гольдштейном подготовлен труд «Психология личности летчика».

Большое внимание К. К. Платонов уделял военной психологии. Являясь крупным психологом и пройдя суровую школу ратного труда в тылу и на фронте, он обобщил научные и разнообразные жизненные наблюдения в книге «Военная психология», написанной в соавторстве

с Г. Д. Луковым — одним из известных отечественных военных психологов.

В какой бы сфере психологической науки ни осуществлялось исследование — будь то авиационная, военная психология, психология труда и др., К. К. Платонов неизменно обращался к проблемам психологии личности, по праву рассматривая ее как главный предмет психологического исследования. В 1960–1980-е годы проблема личности выдвигается в его научных разработках на первый план, становится предметом его специального, пристального исследовательского внимания как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне.

Непосредственно им самим и под его руководством исследуются важнейшие личностные образования: потребности и мотивы, способности и характер. Парадокс заключался в том, что как раз эти наиболее ключевые личностные образования в психологии были разработаны к тому времени крайне слабо. И поэтому выход в свет книги К. К. Платонова «Проблемы способностей», являющейся обобщающим теоретическим трудом по данной проблеме, имел большое значение. Проанализировав и систематизировав основные подходы к изучению психологических аспектов проблемы способностей, он разработал и сформулировал собственную концепцию способностей как интегративного свойства личности, включающего в себя относительно устойчивые, хотя и изменяющиеся под влиянием воспитания компоненты, относящиеся ко всем подструктурам единой психологической структуры личности, выступающие в соотношении с той деятельностью, на основе которой они формируются и проявляются. К. К. Платонов специально подчеркивал, что способности личности образуют некую структуру, которая посредством компенсации одних качеств личности другими определяет успешность освоения человеком конкретной трудовой деятельности. Обобщение исследований, направленных на изучение особенностей формирования творческих, организаторских, коммуникативных способностей личности, приводит К. К. Платонова к выводу о необходимости деления способностей на общие и конкретные (профессиональные), актуальные и потенциальные.

В этом труде К. К. Платонов выдвигает и обосновывает оригинальную концепцию «динамической функциональной структуры личности», являющуюся результатом сбора, анализа и обобщения репрезентативного эмпирического материала, серьезных и длительных исследований. Суть указанной концепции состоит в признании динамизма и единства личности, взаимосвязи ее черт, относящихся к четырем главным подструктурам: направленности, опыту, индивидуальным особенностям психических процессов, биологически обусловленной подструктуре.

Предложенная К. К. Платоновым концепция личности, и в частности его четырехкомпонентная структура личности, не была единодушно принята психологами, занимавшимися исследованиями проблем личности. Возражения ряда ученых вызывали место, отводимое в данной концепции способностям и характеру как общим личностным образованиям, входящим во все выделенные подструктуры личности, как бы пронизывающим их, включение биологического в понятие «личность», конкретное содержательное наполнение подструктуры «направленность» и др. Но, несмотря на определенные возражения и несогласия оппонентов по поводу тех или иных элементов в предложенной К. К. Платоновым структуре личности, безусловным является то, что это одна из продуктивных в отечественной психологии попыток дать целостное структурно-уровневое представление о психологическом строении личности. Причем (что является очень важным) это практически работающая структура, используемая в конкретных эмпирических и прикладных исследованиях.

Заслугой К. К. Платонова является также разработка специального метода изучения личности — метода обобщения независимых характеристик, широко используемого в настоящее время в социально-психологических исследованиях личности. В условиях остро ощущаемого исследователями и психологами-практиками дефицита в методологическом обеспечении конкретных исследований этот метод, позволяющий достаточно точно и просто определять основные характеристики личности, приобретает большое значение.

В 1973 г. выходит книга «Резервы человеческой психики», написанная К. К. Платоновым совместно с Ф. В. Бассиным, где личность рассматривается уже более широко, с точки зрения возможностей и потенциалов, условий их реализации в конкретной деятельности и поведении.

Психологическое исследование личности в концепции К. К. Платонова включало также задачи изучения социально-психологических факторов и условий ее формирования. Отсюда обращение к исследованию влияния коллектива на личность, изучение самого коллектива как социально-психологического образования. Эта проблема получила отражение в ряде работ К. К. Платонова, и прежде всего в коллективной монографии «Коллектив и личность» (1975), где он выступает и вдохновителем, и организатором коллектива авторов.

В период дискуссии о предмете социальной психологии, продолжившей в 1960-е годы после длительного вынужденного перерыва интенсивно развиваться, К. К. Платонов отстаивает идею включения проблемы «личность и коллектив» в число основных проблем социальной психологии. Он активно включается в дискуссию о задачах и методах социально-психологического исследования, вносит большой вклад в разработку социально-психологической теории. Он рассматривал трудовой коллектив как специфический вид социальных общностей, характеризующихся интегрирующими их общими целями и близкими мотивами совместной деятельности, подчиненными целям этого общества.

К. К. Платонов внес вклад и в разработку психологической классификации социальных групп, критериев выделения коллектива как высшей формы внутренней организации групп, вопроса о роли и функциях коллектива в формировании личности.

Большое место в научной деятельности К. К. Платонова занимала разработка методологических проблем психологии, о чем красноречиво говорят такие его монографические труды, как «О системе психологии» (1972), «Методологические проблемы медицинской психологии» (1977) и др. Он постоянно указывал на необходимость разработки принципов, системы понятий и категорий

психологии. Ведущей категорией психологии К. К. Платонов считал категорию «взаимодействие», лежащую в основе понятий «отражение» и «система». На основе категории «взаимодействие» автор предпринял попытку объединения теории отражения и системного подхода в психологии.

Концентрированным выражением разработки К. К. Платоновым системы понятий и категорий психологии явилась подготовка им словарей психологических понятий, включающих наиболее используемые психологические термины, представленные автором в виде системы понятий, в которой, в свою очередь, отражается системное строение объективно существующих психических реалий. «Краткий словарь системы психологических понятий» (2-е издание вышло в 1984 г.) насчитывает 1192 понятия.

Характеристика личности К. К. Платонова была бы неполной, если бы в ней не был освещен еще один аспект его творческой деятельности — пропаганда и популяризация психологических идей. Глубокий теоретик, строгий экспериментатор сочетался в нем со страстным, эмоциональным, влюбленным в науку человеком, пропагандирующим достижения психологии, популярно объясняющим широким кругам читателей, что изучает наука психология, каковы ее задачи и как она может помочь человеку в понимании себя и окружающего мира. Многим людям, не только специалистам в области психологии, знакома книга К. К. Платонова «Занимательная психология», несколько раз издававшаяся в нашей стране и во многих странах мира.

В столь же доступной широкому читателю форме он рассматривает психологические особенности религиозного воздействия, основой которого является сугубо психологическое образование — «вера», психологические проблемы медицины, факторы и условия создания здорового социально-психологического климата в трудовом коллективе и др.

К. К. Платонов был человеком высокой гражданственности, широкой души, исключительной порядочности и чести, доброты, отзывчивости, психологического такта. Это был действительно неформальный наставник научной молодежи, подготовивший десятки

специалистов-психологов, продолжающих разработку его богатого научного наследия.

Константин Константинович намеревался осуществить серьезные и большие планы. Его глубоко интересовали история психологии, проблемы психологического тезауруса; он хотел продолжить разработку психологических основ профотбора, профориентации и многое другое. В 1984 г. Константина Константиновича не стало. На его рабочем столе остались рукописи неоконченных книг, тетради, письма друзьям, ученикам, коллегам.

К. К. Платонов оставил большое научное наследие, и оно непременно должно быть максимально использовано сегодня, когда активизация, а следовательно, и исследование человека во всех сферах общественной жизни (в том числе и в науке) приобретают особое значение.

В этой книге К. К. Платонова как раз и показана роль личности, человека — носителя сознания в развитии научного знания. Этим во многом определяется ценность книги, ее актуальность. Конечно, не со всеми положениями автора можно согласиться, не все оценки его можно полностью разделить. В книге встречаются отдельные неточности, а порой и спорные суждения, что в определенной мере можно объяснить особенностями мемуарного жанра, позволяющего автору эмоционально выражать свою позицию, свое отношение к описываемым фактам и событиям. При подготовке рукописи книги к опубликованию мы стремились сохранить оригинальный авторский текст. Дискуссионные вопросы, а также позиции, требующие разъяснения, сопровождаются комментариями и примечаниями, целью которых является формирование у читателя достоверных образов людей, адекватной и целостной картины событий.

В итоге важно отметить, что эта книга К. К. Платонова является одним из первых в нашей психологии трудов мемуарного жанра, насыщенных богатым историческим и научно-психологическим материалом. Издавая ее, мы хотим тем самым еще раз воздать должное ее автору и всем тем ученым, известным и неизвестным, организаторам и создателям отечественной науки советского периода и рядовым научным работникам, трудами и усилиями

которых осуществляется постижение пока еще недостаточно изученного сложнейшего мира человеческой души — психики и сознания.

Редакционная коллегия книги и авторы вступительной статьи отмечают, что при подготовке рукописи значительное содействие оказала Галина Николаевна Платонова — супруга Константина Константиновича.

А. Д. Глоточкин

А. Л. Журавлев

В. А. Кольцова

В. Н. Лоскутов

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения.

В. И. Ленин

Слова Ленина, приведенные в эпиграфе, написанные им в одной из первых его работ*, имеют прямое отношение и к истории психологии. Ведь «история — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»**, как писал Маркс.

Более чем за полвека моей работы в области психологии и за ряд лет подготовки к ней мне пришлось встречаться с большим числом ученых, имевших то или иное отношение к движению научной мысли о сущности психических феноменов и к психологической науке, изучающей их. Иногда это были длительные контакты, а порой только кратковременные встречи, но всегда субъективно весьма значимые, оставлявшие глубокий след в моем научном мировоззрении.

Среди людей, с которыми я сталкивался, были и корифеи науки, были и люди, только в дальнейшем признанные историей психологии; иногда это были носители определенных теорий, ошибки которых в дальнейшем частично или полностью преодолевались. Но часто это были рядовые ученые, включенные в эти записи по одной из двух причин: либо они являлись выразителями той или иной типичной для их времени идеи, либо они исповедовали прогрессивные идеи, опережающие их время.

Моя судьба имела две особенности, сочетание которых и побудило меня написать на склоне лет эти воспоминания. Во-первых, перед моими глазами не только прошла вся история становления советской психологии с ее борьбой мнений (а нередко и борьбой за существова-

* Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 424.

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 102.

ние), но и я сам был пусть на вторых ролях или статистом, но живым участником этой истории. Во-вторых, мне повезло на личные встречи и содержательные беседы не только со всеми ведущими советскими психотехниками и психологами, но и со многими психиатрами и физиологами, признававшими необходимость развития психологии или, напротив, тормозившими его. Обо всех здесь не скажешь, но о многих и о многом было бы грешно не вспомнить.

И все же мои записки — отнюдь не история советской психологии, хотя хронология и содержание этих встреч достаточно наглядно ее демонстрируют. Но история науки не может совпадать с субъективной значимостью этих знакомств для автора записок. Эти воспоминания, как и любые научные мемуары, — только материал для истории науки. Все трактовки в них имеют сугубо субъективную окраску, хотя изложенные события строго достоверны.

Но эти мои записки — также, конечно, и не моя научная биография. Я пишу о себе только в той мере, которая оправдывает появление в поле моего зрения того или иного деятеля науки и позволяет мне более отчетливо показать какую-либо отмеченную мною особенность его личности.

Давая научный портрет ученого, я не считал возможным ограничиться описанием только личных встреч с ним, а приводил их на фоне биографических данных. Щадя труд читателя, я старался выделить лишь основные данные, приводя ссылки на существующие публикации для тех, кого это заинтересует.

Многие биографические факты, как и другие сведения, заимствованы мною из материалов и писем ряда лиц, любезно предоставивших их для архива «Истории отечественной психологии», собираемого мною уже много лет¹. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех сообщивших мне ценные биографические данные о тех, кого я вспоминал. В первую очередь Н. С. Василейскую, О. И. Галкину, М. Г. Голубева, К. М. Гуревича, В. М. Когана, В. В. Колбановского, А. К. Лукову, Н. И. Лаврову, Р. И. Почтареву, С. Я. Рубинштейн, Н. Я. Самтер, С. В. Стрельцову, А. В. Чапека, Т. М. Шейнину, Н. К. Шеляховскую и др.

І. ДЕД И ОТЕЦ

Я противоречил бы изложенному выше, если бы не начал своих воспоминаний с моих деда и отца — Ивана Яковлевича и Константина Ивановича Платоновых. И это не только потому, что они первыми формировали мое понимание психики человека и мое отношение к ней, но и потому, что имя деда уже включено в историю мировой психиатрии Ю. В. Каннабихом* и Т. О. Юдиным**, а имя отца вошло как в историю отечественной психиатрии***, так и в историю мировой психотерапии.

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ПЛАТОНОВ

Жизненный и научный путь деда типичен для многих врачей XIX в. Его отец — Яков Платонов, дальше которого род Платоновых неизвестен, — был крестьянином, звонарем бедного церковного прихода села Эменчик Щигровского уезда Курской губернии и, обладая хорошим музыкальным слухом, славился на всю губернию своими перезвонами. Своего первенца Ивана Яков Платонов мечтал «вывести в люди», то есть сделать в будущем из него священника. Ему удалось устроить Ивана учиться в Курскую духовную семинарию на казенный счет.

Но сын думал иначе: с четвертого курса семинарии он тайком от отца перешел на медицинский факультет Харьковского университета, который и окончил с отличием в 1875 г.

Увлечшись еще на пятом курсе нервными и душевными заболеваниями, он, став врачом, проработал ряд лет земским больничным

* Каннабих Ю. В. История психиатрии. М., 1949.

** Юдин Т. О. Очерки истории отечественной психиатрии. М., 1951.

*** Руководство по психотерапии / Под ред. В. Е. Рожнова. М., 1974.

психиатром — в Харькове, в Полтавской губернии, а затем в Колмовской психокolonии Новгородской губернии.

Дед, как и большинство студентов 70-х годов XIX столетия, не избежал влияния революционных демократов — Добролюбова, Белинского, Писарева — и стремился внедрить гуманные и прогрессивные идеи в лечение душевнобольных. В земских больницах он столкнулся с косностью и карьеризмом врачебного персонала. Арсенал лечебных средств был в то время весьма ограничен: смиренная рубашка для буйных и полное невнимание к остальным. «Тихие» больные были предоставлены самим себе, сутками лежали на койках или слонялись без всякого занятия по палатам.

Иван Яковлевич решил организовать трудовые процессы для больных и привлечь их к разного рода работам — сельскохозяйственным и производственным. Но для осуществления его идей трудотерапии нужны были средства — на инструменты, помещения, инструкторов. Губернские земские управы — и Полтавская, и Новгородская — отмалчивались на ходатайства Ивана Яковлевича об ассигновании сумм на организацию трудотерапии. Земские деятели страшились дать в руки больных такие инструменты, как топор и пила, опасаясь их агрессивности.

Убедившись в невозможности преодолеть консерватизм земства, Иван Яковлевич в 1885 г. возвращается в Харьков и приступает к осуществлению выношенного им плана — к созданию психиатрического учреждения с научно обоснованным лечением психических больных и с соответствующим комфортом их содержания.

К этому времени дед уже 10 лет был женат на моей бабушке — молдаванке Прасковье Львовне Перейма (дочери молдавского помещика), бывшей всю жизнь его первой помощницей и, по его собственным словам, «незаменимой сотрудницей» и подарившей ему пятерых сыновей и одну дочь. Старшие два сына — Константин (мой отец) и Иван — пошли по стопам отца и стали в дальнейшем психиатрами.

Получив по линии жены небольшое наследство, Иван Яковлевич арендует (а потом и покупает) усадьбу князя Оболенского по Нечетчинской улице в Харькове и оборудует в этом доме Частную психиатрическую лечебницу доктора И. Я. Платонова². В дальнейшем

на базе этой больницы работала психиатрическая клиника Харьковского университета, так как губернская психиатрическая больница «Сабурова дача» находилась за пределами Харькова и мощной дороги туда не было.

Директором этой клиники 11 лет проработал известный психиатр профессор П. И. Ковалевский³, а затем его сменил профессор Я. А. Анфимов⁴. Ассистентом, а потом и доцентом у них был Иван Яковлевич. В этой же клинике, в больнице деда работал первоначально и мой отец Константин Иванович. И в этом же дедушкином «большом доме» на Нетечинской, в нижнем этаже, родился я в 1906 г., 25 мая (7 июня).

Иван Яковлевич считал своей главной целью организацию образцового психиатрического стационара, могущего одновременно способствовать формированию кадров психиатров на уровне современной науки и университетского преподавания.

Ни одна больница юга России не имела такого «Цандеровского кабинета механотерапии»⁵, как больница моего деда. Подобный кабинет, кстати, использованный в фильме «Девушка спешит на свиданье», был только на курорте в Пятигорске. Самым большим удовольствием моего детства было «ездить» в этом кабинете, вертя педалями на неподвижном велосипеде, и «грести» на такой же лодке.

Я помню Ивана Яковлевича уже пожилым, серьезным и спокойным человеком. Его довольно грузная фигура всегда неторопливо передвигалась по коридорам больницы. Ни разу я не видел его раздраженным или вышедшим из себя и потерявшим над собой контроль. У него была удивительная способность каждого выслушать и с каждым договориться. Это именно с ним произошел случай, вошедший впоследствии в серию анекдотов о психиатрах: группа «тихих» больных, загородив дверь, предложила ему спрыгнуть с третьего этажа в ремонтирующееся окно, на что он, не растерявшись, авторитетно ответил: «Это всякий дурак может сделать, а вы посмотрите, как я снизу вверх прыгну!» — и невозмутимо вышел из комнаты навстречу замешкавшимся санитарам.

Наиболее яркие из моих детских воспоминаний связаны с дедушкиным «большим домом», где мы с сестрой Ольгой бывали каждое

воскресенье. Дедушкин кабинет, полный шкафов с книгами, зал рядом с кабинетом, по паркету которого я катался, «как на скользянке», парк, спускавшийся к набережной, манившие меня физиотерапевтические кабинеты — все стоит перед глазами, как будто это было вчера.

Прогрессивные психиатрические идеи Ивана Яковлевича не ограничивались системой «нестеснения» больных, согласно которой прежние «смирительные рубашки» были заменены специально подготовленными и хорошо оплачиваемыми санитарями. Он старался подобрать на эту службу не просто физически сильных «вышибал», но людей определенного душевного склада.

На всю жизнь с ранних детских лет мне запомнился санитар Павел Васильевич, гулявший одновременно всегда только с одним больным по парку. В парке подходить к нему мне было запрещено дедом — «чтобы не беспокоить больного». Но когда я стал постарше, лет пяти-восьми, то самыми моими любимыми местами в «большом доме» стали комната Павла Васильевича и еще конюшня с каретным сараем — царством кучера Федора.

Конюшня — конечно, дело сугубо личное, правда, привившее мне на всю жизнь любовь к лошадям. Через много лет в глухом Забайкалье, куда жизнь забросила меня по окончании Ленинградского института медицинских знаний (ГИМЗ) и где я изучал в 1930–1932 гг. урловскую болезнь⁶, эта любовь заставила меня прикупить к казенной «куцей кобыле» собственного Бурку и сдружилась с моим конюхом Ионом Васильевичем, отличным знатоком психологии лошадей. Они все трое отлично понимали друг друга, но и меня Ион Васильевич научил (как я когда-то замечал и у Федора) разговаривать с Буркой во время долгого таежного пути верхом.

А вот любовь Ивана Яковлевича к лошадям и собакам, сохранившаяся у него с его деревенского детства, — дело далеко не личное. Он не раз говаривал мне: «Люби, Малыш <это было мое детское прозвище>, и зверей, и людей, люби их и здоровыми, и больными. Больные ведь сильнее нуждаются в твоей любви, чем здоровые, а любить их труднее, так как любить в них надо не только человеческое, но и звериное. Но если ты любишь зверей, то и в человеке будешь понимать и любить звериное».

Эти же мысли, хоть и в несколько другой редакции, слышал я и от санитаря Павла Васильевича, когда он в своей комнате поражал меня тем, что гнул подковы. «Это к подкове можно приложить силу руки,— говорил он.— А к человеку нельзя. Его жиманешь, а он луснуть может. Он требует силы души».

Всех больных, даже самых буйных, Павел Васильевич называл всегда на «Вы» и по имени-отчеству, говорил с ними ласковым голосом и легко умирал их.

Найти в народе редкое сочетание физической и душевной силы (а Павел Васильевич был не единственным таким среди персонала), обучить их и воспитать, создав в лечебнице соответствующий психологический климат, было нелегко и требовало глубокой убежденности и терпения. Эта заслуга Ивана Яковлевича прославила его больницу больше, чем электро-, свето- и бальнеолечение и даже Цандеровский кабинет.

Так я впервые услышал от деда и понял то, что потом было названо проблемой социального и биологического в человеке⁷.

Работая в 1937—1941 гг. в 15-м (психиатрическом) отделении Главного военного госпиталя им. Бурденко, называвшегося тогда комгоспиталем, я прославился умением уговорить любого беспокойного больного сесть в санитарную машину для эвакуации. По крайней мере, начальник отделения Алексей Иванович Пономарев всегда поручал мне эту процедуру, приурочивая ее к моему присутствию в отделении. Я же в те минуты всегда вспоминал деда и Павла Васильевича, стараясь им подражать и применять их методы.

В 1916 г. дед мой, 64 лет, решил удалиться на покой и уехать на постоянное жительство в Евпаторию к своему второму сыну Ивану Ивановичу, работавшему там курортным врачом. В связи с войной в части больницы располагался госпиталь, но психиатрическая больница и клиника университета в ней продолжали функционировать. Иван Яковлевич безвозмездно передал свою больницу медицинскому факультету Харьковского университета и уехал с женой в Евпаторию, где вскоре умер от воспаления легких.

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ПЛАТОНОВ

Если Иван Яковлевич Платонов был представителем так называемой «большой психиатрии» и именно таким остался и в моей памяти, и в памяти своих коллег, то имя его сына Константина Ивановича и для меня, и для науки ассоциируется с «неврологией» и, конечно, с психотерапией.

Если с дедом связаны мои самые ранние детские воспоминания, то с отцом дружба началась значительно позже, когда мне было уже 17 лет. Эта близость возникла (и продолжалась до самой его смерти) не на бытовой, а на научной основе.

Но сначала о нем самом. Константин Иванович родился 18 октября (ст. ст.) 1877 г. в г. Харькове. Ранние детские впечатления, связанные с психиатрическими больницами, где работал его отец, предопределили его жизненный путь: решив идти по стопам отца, он после окончания в 1898 г. гимназии поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Учился он шесть лет, так как за участие в «студенческих волнениях» был в 1899 г. исключен на год из университета. Его отец, хоть и прогрессивно настроенный врач, но все же коллежский советник и позже член городской Думы, так никогда и не узнал, что в диване в его кабинете, среди книг по психиатрии, сын прятал от обысков в своей комнате нелегальную литературу.

Чтобы уберечь сына от надзора полиции (а может быть, и отвлечь от политики, а также от нежелательного романа с очаровательной француженкой — дочерью гимназического учителя французского языка!), отец отправил его в 1900 г. за границу знакомиться с исследованиями по физиологии в университетах Германии, Франции и Швейцарии.

В дальнейшем, в 1908 г., Константин Иванович еще раз ездил за рубеж, в Бельгию, для изучения анатомии нервной системы в Лувенском университете.

Закончив Харьковский университет в 1904 г. и получив звание «лекаря с отличием», Константин Иванович специализировался в области психиатрии, неврологии и психологии. Особенно его

увлекали проблемы внушения и гипноза, интересовавшие его еще в студенческие годы.

К этому времени мой отец был уже с 1902 г. женат на моей матери Вере Александровне Лебедевой, учительнице-«фребеличке»⁸ (как называли тогда), а на современном языке — педагоге-дошкольнице. Брак этот был заключен по выбору родителей Константина Ивановича, очень любивших мою мать и всегда звавших ее «ласточка». Она была петербуржанка, из обедневшей дворянской семьи, прекрасно воспитанная в закрытом пансионе, хорошая пианистка. Она преподавала французский язык детям соседей Платоновых по даче, откуда и пошло знакомство.

Сам Константин Иванович уже в старости неоднократно говорил мне и моей жене, что он никогда не мог забыть свою первую любовь — юную легкомысленную француженку, вскоре вышедшую замуж за другого, и, подавленный своим вынужденным разрывом с ней, равнодушно подчинился воле родителей.

По его словам, у них с моей матерью горячей любви никогда не было, хотя близкие дружеские отношения сохранились до самой ее смерти в 1923 г.

В 1903 г. у них родилась моя старшая сестра Ольга, а в 1906 г. родился я. Я мало помню отца тех лет. В моем раннем детстве он не играл большой роли: он вечно был поглощен наукой и сидел, запершись в своем кабинете, затем в 1908 г. уезжал за границу, а с 1909 по 1912 г. жил в Петербурге и работал в нервно-психиатрической клинике Военно-медицинской академии под руководством В. М. Бехтерева.

В 1912 г. он там же защитил диссертацию на звание доктора медицины. Тема диссертации: «О воспитании сочетательно-двигательного рефлекса у человека на совместные световые + звуковые раздражения».

В этой диссертации первоначально была глава, написанная с позиций И. П. Павлова, работами которого отец всегда восхищался. Но по настоянию Бехтерева она была исключена. Во всей своей дальнейшей деятельности Константин Иванович как клиницист был последователем В. М. Бехтерева, но как физиолог — И. П. Павлова.

Не раз встречаясь с Павловым, отец сохранил все же более близкие личные связи с В. М. Бехтеревым, у которого он часто бывал в Петрограде (а затем в Ленинграде) и который приезжал к нему в 1925 г. в Харьков⁹. После успешной защиты диссертации отец возвращается в 1912 г. уже на всю жизнь в Харьков.

Чтобы кончить разговор о семейных отношениях моих родителей, я должен сказать, что к 1912 г. они уже фактически разошлись, хотя оформить развод смогли только значительно позже — в 1914 г. Мать моя вышла по большой любви замуж вторично, и мой отчим А. З. Замошников, журналист-газетчик, поселившийся в нашей семье, стал самым большим другом и кумиром моим и моей сестры в детстве. Впрочем, он был не меньшим другом и приятелем и моего отца.

Константин Иванович часто бывал у нас в доме и всегда был самым желанным гостем.

Отец, работая в Петербурге у Бехтерева, также женился вторично — на своей пациентке, тогда курсистке Людмиле Калининковне Чумаченко. В 1911 г. у них родился мой младший брат — Игорь, а в 1914 г., уже в законном браке, — сестра Екатерина.

Родители Константина Ивановича не слишком жаловали его вторую жену и мою мачеху, и она почти не бывала в «большом доме» у дедушки и бабушки. Константин Иванович стал жить отдельно, «своим домом»; этому способствовали значительные успехи его в научной, лечебной и педагогической работе, завоевавшие ему большой авторитет и известность и среди больных, и среди врачей. Уже в это время к нему доходят письма с кратким адресом: Харьков, профессору Платонову.

Но расцвет его деятельности наступает уже после революции. На Украине он был первым, как тогда говорили, «советским профессором», так как в феврале 1918 г. был избран профессором Женского медицинского института, а в декабре 1919 г. — заведующим кафедрой психиатрии и невропатологии медицинского института, где он проработал до 1928 г.¹⁰. Его внимание все больше сосредоточивалось на применении в клинике методов внушения и гипноза. Но было бы ошибкой видеть в этом его единственный и узкий интерес. Он придавал огромное значение ознакомлению с больным, с его личностью,

с причиной заболевания. Он всегда отрицал применение гипноза без предварительного психологического изучения больного. Его интересовала клиника неврозов, особенно роль эмоций в их происхождении и течении. В поисках истоков данного невроза он часто применял метод гипнорепродукции¹¹, переводя усыпленного больного при помощи внушения во все более ранние периоды его жизни и выявляя начало заболевания. Найдя таким образом давно забытую пациентом причину, вызвавшую болезнь, он внушал ему, что этой причины вообще не было, что ее не существовало в его прошлой жизни. И больной, проснувшись и, конечно, совершенно забыв о том, что с ним происходило в гипнотическом сне, чувствовал себя гораздо лучше, а зачастую выздоравливал чрезвычайно быстро, после одного-двух сеансов гипноза. Многим это казалось чудом, передавалось из уст в уста, популярность отца росла, и это, вероятно, способствовало успешному излечению следующих больных, так как они в него уже заранее верили.

Я думаю, что удачливостью своей лечебной психотерапевтической практики Константин Иванович был обязан также необычайному обаянию своей личности. Не совсем удобно, может быть, мне, сыну, писать так о своем отце, но улыбке его, право, невозможно было противостоять. Улыбнется — и собеседник уже завоеван! Внешне он ничем особенным не выделялся: среднего роста, изящные, небольшие руки и ноги, до старости сухощавая фигура и легкая походка. Тонкие, довольно правильные черты лица он унаследовал от матери, наполювину молдаванки. Носил усы и небольшую бородку клинышком. У женщин он имел успех необычайный, и надо сознаться, что он их вниманием тоже не обходил. Это не значит, что он был «бабником» в вульгарном смысле этого слова, но романтические увлечения интересными женщинами были ему не чужды.

Мое духовное сближение с ним началось с лета 1923 г., когда мне исполнилось 17 лет. Весной того же года скончалась в 40 лет от воспаления легких моя мать, здоровье которой резко пошатнулось после смерти отчима от сыпного тифа в 1919 г. Она не хотела жить и пережила его только на три с половиной года. Если и ряд предыдущих летних каникул я часто проводил за городом в семье отца, почти

не видя его и будучи предоставленным самому себе, то именно в это лето мы с ним по-настоящему подружились.

Константин Иванович в это лето работал консультантом Славянского курорта. Там же гастролировала известная на Украине труппа театра Синельникова¹², в том числе артисты Кварталова, Мичурин и другие, чьих имен я уже и не помню. Отец всегда любил искусство, музыку, и все эти артисты были частыми гостями в доме хлебосольной Людмилы Калининны, к тому же, надо отдать ей должное, прекрасной хозяйки. Но все они были и пациентами отца: некоторые действительно были невротиками, у других имелись те или иные недомогания, но как же было не лечиться у модного тогда профессора Платонова! В общем, в это лето лечебный и экспериментальный гипноз тесно слились с бытом.

Помню, например, такой случай. Однажды за обедом было немало выпито и все допито до дна. Мичурин, кумир местной публики и неотразимый Борис Годунов и Генрих Наваррский, «переложил» больше других и явно мог сорвать вечерний спектакль. Здесь же, за столом, отец усыпил его, и через 10–12 минут тот проснулся «как стеклышко» трезвым и даже обиженным, что он трезвее всех, а выпить больше нечего!

В то лето я увлекался переводными книгами: Баррэта «Загадочные явления человеческой психики» и Гарнея, Майерса и Подмора «Прижизненные призраки и другие телепатические явления». Я стал приставать к отцу, чтобы он попытался мысленно усыпить кого-либо из своих пациентов, уже легко и быстро засыпавших ранее, на предыдущих сеансах. Он долго отмахивался, но, видно, эта идея засела у него в голове, и однажды, когда я вернулся из однодневной поездки в Харьков, он за обедом нагнулся ко мне и, хитро прищурившись, шепнул: «А я попробовал... и она заснула!..» Это была молодая, талантливая актриса Михайлова, очень хорошо внушаемая, легко засыпавшая ранее по словесному приказу отца при лечении какого-то ее незначительного недуга. Разбудил он ее также мысленным приказом.

В дальнейшем отец при моем участии неоднократно повторял с ней эти опыты. Я с секундомером в кармане регистрировал длитель-

ность времени от начала мысленного внушения (по заранее условленному знаку отца) до ее засыпания или пробуждения. Это время обычно равнялось нескольким секундам или десяткам секунд.

Михайлова могла заснуть по мысленному приказу отца не только в спокойном состоянии, но и во время разговора с кем-либо, даже во время движения. Раз отец мысленно усыпил ее, когда она танцевала вальс, под звуки рояля. Неоднократно он усыплял ее, находясь в другой комнате, и даже вне дома, в котором она была.

Причем я свидетель, что Михайлова абсолютно ничего не знала, не подозревала об этих опытах. Не было никаких предварительных разговоров на эту тему. Она не имела представления о причинах ее засыпания и на вопрос об этом отвечала: «Не знаю, просто спать захотелось», — или что-либо в этом роде.

Все это чрезвычайно поражало и нас с отцом, и других врачей курорта, бывавших иногда свидетелями этих экспериментов.

Отец заметил, что опыты лучше всего удавались не при словесном мысленном приказе «спать» (это результата не давало), а при зрительном представлении им образа и фигуры засыпающей и спящей пациентки.

Пробуждение производилось также путем мысленного представления фигуры пробуждающейся от сна Михайловой.

Через полтора года, приехав в январе 1924 г. в Ленинград на съезд психоневрологов, психологов и педагогов¹³, Константин Иванович встретил случайно на Невском проспекте Михайлову, оказавшуюся жительницей Ленинграда. Она охотно согласилась на его предложение посетить с ним съезд, послушать интересное для нее заседание. Но об истинном своем намерении он ничего ей не сказал.

В многочисленной аудитории гипнологической секции съезда¹⁴ Михайлову посадили в президиуме, лицом к председателю секции профессору А. В. Герверу, беседовавшему с ней. К аудитории она сидела боком. За ее спиной, на расстоянии метров шести, стояла доска, а за ней Константин Иванович, невидимый испытуемой, но в поле зрения аудитории. По договоренности заранее (до прихода Михайловой) отец молча закрыл лицо руками, что служило знаком начала опыта усыпления. Он мысленно представил себе фигуру

заснувшей артистки и сосредоточил на этом все свое внимание. Эффект был полный: Михайлова заснула через несколько секунд на полуслове во время разговора с профессором Гервером. Пробуждение было произведено тем же способом. И так несколько раз.

После она с недоумением спросила отца: «Зачем вы меня пригласили на съезд? Мне это непонятно. Я спала, а почему — не знаю. Ведь вас не было, и вы меня не усыпляли!»

Затем эти опыты с ней были повторены в лаборатории Бехтерева при личном его участии. Константин Иванович находился в закрытой кабине, удаленной от испытуемой, находившейся с Бехтеревым в другой комнате. Команду начала усыпления или пробуждения подавал сам Бехтерев, незаметным нажатием находившейся за его спиной кнопки, замыкавшей ток сигнализационной лампочки в кабине. Сигналы его были намеренно нерегулярными. Одновременно с нажатием кнопки он другой рукой незаметно нажимал под столом секундомер.

Успех этих экспериментов был полный. Наблюдавшиеся при этом явления были настолько разительными по четкости и постоянству, что нельзя было не признать их реальности, несмотря на понятные сомнения некоторых присутствующих.

Вопрос о сущности этих явлений так и остался малоизученным и не получил ответа до сих пор¹⁵. Отец позже мало занимался проблемами телепатии, но меня тогда эти опыты увлекли и повернули мое внимание к области человеческой психики и работам отца.

Я не буду здесь пересказывать всех случаев экспериментального гипноза, описанных отцом в его монографии «Слово как физиологический и лечебный фактор» (Харьков, 1930; М., 1957; М., 1962), переведенной на английский и испанский языки. Скажу только, что не было такой физиологической функции (частота пульса и дыхания, состав крови, мочи и желудочного сока, водный обмен, кожная реакция на внушенный ожог), которой нельзя было бы изменить внушенным словом.

Здесь уместно вспомнить, что в 1956 г. к Константину Ивановичу обратился с просьбой о консультации и помощи молодой врач парашютно-десантных войск Леонид Павлович Гримак. Он применял метод гипнорепродукции для изучения отдельных этапов

парашютного прыжка. Отец направил его ко мне. В результате в 1963 г. Л. П. Гримак защитил по этой теме кандидатскую диссертацию, а успешно применяя в дальнейшем экспериментальный гипноз для тренировки космонавтов к невесомости, защитил и докторскую. Позже он издал под моей редакцией монографию «Моделирование состояний человека в гипнозе (Экспериментальный гипноз)» (М., 1978), посвятив ее столетию со дня рождения К. И. Платонова¹⁶.

Так идеи Константина Ивановича «вышли в космос»!

Глубоко принципиальный человек в науке, неуклонно пропагандирующий идеи психотерапии, Константин Иванович в быту был необычайно мягким и податливым человеком, добряком и, что называется, «шляпой». Властная и энергичная Людмила Калинниковна вертела им, как хотела. Всегда погруженный в свои научные размышления, он часто не замечал, что вокруг него происходит. Мы с женой вспоминаем эпизод, ставший у нас семейным анекдотом: Константин Иванович за столом,ковыряя с отсутствующим видом вилкой в тарелке, вдруг, подняв голову, спрашивает: «Людмила, что я ем?» И та гордо отвечает: «Как что? Индейку!»

В 1941 г. во время эвакуации жителей Харькова Константин Иванович лежал с тяжелым приступом почечной болезни, не был эвакуирован и оказался, таким образом, вдвоем с женой в оккупированном немцами городе. Людмила Калинниковна вывезла его, еще слабого, в Миргород, к его бывшему пациенту, жившему там в своем доме, со своим крестьянским хозяйством. После выздоровления отец работал в Миргороде рядовым врачом в поликлинике на самокупаемости. Сохранились документы, подтверждающие, что он с риском для собственной жизни спас от угона в Германию и даже от смерти, укрывая и ставя ложные диагнозы, ряд комсомольцев, в частности Э. С. Бакало, М. А. Корсунскую, Н. Гасуху, В. Ксенза, Д. Кучеренко, В. Ермакова, Е. Яковича, написавших ему после войны теплое благодарственное письмо¹⁷. И это тот самый Константин Иванович, над которым мы ранее подсмеивались, потому что он боялся находиться в комнате, в углу которой стояло мое охотничье ружье! А вдруг оно заряжено?!

После освобождения Харькова он возвращается в родной город по личному вызову Наркомздрава Украины (от 25/Х 1943 г. № 1—07) и тогда же получает квартиру 19 в доме 31 по Рымарской улице¹⁸ вместо разбомбленной и стертой с лица земли квартиры на Змиевской, 4.

В 1947 г. отцу пришлось вторично защищать докторскую диссертацию, так как по своей рассеянности он в 1945—1946 гг. пропустил срок перерегистрации лиц, ранее получивших ученые степени и звания. Таким образом, он — доктор медицины с 1911 г. и профессор с 1918-го — оказался врачом без степени. Тогда он представил в Ученый совет свою монографию «Слово как физиологический и лечебный фактор» и, защитив ее, вторично, в 70 лет, получил ученую степень доктора медицинских наук. Эта защита приняла тогда форму, близкую к юбилею.

Последние три года жизни Константин Иванович провел с дочерью друга своей молодости доктора Афанасьева Елизаветой Геннадиевной Бочаровой. Человек большой культуры, доброй и чистой души, она взяла на себя заботу о нем, почти 90-летнем старике, оставшемся в Харькове после смерти жены Людмилы Калининковны и дочери Екатерины без семьи. На руках Елизаветы Геннадиевны и приехавшей к ним моей сестры Ольги он и умер 6 августа 1969 г., немного не дожив до 92 лет.

До последних лет (и даже дней) отец сохранял ясное сознание. Интересно, что весной 1968 г., когда ему шел уже 91-й год, он вылечил девочку — ученицу 10 класса, страдавшую психогенным энурезом¹⁹, ранее длительно и бесполезно лечившуюся. А летом того же года его бывший пациент, когда-то излеченный им от алкоголизма, привез к нему своего сына-алкоголика. Отец тут же усыпил его и внушил ему стойкое отвращение к запаху алкоголя. Это был последний вылеченный им больной.

Облик Константина Ивановича был бы неполным, если не сказать о его интересе к искусству. Он страстно любил театр, особенно оперу. В доме его постоянно бывали актеры и музыканты. Квартира его на Рымарской находилась вплотную рядом с Оперным театром, и в опере для него всегда было забронировано персональное кресло в первых рядах партера. Не будучи пианистом, но обладая велико-

лепным слухом и безукоризненным музыкальным вкусом, он посвящал свой досуг игре на фоноле — приставке к роялю. Он настолько овладел техникой игры на этом инструменте и вкладывал в нее такую индивидуальную интерпретацию, что не один музыкант-профессионал, сидя в соседней комнате, спрашивал, кого из известных пианистов он слушает.

Отец был и талантливым художником-самоучкой. Его рисунки карандашом и углем (в основном пейзажи) имели успех на выставке в харьковском Доме народного творчества в 1958 г. Этих рисунков сохранилось более тридцати, часть из них — в нашей семье, большинство же передано в мемориальный музей его имени в Березовских Минеральных Водах под Харьковом.

II. ИРЕ И ИРЕВЦЫ

ИНСТИТУТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Гражданская война только кончилась, когда группа прогрессивных харьковских биологов задумала организовать «народный университет» и при нем краеведческий музей. Они были объединены под именем Институт распространения естествознания, а сокращенно (сокращения тогда становились принятыми) — ИРЕ²⁰.

Наркомпрос Украины передал в распоряжение ИРЕ двухэтажный особняк с большими залами на каждом этаже удравшего от большевиков за границу шахтовладельца Рученко. Этот дом был расположен на одной из центральных улиц Харькова — Сумской²¹ улице, 39, напротив ЦК КП(б)У и рядом с основным зданием медицинского института.

Теперь этого здания ИРЕ уже давно нет, но в 1920-х годах харьковчане хорошо знали этот первый народный лекторий и маленький домик (бывшую парикмахерскую) рядом с ним ниже по Сумской, витрина которого называлась «Окно природы» и каждый год оповещала о приходе весны. В ней выставлялись результаты фенологических наблюдений, например: «Прилетели жаворонки» и рядом — чучело жаворонка; «Появились божьи коровки» и рядом рисунок и сведения об их жизни.

Одновременно с организацией ИРЕ горисполком издал приказ: «Из всех квартир, брошенных буржуазией и занимаемых рабочими, все чучела зверей и птиц, коллекции насекомых и минералов и все другое, что сотрудники ИРЕ найдут нужным, сдавать в Музей местной природы!» Таким образом, в ИРЕ оказалось много чучел крупных животных. И я помню, как во время частых вечерних дискуссий на философские, иногда совершенно фантастические темы молодежь обычно восседала на медведе, оформленном как диван с пружинами. Музей местной природы был открыт 3 мая 1925 г.

в верхнем зале и в прилегающих к нему трех больших комнатах. В нижнем зале помещался «народный университет», в котором два раза в неделю читались лекции по мироведению и краеведению. Лекции эти, конечно, были бесплатными как для посетителей, так и для самих лекторов. Об этих лекциях оповещали прохожих большие самодельные объявления, вывешенные у входа в ИРЕ. Собиралось обычно человек до 100.

Вскоре нами (я говорю «нами», так как с 6 июля 1921 г. я, имея от роду 15 лет, начал работать в ИРЕ коллектором-препаратором, а в 1924 г. был избран секретарем его правления и утвержден лектором) было организовано лекционное бюро при харьковском облпрофсовете — прототип современного общества «Знание».

Мне уже довелось писать о лекционной* и антирелигиозной** работе ИРЕ. Я не буду повторяться и здесь расскажу лишь об основных ирევцах и об их мыслях, относящихся к психологии.

ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ СТАХОРСКИЙ

Одним из организаторов ИРЕ был Виктор Валентинович Стахорский, прозванный ирევской молодежью Учителем. (Он и в самом деле был учителем природоведения в Харьковском художественном училище.)

Это был небольшого роста, коренастый человек лет 35, с неправильными чертами несколько монголоидного лица. По внешнему виду трудно было бы сказать, что он обладал незаурядной физической силой. Говорил он негромко, смеялся редко, но в глазах его всегда таилась лукавинка и улыбка его была обаятельна.

Нам он казался «паном Володыевским» из романа Сенкевича «Потоп», особенно когда учил нас, молодежь, рубиться на саблях.

* Платонов К. К. Сіячі природних знань // Людина і світ. 1969. № 11.

** Он же. Работы Института распространения естествознания в области антирелигиозной пропаганды // Информационный бюллетень Института научного атеизма. М., 1976. № 15.

Жил он тут же, при ИРЕ, в одной из задних комнат, со своей матерью Марией Нестеровной, приносившей на всю иревскую братию в первые годы существования ИРЕ кастрюлю синей перловой каши из столовой Наркомпроса.

Виктор Валентинович был ботаник и, конечно, дарвинист, как и все иревцы: ведь темы «Происхождение и развитие жизни на Земле» и «Учение Дарвина» широко читались всеми (в том числе после 1924 г. и мною) как в лектории ИРЕ, так и на предприятиях, в красных уголках. Но, кроме того, Виктор Валентинович был отличным знатоком истории философии, и именно ему я обязан ее знанием и любовью к ней. Именно его влияние определило последние слова моей матери, умершей у меня на руках в 1923 г.: «Философ ты мой м...» Быть может, она хотела сказать маленький или милый — этого уже нельзя было ни разобрать, ни узнать...

Но вернемся к Учителю. Он лично знал и высоко ценил Климента Аркадьевича Тимирязева²² и научил меня любить его слова, которым я пытался следовать всю свою дальнейшую жизнь: «Работать для науки и писать для народа»²³. Долгими вечерами и даже ночами он подробно рассказывал о борьбе Тимирязева с попытками создать фитопсихологию²⁴.

К. А. Тимирязев не раз обращался к критике этой псевдонауки. Так, в своей работе «Жизнь растений» (1878) он писал:

*«В последнее время несколько ботаников (у нас академики Коржинский²⁵ и Фаминицын²⁶) выступили сторонниками учения о психической жизнедеятельности растений. Замечу только, что в защиту этого воззрения не выставлено ни одного фактического довода»**.

В работе «Столетние итоги физиологии растений» (1901) он высказался еще более четко:

*«Современная фитопсихология предлагает науке двадцатого столетия трудную задачу — изучать несуществующую функцию несуществующего органа»***.

* Тимирязев К. А. Сочинения. М., 1938. Т. IV. С. 293.

** Там же. Т. V. С. 421.

Писал он о ней и в других местах*. Много лет спустя я прочел все эти слова и доводы самого Тимирязева, но они уже ничего не добавили к тому, что более подробно я слышал от Учителя.

Стрелок Виктор Валентинович был замечательный. В лесу он не расставался со своим мелкокалиберным винчестером, на ложе которого было выгравировано «Repeating WASUSA». Английский язык тогда не был у нас так распространен, как теперь, поэтому эта надпись читалась буквально, и к этому ружью прочно прилипло название «Репеатинг Вазуза». Из этого «Репеатинга» Учитель бил вальдшнепов, стремясь попасть им «в глаз», чтобы не испортить шкурки птицы. При всех других попаданиях он считал выстрел неудачным. Поскольку я был препаратором зоологического отдела ИРЕ и делал из этих шкурок чучела птиц для нашего музея, я имел полную возможность оценить охотничье мастерство Учителя. В голову-то он уж попадал!

Уже после войны, прилетев в Харьков в 1946 г., я привез с собой, чтобы подарить Учителю — одному из самых дорогих для меня людей моей юности — только что изданную в Лейпциге мою книгу «Человек в полете». Придя к нему домой, я узнал о недавней смерти Виктора Валентиновича в результате перенесенной им во время войны и оккупации тяжелой дистрофии.

ГЕОРГИЙ ВСЕВОЛДОВИЧ КАХОВСКИЙ

В беседах о фито- и зоопсихологии²⁷ немалую роль играл и другой ирвец старшего поколения — Георгий Всеволодович Каховский. Его крупная, прямая, с изящными движениями рук фигура, выдававшая военную гвардейскую выправку, венчалась такой же крупной, седой, красиво посаженной головой с правильными, тяжелыми чертами лица. Во всей его наружности проглядывала порода! Носил он всегда черный закрытый френч, тоже какого-то военного покроя. Он не любил говорить о своем достаточно близком родстве

* Там же. Т. IV. С. 23, 25 и др.

с декабристом Каховским, и я тоже воздержусь от уточнения этого факта. Я оставляю это специалистам — историкам, изучающим родословные декабристов, или тем, кто изучает историю Русского географического общества, членом которого был Георгий Всеволодович, или, наконец, изучающим историю отечественной энтомологии. Он был страстным путешественником, участником многих экспедиций конца XIX — начала XX в. В одной из своих поездок он под видом охотника выполнял дипломатическую миссию русского правительства в Абиссинии, а когда в Петербург приехало посольство из Японии, именно ему, как знатоку этой страны, было поручено организовать должным образом их встречу, и под его руководством интерьер Зимнего дворца был убран хризантемами — национальным японским цветком. Коллекции насекомых, особенно жуков жужелиц²⁸, собранные энтомологом Каховским в Европе, Азии и Африке, доныне хранятся в Зоологическом музее АН СССР.

Весь его облик носил печать внутреннего гордого благородства. Все иривцы заслушивались его рассказами о путешествиях по Азии и Африке, хотя нам, молодежи, воспитанной на романах Джека Лондона и презиравшей изнеженных «чечако», втайне претило, что в этих странствиях его сопровождали носильщики и в поклаже всегда были палатка и даже складная ванна! Мы были неприхотливы, таскали рюкзак сами и ночевали, бывало, и под открытым небом!

Замечу здесь же для историков, что с 1925 г. Георгий Всеволодович, как и большинство других иривцев, работал в краеведческом музее им. тов. Артема²⁹, помещавшемся тогда в Покровском монастыре, поскольку ИРЕ было объединено с этим музеем.

В 1929 г. Георгию Всеволодовичу исполнилось 70 лет, но это был неутомимый охотник, с телом Портоса, руками Арамиса и душой Атоса.

Отличный знаток не только систематики насекомых (как, увы, и тогда и теперь большинство энтомологов), но и, говоря современным языком, их этологии, он был преданным поклонником Ж. Фабра³⁰ и Вагнера³¹. Он лично встречался с ними: с первым — во Франции, а со вторым — в Москве и Петербурге. Мне он привил

привычку, живущую во мне до сих пор, — переворачивать каждый камень при дороге в поисках жуков.

Благодаря Г. В. Каховскому в нашем краеведческом музее были широко представлены насекомые Харьковщины, собранные им лично или под его руководством иривской молодежью.

Но Георгий Всеволодович был и глубоко религиозным мыслителем, лично знавшим Е. П. Блаватскую³². В наших философских спорах он занимал несколько обособленную, сдержанную позицию, хотя с удовольствием просиживал с нами вечера. И, надо сказать, что остальные иривцы, относившиеся к Георгию Всеволодовичу с глубоким уважением, всегда щадили его чувства и воздерживались в его присутствии от своих иногда слишком резких атеистических высказываний.

Объединяя свои религиозные взгляды с отличным знанием инстинктов и нравов насекомых, он считал, что чувства боли у них нет, а психики — и подавно. Антропоморфизм³³ ему, как и всем остальным иривцам, был начисто чужд.

ПАНТЕЛЕЙМОН ВАСИЛЬЕВИЧ ТОЛКАЧЕВ

Постоянным участником вечерних дискуссий по зоопсихологии был биолог-любитель и ученый-охотовед, друг известного орнитолога С. А. Бутурлина Пантелеймон Васильевич Толкачев. Его все — и стар и млад — звали Папашей. В 1920-х годах Папаше было лет 60. Помню, как-то позже он притащил в ИРЕ книгу этого самого Бутурлина «Настольная книга охотника» (М., 1925), подаренную ему автором. В дальнейшем ею зачитывались все иривцы. Его лицо, с острыми чертами резко респираторного типа, было покрыто сетью мелких морщинок. Невысокого роста, сухощавый, с прямой спиной, он мог невозмутимо выхаживать с ружьем десятки километров, не меняя аллюра.

Для пополнения коллекций музея и «окон природы» мы, иривцы, имели «открытые листы», разрешавшие нам охоту вне сроков запрета. Однако никто не только из иривцев, но и из всех охотников

и лесничих Харьковщины, с которыми мы были в контактах, не знал так хорошо повадок всех зверей и птиц, как Папаша.

Встречаясь впоследствии со многими зоологами и охотниками, я больше никогда не сталкивался с таким знатоком науки, названной самим Пантелеймоном Васильевичем «калологией». Он мог часами говорить не только о различных особенностях и свойствах кала всех животных Харьковщины, но и о том, как по калу каждого из них узнать о его нраве и состоянии.

Невозможно забыть четко вырисовывающийся на фоне предрасветного неба силуэт Папаши, застывшего с ружьем на изготовку на много часов в ожидании тока.

Я до сих пор храню его портрет с надписью:

*«Вечно торопящемуся Коте
от спокойно вззирающего на всех и на вся Папаши».*

В наши вечерние, иногда чересчур горячие философские споры Папаша вносил всегда несколько комический, расхолаживающий элемент. Сидит, бывало, сидит, помалкивает, а потом вдруг скажет что-нибудь совершенно неожиданное, не всегда и не совсем пристойное, но все уже хохочут и вся горячность улетучилась!

Эти вечера обычно заканчивались тем, что Виктор Валентинович вытаскивал хранившиеся тут же, у него в Ботаническом кабинете, неизвестно кому принадлежавшие струнные инструменты — пару балалаек, мандолину и еще что-то. И наш самодеятельный струнный оркестр, состоявший из Учителя, Георгия Всеволодовича и Папаши, дружно исполнял на прощанье, гордясь своим искусством, «Светит месяц, светит ясный...».

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ТАРНАНИ

Если Учитель был признанной душой ИРЕ, то его официальным руководителем был председатель его правления, профессор зоологии Харьковской сельскохозяйственной академии Иван Константинович Тарнани.

Кругленький, лысеющий, добродушный старичок, он долго не мог привыкнуть ни к обращению «товарищ», ни к голосованию без помощи черных и белых шаров. И совсем не в шутку заканчивал обсуждение ответственных решений правления словами: «Ну, господа, кто за, кто против — поднимите руки!»

Иван Константинович был больше сторонником Ламарка³⁴, чем Дарвина³⁵, и его многократно повторяемым докладом был доклад на тему «Зубр и бобр». Опираясь на богатый фактический материал, он доказывал, что зубр вымирает из-за изменения условий существования, а бобр исчезает, так как истребляется, независимо от условий жизни.

Для начала 1920-х годов это была весьма прогрессивная концепция, подтвержденная дальнейшей практикой этологии³⁶ и зубра, и бобра.

Будучи редактором моей первой книги (о ней я скажу ниже), Иван Константинович, как и специалист-герпетолог профессор А. М. Никольский, всячески поддерживал мои попытки включить в нее элементы зоопсихологии, а точнее этологии.

Это именно И. К. Тарнани предложил мне тему «Взаимопомощь как фактор эволюции» для моей пробной лекции перед правлением ИРЕ. Он сказал, что сам думает над ней не один год и натолкнул меня на изучение книги П. А. Кропоткина «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса» (Пг.; М., 1922). После лекции он тепло похвалил меня и потом, помолчав, сказал:

— Подумайте, Котя, быть может, вам все-таки лучше выбрать путь юриста или философа?

Вероятно, это его замечание вытекало из оценки им общего стиля моего доклада и того, как я выворачивался при ответах на все поставленные мне старшими иревцами каверзные вопросы.

Мир позвоночных животных И. К. Тарнани знал лучше беспозвоночных, но горячо поддерживал Г. В. Каховского в его мысли, что насекомые — это живые автоматы (слов «роботы», «киберны» тогда не существовало).

БОРИС ПАВЛОВИЧ ОСТАЩЕНКО-КУДРЯВЦЕВ

Активным участником споров по зоо- и фитопсихологии в ИРЕ был астроном профессор Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев, часто читавший там лекции о происхождении Вселенной, солнечной системы, Земли и т. п. Борис Павлович не был ни ходяком, ни охотником, и его грузная фигура с брюшком выдавала его сидячий образ жизни.

От Бориса Павловича я (ныне многолетний член комиссии АН СССР по разработке наследия К. Э. Циолковского) впервые услышал это имя и получил понятие об его идеях. Сам Борис Павлович был сторонником идей космозоизма, развиваемых скандинавским астрономом Сванте Аррениусом. По этим представлениям жизнь вечна и рассеяна в космическом пространстве, сохраняясь при температуре, близкой к абсолютному нулю, и получая возможность дальнейшего развития на определенном этапе эволюции материи в любой точке Вселенной.

Опираясь на открытое в 1891 г. П. Н. Лебедевым световое давление, а следовательно, на возможность перенесения спор лучом света, Кудрявцев, как и К. Э. Циолковский, считал и жизнь, и психику вечным атрибутом мироздания.

Я с признательностью вспоминаю Бориса Павловича, так как именно ему, давшему мне в ноябре 1924 г. письмо к профессору Пулковской обсерватории Б. В. Окуневу, специалисту по так называемым «перемещенным звездам», я обязан незабвенной и неповторимой прогулкой по Луне. Окунев предоставил «в мое распоряжение» почти на всю ночь самый большой в то время Пулковский телескоп — 15-дюймовый рефрактор.

Это было в мою поездку в Москву и Ленинград в 1924 г.

От Бориса Павловича я впервые услышал, что психологическое учение о скорости реакции человека было впервые разработано в области астрономии в конце XVIII в. В 1796 г. астроном Киннеброк был уволен из Гринвичской обсерватории за нерадивость, так как его отметки прохождения звезд через меридиан запаздывали на полсекунды сравнительно с отметками директора обсерватории,

считавшего себя, конечно, эталоном! И только через 26 лет немецкий астроном Бессель восстановил репутацию бедняги Киннеброка, доказав, что все астрономы запаздывают с отметками времени и что у каждого астронома есть свое собственное среднее время ошибки. Это время стали включать в астрономические вычисления, и этот коэффициент получил название «личного уравнения»³⁷.

С тех пор я в психологии особое внимание всегда уделяю психомоторике³⁸. Тогда же у меня начали зарождаться мысли о личностном подходе к любому проявлению деятельности человека.

Возможно, под впечатлением наших бесед о значении скорости реакции Борис Павлович позже написал статью на эту же тему*. Я прочел ее случайно, через много лет, и вечера в ИРЕ опять прошли перед моими глазами.

БИОФАК ХИНО

В детстве я мечтал быть лесничим. Но, вкусив тематику работы в ИРЕ, я, естественно, ощутил потребность в биологическом высшем образовании. В те годы для поступления в вуз, помимо экзаменов, нужна была командировка от какого-либо учреждения. Вот сохранившийся у меня документ:

Председателю Комслужа Наркомпроса
коллектора зооотдела ИРЕ
Платонова Константина Константиновича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Работая в ИРЕ в качестве сотрудника в продолжение двух лет и желая прослушать курс биологического отделения Харьковского

* Остащенко-Кудрявцев Б. П. К вопросу о применении на практике формулы Бесселя для вычисления приведений звезд на видимое место в течение ряда лет // Публикации Харьковской астрономической обсерватории. 1927. № 1. С. 71–83.

института народного образования, прошу командировать меня в означенное учебное заведение.

К. Платонов

Правление ИРЕ поддерживает просьбу т. Платонова К. К., как имеющего стаж по естествознанию.

За председателя *В. Стахорский*

Секретарь *С. Тимченко*

25 июня 1923 г.

<И круглая печать ИРЕ>

На этом заявлении появилась резолюция: «отказать за отсутствием достаточного возраста. Подпись»... Мне в июне 1923 г. исполнилось только 17 лет!

Так что старшим иревцам, кроме официального обращения, пришлось еще и неофициально походатайствовать за меня перед Наркомпросом, но на биофак ИНО я все же был тогда принят.

Что такое ИНО? В те годы на Украине университеты были реорганизованы в педагогические институты³⁹. И в Харькове, в университетских аудиториях и лабораториях, на базе всего университетского оборудования, с той же профессурой, работал Институт народного образования (ИНО), имевший два факультета: факсоцвос, выпускавший педагогов-дошкольников, и факпрофобр, на отделениях которого и прослушивался соответствующий университетский курс⁴⁰.

Собственно программа нашего биологического отделения факпрофобра была даже несколько шире университетской, так как физику нам читали, как на физико-математическом отделении, и их же профессура, химию — как химикам, а кроме того, прибавился ряд педагогических, а позже и сельскохозяйственных дисциплин.

Но учиться в ту пору было, пожалуй, даже интереснее, чем стало позднее⁴¹. Посещение лекций было свободным, можно было не ходить или ходить на любые лекции, хотя бы даже других отделений. Зато на экзаменах каждый профессор нас гонял по всему курсу без всяких билетов и более всего учитывал, что студент читал и насколько

усвоил прочитанное. Профессор Желиховский, например, по курсу экспериментальной физики разрешал приносить на экзамен книги и в начале года предупреждал, что будет оценивать умение пользоваться ими.

Профессор Федоровский знакомился на экзаменах с конспектами проработанных студентом книг и по ним строил свои вопросы.

Я с благодарностью заимствовал у них это, когда по приглашению Б. М. Теплова с 1950 по 1960 г. читал в МГУ психологию труда и авиационную психологию. Я и поныне уверен, что именно так надо учить студентов.

Экзамены профессора тогда также принимали в любые сроки, по договоренности со студентом.

Таким образом, получилось, что я, всегда жадно торопивший свою жизнь, к осени 1925 г. уже начал сдавать экзамены за четвертый курс биологического отделения, рассчитывая закончить его весной 1926 г. Но здесь произошел целый ряд событий, побудивших меня покинуть биофак и устремиться в медицину. Но об этом я расскажу позже. Пока же вернусь к ИРЕ.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ МАРКОВ

Первым иревцем, с которым я познакомился весной 1921 г. на берегу пруда в харьковском Сокольническом парке, где я с сачком охотился за головастиками, был профессор ветеринарного института гидробиолог Михаил Павлович Марков. Он же и привел меня в ИРЕ. Как сейчас вижу некрупную фигуру Михаила Павловича, в мокрых брюках и обуви, с сачком в руках, идущего своей прыгающей походкой по заболоченному берегу. Михаил Павлович Марков окончательно закрепил мою любовь к ручьям, озерам и болотам, а еще более к лягушкам, ящерицам и змеям, о жизни и нравах которых он, как мне тогда казалось, знал все, что только можно было знать. Под его влиянием я серьезно занялся герпетологией⁴², в результате чего появилась моя первая книга — «Краткий определитель амфибий и рептилий Украины».

14 мая 1924 г. я продиктовал последние слова предисловия этой книги машинистке ИРЕ Гале С. Она же дорисовала в этот день и последнюю иллюстрацию к этой книге. Галя начала работать в ИРЕ весной 1924 г., сначала машинисткой, затем препаратором.

Памятное для меня заседание ИРЕ, протокол которого я вел (он должен иметься в архиве музея им. Артема), состоялось 1 февраля 1927 г. с докладом «О природе и прошлом Киммерии» поэта, художника и знатока истории и природы восточного Крыма Максимилиана Александровича Волошина, приехавшего в Харьков. Волошина связывала с моей семьей многолетняя дружба, и он, добрейший человек, с какой-то особенной теплотой относился ко мне. В первый раз я был у него в Коктебеле, приехав с отцом на майские праздники 1926 г. и получив одновременно командировку от музея Артема на Карадагскую биологическую станцию (на которую я заглядывал почти при каждом посещении Коктебеля, а последний раз даже в октябре 1977 г.). Потом я неоднократно бывал у Волошина в Коктебеле с моей будущей женой — и зимой, и летом, вплоть до встречи с «Максом и Марусей» (его женой Марией Степановной) Нового 1929 г.

Когда М. А. Волошин приехал в Харьков, где у него было много друзей, в начале 1927 г. (кстати, этот его приезд нигде не упоминается в различных воспоминаниях о нем), я организовал это заседание ИРЕ с его интереснейшим докладом, вызвавшим много вопросов и живых высказываний.

* * *

Я теперь иногда, оглядываясь на иревский период моей жизни, спрашиваю себя, что объединяло этих, в сущности, таких разных людей? Что заставляло их в эти трудные, голодные годы безвозмездно отдавать свое время, знания и силы этой (как бы ее сейчас назвали) общественной работе? Любовь к природе? К просветительству? Твердое убеждение в необходимости распространения естественных наук? Потребность общения с одинаково мыслящими людьми? Думаю, что все это вместе.

Я их всех вспоминаю с глубокой благодарностью. Они дали мне пример беззаветного служения своему делу и научили меня любви к природе и ко всему живому; они научили меня эволюционному пониманию места человека в развитии материи и принципиальному различию эволюции двух ветвей животного мира; они научили меня также философскому отношению ко всему сущему.

III. МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КОЛЬЦОВ

За время работы в ИРЕ мне не раз приходилось ездить в Ленинград и Москву с рядом личных рекомендательных писем и всегда с «мандатом» вроде следующего:

УССР
Наркомпрос Институт
распространения естествознания
Июня 1 дня 1925 г.
№ 302
г. Харьков, Сумская, № 39

МАНДАТ

Дано сие секретарю правления Института распространения естествознания Платонову К. К. в том, что он командировается в Москву и Ленинград для ознакомления с постановкой экскурсионной и музейной работы и установления возможной связи с научными учреждениями.

Правление ИРЕ обращается с просьбой ко всем соответствующим организациям оказывать т. Платонову всяческое содействие в исполнении возложенного на него поручения и предоставить ему возможность беспрепятственного знакомства с институтами, музеями, выставками, экскурсбазами и т. д.

Командировка действительна по 1 июля 1925 г.
За председателя *В. Стахорский*
Секретарь *С. Тимченко*

И письма, и мандаты, особенно первые, открывали двери любых институтов и лабораторий.

Расскажу о поездке в Москву в июне 1925 г., особо памятной мне по ряду встреч и бесед с людьми, оказавшими большое влияние

на всю мою дальнейшую жизнь. Эта поездка завершила период моего увлечения зоопсихологией, когда я считал, что именно эта отрасль науки будет моей основной специальностью.

Начать надо с Николая Константиновича Кольцова, к которому я приехал в Москву за дрозофилами⁴³. В переданном мною ему письме профессор Харьковского ветеринарного института гистолог и генетик Евгений Федорович Лисицкий (также работавший в ИРЕ) просил Кольцова поделиться с Харьковом дрозофилами с уже известным генетическим кодом. Их в Харькове тогда еще не было, и родоначальницы украинской генетики прибыли к нам в нагрудном кармане моего пиджака вместо термостата.

Но встречи с Н. К. Кольцовым, так же как и с рядом других московских ученых, о которых речь пойдет ниже, интересовали меня совсем не в связи с дрозофилой. Начитавшись Ламарка и наслушавшись мыслей о нем И. К. Тарнани и В. В. Стахорского, я хотел узнать «личное мнение глав советской генетики и зоопсихологии» о наследовании приобретенных признаков. Я, как и все иривцы (кроме, пожалуй, Виктора Валентиновича), тогда был уверен, что без этого нельзя понять происхождения инстинктов. А «мощь инстинкта» была основной и бесспорной для всех — и старых, и молодых иривцев. У кого же было искать ответа, как не у отца русской евгеники!⁴⁴ Но сначала о нем самом.

1920-е годы были зенитом научной деятельности Николая Константиновича Кольцова. Его исследования в области генетики в этот период вошли навсегда в золотой фонд отечественной биологии, хотя, правда, его попытки создания новой науки евгеники оказались ошибочными и зашли в дальнейшем в тупик.

В 1925 г. Николаю Константиновичу, второй после Николая Ивановича Вавилова звезде советской генетики того времени, когда я пришел к нему в Институт экспериментальной биологии на Смоленском бульваре, было 53 года. Его светлые седеющие волосы в виде короткой волнистой гривы, густые отвислые усы под крупным носом, его тяжеловатое, утомленное, но приветливое лицо — все производило сложное впечатление из-за странного сочетания доброй отзывчивости и заинтересованности молодым представителем украинской

зоопсихологии с холодной отчужденностью. Его несколько нахмуренные брови и хмурый взгляд как будто не подпускали к себе собеседника и ставили между собой и им невидимую преграду. Вместе с тем очаровывала его великолепная русская речь с ясной логикой и дикцией профессионального лектора. Противоречивый облик его надолго запомнился мне, вероятно потому, что был не совсем понятен. Гораздо позже, через много лет, я узнал, что Кольцов был в 1919 г. приговорен Военным трибуналом к расстрелу, потом замененному пятью годами лишения свободы условно. Очевидно, этот тяжкий груз прошлого не мог не оставить отпечатка на его личности.

Пока мне готовили пробырки с дрозофилами, я настойчиво допрашивал его о том, как согласовать слова о ненаследуемости приобретенных признаков, опубликованные в его статье «Улучшение человеческой породы» в «Русском евгеническом журнале» (1923, № 1), с закреплением у животных инстинктов. На всю жизнь мне запомнился его ответ: «Вы следствие принимаете за причину. Не потому животное выживает, что имеет биологически целесообразные инстинкты, и выживает только то животное, у которого эти инстинкты есть как генетически закрепленные формы жизнедеятельности».

Этот ответ тогда меня не удивил, так как он совпадал с мнением В. В. Стахорского, противопоставленным ламаркианским взглядам И. К. Тарнани.

Признание же Кольцовым генной обусловленности (так говорили тогда, поскольку понятия программ еще не существовало) не только соматических, но и поведенческих свойств животных мне не только запомнилось, но и легло с тех пор в основу моего понимания развития психики.

Меня поразило сходство мыслей Г. В. Каховского и Н. К. Кольцова о том, что у насекомых (первый ссылаясь на хорошо известных ему жуужелиц, второй — на дрозофил) надо говорить не о психике, а о поведении. И все основные ирревцы, и Н. К. Кольцов, хотя и в разных выражениях и подходу к проблеме с разных сторон, но говорили о различии двух ветвей животного мира: ветви первично-

ротых и ветви вторичноротых⁴⁵. С тех пор размышления над этой проблемой не оставляли и меня, пока они не вылились в понимание мною различных форм отражения.

Николай Константинович, наверное, был в тот день не очень занят, а во мне он, надо думать, увидел возможного распространителя (ассоциация с названием ИРЕ?) своих идей на Украине. Он увлеченно, но и как-то отчужденно, как будто для самого себя, развивал мысли упомянутой мною своей статьи. Я же, естественно, не мог и не стал с ним спорить, видя, что он фанатик евгеники, что и подтвердилось в 1939 г., во время острой дискуссии о ней, кончившейся ее разгромом.

Но для меня значительно важнее было, что ушел я от него, поняв, что генетика первичноротой дрозофилы и вторичноротых людей в своих законах имеет не только много общего, но и не меньше существенных различий. Я запомнил, как он нахмурился и дал явно уклончивый ответ на мой вопрос: «Есть ли основания связывать активность естественного отбора в отношении формирования инстинктов у первичноротых и низших вторичноротых с их огромными потомствами и у высших вторичноротых с их весьма ограниченными потомствами?»

Я не сказал ему, что накануне я уже получил исчерпывающий и вполне удовлетворивший меня ответ от Н. Н. Ладыгиной-Котс. Но о встрече с ней я расскажу позже, говоря о советских психологах.

Владимир Леонидович Дуров

На следующий день после посещения Н. К. Кольцова я пришел в теперешний Уголок Дурова. Тогда это просто был дом, где была квартира Дурова и где он держал своих животных. Меня встретил коренастый, уже немолодой (родился он в 1863 г., и, следовательно, ему шел седьмой десяток!), толстеющий человек, с густой проседью волос, подстриженных ежиком. Его гладко выбритое, с мягкими чертами лицо выдавало привычку к гриму. Ведь этот незаурядный зоопсихолог всю жизнь был актером, циркачом с раннего детства,

мастером клоунад с участием дрессированных животных. В этих клоунадах он постоянно высмеивал царских чиновников и самого царя, за что был вечно преследуем полицией. У него были удивительно добрые и вместе с тем пронизательные глаза, а медленная речь с четкой артикуляцией, очевидно, выработалась в результате его профессии — общения с животными на арене цирка.

Не знаю, что сыграло большую роль — мой иревский мандат или то, что Владимир Леонидович лично хорошо знал Бехтерева, а по литературе и моего отца, но он не только сам показал мне всех своих зверей, но и долго разговаривал со мной за чайным столом.

Это, право, общемировая несправедливость, что ни советские люди, ни человечество в целом до сих пор не поставили памятника Владимиру Леонидовичу Дурову! Ведь дрессированные звери испокон веков существовали рядом с человеком, но дрессировка их всегда и везде была связана с мученьем животного. Животное научалось что-либо делать, стараясь избежать боли. Лучший пример тому — танец медведя под цыганский бубен. Этому «обучали» животное, поставив его на горячую плиту! Лошадь поднимала ногу, а тигр — лапу, отдергивая ее, чтобы избежать болезненного укола. Зверь боялся человека, а человек — зверя!

Владимир Леонидович Дуров был первым в истории дрессировки, заменившим боль «вкусопоощрением» — это его оригинальный и научно абсолютно точный термин. Взаимный страх он заменил взаимным доверием. Потому не было животного, которое он (а за ним и его последователи) не сумел бы научить тому, что было ему нужно, а животному — приятно. Глубокий знаток нравов и поведения зверей, он, по существу, не учил, а доучивал их: зайца — бить в барабан, енота — стирать белье, морского льва — подбрасывать носом мяч. Он закреплял вкусопоощрением свойственные данному животному движения, а потом наслаивал на эти, уже закрепленные, новые, более сложные движения, также «вкусопоощряя» их. В результате были довольны и Дуров, и животные, и зрители!..

В эффективности этого его метода я смог тогда же убедиться. Когда мы уселись с ним и его дочерью Анной Владимировной (в замужестве за известным актером — Садовской) за стол, на ко-

тором уютно пел самовар, Дурову сообщили, что привезли новую партию белых крыс. Он распорядился принести клетку в столовую и, пока ее несли, мелко-мелко наколот сахар. Посадив крысу на стол и взяв кусочек сахара, он внимательно стал следить за ней. Как только он заметил, что крыса поворачивает голову в сторону его руки, он четко произнес: «Повернись!» — и, как бы продолжая ее поворот, дал крысе сахар.

Я, конечно, не помню, сколько раз повторялась эта процедура, но через несколько минут при команде Дурова «повернись!» крыса с удовольствием поворачивалась на 360° и получала очередной заслуженный кусочек сахара.

Владимир Леонидович тогда же говорил мне, что любые звери, родившиеся у него от уже дрессированных, скорее и легче дрессируются. Не верить ему оснований не было. Но в то время, в 1920-х годах, это его наблюдение могло быть объяснено только закреплением в генах приобретенного в личном опыте. Теперь, через много лет, это явление может быть понято с позиций открытого Лоуренсом «импринтинга»⁴⁶ — влияния поведения родителей на поведение новорожденного потомства.

Я не буду здесь останавливаться на опытах Дурова, связанных с мысленным внушением двигательных актов его овчарке Марсу и другим дрессированным собакам, которые он проводил в ленинградском Институте мозга в 1919–1920 гг. вместе с В. М. Бехтеревым и другими сотрудниками института. Я сам не был их свидетелем. Бехтерев придавал этим экспериментам большое значение, и в научных трудах института появились объемистые статьи с их описанием*. Вокруг этих опытов ходило немало и легенд, и «опровержений». Человечество, видимо, еще не доросло до научного изучения этой проблемы и подменяет объективное исследование этого феномена доводами «верю — не верю» вместо «знаю — не знаю».

* Бехтерев В. М. Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение животных // Вопросы изучения и воспитания личности. Пг., 1920. Вып. 2. С. 230–265; Иванов-Смоленский А. Г. Опыты мысленного воздействия на животных // Там же. С. 266.

Меня же день, проведенный с Владимиром Леонидовичем Дуровым, убедил, что этот безгранично любящий животных и преданный науке человек мог ошибаться, но шарлатаном в зоопсихологии он быть не мог!

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗАВАДОВСКИЙ

Встреча с В. Л. Дуровым у меня тесно связалась, именно с позиций зоопсихологии, еще с одной встречей в тот памятный и насыщенный впечатлениями приезд в Москву. Не довольствуясь беседой с Н. К. Кольцовым, я решил (по просьбе И. К. Тарнани и Е. Ф. Лисицкого) встретиться и поговорить с Михаилом Михайловичем Завадовским. Увидеться с ним мне тем более хотелось, что я в это время работал в харьковском зоосаду и запасся письмом от его директора тов. Эвальда.

У Михаила Михайловича в это время на территории старого московского зоопарка была лаборатория эволюционной биологии. Туда, на Пресню, к двум старым башням, украшавшим тогда вход в зоосад, я и пришел к нему.

Михаил Михайлович куда-то торопился, но встретил меня приветливо. Узнав, что я, как молодой натуралист (это слово было тогда для меня священным), остро интересуюсь зоопсихологией и хочу ей посвятить свою жизнь, он не долго думая посадил меня рядом с собой и грудой рулонов чертежей и схем в свой фаэтон и повез... в Моссовет на свой доклад о новом зоопарке. Вернее, о реорганизации и расширении уже устаревшего прежнего.

Я, увлекавшийся когда-то книгой Гагенбека «О людях и животных», попал как в сказку! Гагенбек был директором основной европейской фирмы, торговавшей дикими животными. Он превратил свой зверинец в зоопарк в германском городе Штеллингене, первым выпустил зверей из клеток «на волю» (волю, конечно, относительную, ограниченную непреодолимыми для них стенами и рвами с водой). Это был акт гуманизма, в котором Гагенбек почти сравнялся с Дуровым!

И вот на заседании Моссовета я вдруг услышал, что и у нас, в Москве, скоро будет подобный зоологический парк (до этого звери содержались в клетках). Я увидел рисунки, планы и чертежи «Острова зверей», «Полярного мира», «Турьей горки», сейчас знакомых всем московским детям.

Теперь, когда пишутся эти строки, масштабы Завадовского давно уже устарели. В настоящее время в Черемушинском районе Москвы, южнее Деревлева, Владимир Владимирович Спицын строит новый, современный зоологический парк. В нем почти не будет ни клеток, ни решеток. Более двух тысяч видов его обитателей будут не только жить в привычных экологических условиях, но и смогут в них наблюдаться посетителями и изучаться натуралистами.

Но тогда, в 1925 г., совпадающие гуманистические направления мыслей В. Л. Дурова и М. М. Завадовского глубоко потрясли мое воображение и легли в основу всего, что я узнал в дальнейшем и по экологии как науке о жизненной среде, и по этологии как науке о поведении животных.

Свой доклад в Моссовете Михаил Михайлович начал с популярного изложения идей, прочтенных мною примерно через год в его предисловии к сборнику работ его сотрудников: «В основе наших исследований лежит мысль, что развитие организма определяется совокупностью специфических факторов (генов), поступивших из отцовской и материнской зародышевых клеток при участии внешних факторов окружающей среды... Участие простейших факторов организма и факторов окружающей среды в механике развития живого тела, взаимная коррелятивно-физиологическая связь между ними входят в задачи науки, которую мы имеем смелость назвать морфогенетикой»^{*}.

А потом он стал вдохновенно рассказывать о задуманном саде, разъясняя зависимость поведения животных от условий окружающей среды, показывая проекты новых сооружений на развернутых схемах и чертежах.

^{*} Труды лаборатории экспериментальной биологии Московского зоопарка / Под ред. М. М. Завадовского. М., 1926. С. 3.

Решение Моссовета было принято. И через год-полтора, в 1926 г., старый зоосад, основанный в 1863 г., превратился в теперешний московский зоопарк.

То, что я почерпнул из общения с Михаилом Михайловичем в июне 1925 г. в Москве, было позже в моей памяти закреплено вторичной встречей с ним летом 1928 г. в Аскании-Нова. Работая тогда в Харьковской психотехнической лаборатории Южных железных дорог и изучая труд машинистов, я приехал на паровозе на ст. Ново-Алексеевка. Поскольку всего в 70 километрах отсюда находился знаменитый южнорусский заповедник Аскания-Нова, где я давно мечтал побывать, я урвал несколько дней от своей командировки и на попутном грузовике примчался в Асканию.

Нельзя не сказать хоть несколько слов об Аскании — об этом изумрудном оазисе засушливых причерноморских степей. В 1828 г. Николай I пожаловал графу Аншальт-Кетлинскому за какие-то «заслуги» обширные земли на юге России. Не сумев, очевидно, освоить эти земли (а освоить их было нелегко, так как вода там на глубине 25—30 метров!), тот продал их в 1856 г. немцу Фейну, державшему там в дальнейшем стада овец для производства шерсти и выдавшему свою дочь замуж за другого немца Фальца. Потомок их Фридрих Эдуард Фальц-Фейн (местные крестьяне называли его «Фейн»), биолог и зоолог, построил себе тут в «поду», то есть понижении «Чаплинка», имение. С помощью артезианских колодцев и ветряных двигателей поднял воду на поверхность, выкопал и заполнил пруды, развел парк и в 1885 г. завез сюда первых животных, прижившихся и размножившихся здесь. Сразу же по окончании гражданской войны декретом ПредСНК Украины Раковского от 8 февраля 1921 г. это национализированное имение Фальц-Фейнов было превращено в государственный заповедник, один из первых в Советской России⁴⁷.

Сейчас азовские и черноморские степи орошены каналами, но в 1920-х годах появление зеленого острова на горизонте среди сухой, многоверстной степи, описанной Гоголем в «Тарасе Бульбе», казалось чудом! А когда вы углублялись в парк и среди журчащих ручьев наталкивались то на фазанов, то на фламинго, не боящихся

людей, когда вы с взнесенного над степью помоста могли любоваться стадами свободно пасущихся копытных или мчащимися коричнево-глазыми страусами эму, тут же доверчиво подходящими к вам, то это чудо превращалось в живую сказку! Я застал еще в Аскании ближайшего помощника первого Фальц-Фейна — «незаменимого Клина», биолога-практика Климента Евдокимовича Сиянко, уже глубокого старика, проработавшего там всю жизнь и получившего в 1928 г. звание Героя труда⁴⁸.

М. М. Завадовский был одним из руководителей и вдохновителей научной работы в Аскании-Нова. Встретив меня там, он вспомнил, как отвез меня на заседание Моссовета в 1925 г. и с охотой разговаривал со мной, гуляя по парку. На этот раз основной темой были внутривидовые сообщества и межвидовые биоценозы. С гордостью вспоминаю, что его заинтересовал не только ИРЕ (он о нем кое-что слышал), но и мой доклад там «Взаимопомощь как фактор эволюции», прочтенный мною в 1924 г. для получения права выступать с публичными лекциями. Упомяну здесь же, что для этого надо было получить единогласное одобрение всех членов ИРЕ по двум выступлениям, рассчитанным на аудитории разного уровня. Вторая моя лекция тогда была на тему «Жизнь и смерть». Я читал ее потом десятки раз в разных организациях. Но не могу удержаться и не написать здесь, что наиболее запомнились мне из них две: в красном уголке для работников кладбища (заказавших эту тему через лекционное бюро) и в ночлежном доме. Я очень гордился тогда, что обе аудитории остались довольны и задавали много вопросов!

От Михаила Михайловича я тогда впервые услышал слова «диалектика борьбы за существование и взаимопомощи в биоценозе».

При этом он считал, что «эта диалектика подчинена диалектике закрепленного в генах и приобретенного в индивидуальном опыте». Но я отчетливо заметил, что от обсуждения проблемы закрепления в генах приобретенного он уклонялся!

Эти две встречи с мудрейшим и обаятельным в общении человеком заставили меня глубже изучить его работы. Тем большая эмоциональная окраска добавилась у меня к неприятию рассудком концепций Т. Д. Лысенко⁴⁹. И тем приятнее было мне услышать теплые слова

в адрес Н. К. Кольцова и М. М. Завадовского от Ю. А. Филипченко⁵⁰, по книге которого я учился генетике и с которым встретился⁵¹ в первые дни после взятия Берлина в Хирнфоршунг Институте — детище знаменитого Карла Фогта. Несмотря на угрюмую замкнутость и молчаливость Ю. А. Филипченко, он не сумел тогда сдержать слов резкого неодобрения в адрес Т. Д. Лысенко.

Общее отношение к Трофиму Денисовичу Лысенко всегда было более чем настороженным, хотя когда-то его ввел в науку, себе на беду, сам Н. И. Вавилов!⁵² Я помню, во второй половине 1927 г. по рукам ходила вырезка из газеты «Правда» с очерком Виталия Федоровича о Лысенко. В нем были такие слова: «Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли,— дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слова скуп он и лицом незначительный, только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собирался он кого-нибудь укукать...»

Читая, все посмеивались: «Четкий портрет!..» Он совпал с моим впечатлением от личной встречи с ним в начале 1960-х годов в Институте философии АН СССР, где он сделал не получивший ни у кого одобрения доклад «О диалектике эволюции живого».

Это была речь самовлюбленного фанатика, говорившего шаблонными и разорванными фразами и искренне верившего в их высокую значимость. Хотя в этот период звезда его еще не закатилась, все слушатели понимали, что перед ними человек, сыгравший роковую роль в истории советской науки!

ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ МЕСЯЦЕВ И ПЛАВМОРНИН

Тогда же, в июне 1925 г., А. М. Никольский познакомил меня с профессором зоологии Московского университета Иваном Илларионовичем Месяцевым, направив меня к нему с письмом. Месяцев в то время организовывал очередную комплексную гидробиологическую экспедицию в район Шпицбергена на специально оборудованном судне «Персей»⁵³.

Хочется помянуть добрым словом этого первенца нашего полярного научного флота. Экспедиционное судно «Персей» было построено в годы разрухи, с огромными трудностями, руками самих ученых под руководством Месяцева, и в 1922 г. приняло на борт созданный по декрету Ленина Плавучий морской институт (Плавморнин)⁵⁴. С тех пор «Персей» проделал девяносто рейсов в полярных водах, проводя научные изыскания. Школу «Персея»⁵⁵ прошли многие советские биологи, океанологи, химики, геологи — академики Вернадский, Виноградов, Шулейкин и др. Команда «Персея» приняла участие в кампании помощи дирижаблю «Италия» Умберто Нобиле, поддерживая радиосвязь с ледоколами и другими судами.

А в июне 1941 г. «Персей» ушел на фронт и стал военно-транспортным судном. И уже в июле того же года, идя на Рыбачий с грузом продовольствия, оказался мишенью немецких бомбардировщиков и затонул в губе Эйна вблизи от берега. И тут началась его вторая жизнь: саперы использовали его корпус как причал для кораблей, подвозивших туда оружие и медикаменты нашим войскам. И так «Персей» нес свою вахту еще 1160 дней, принимая на свои плечи морскую пехоту, раненых, тонны грузов*...

В советской полярной науке имя его стало теперь легендарным! А тогда Плавморнин привлекал меня, как магнит!

Принял меня профессор Месяцев — высокий сорокалетний атлет с наголо выбритой головой — в своем кабинете при зоологическом музее университета, лежа на полу, на шкуре белого медведя, причем поверх рукописи на его письменном столе в качестве пресс-папье лежал... пистолет Кольта... Надо ли говорить, что сердце мое и мечты были мгновенно отданы ему! Много позже, посмотрев фильму о Фантомасе и мучительно стараясь припомнить, на кого похож этот современный романтический герой, я вдруг понял, что облик его для меня связан с наружностью профессора Месяцева! Этот путешественник-зоолог был не только отличным систематиком, но и хранил в памяти массу наблюдений над поведением животных и живо интересовался

* Подробнее см.: Круглянская И. Жизнь «Персея». // «Известия». 1972. 20 декабря.

зоопсихологией. Заинтересовала Ивана Илларионовича и моя книга об амфибиях и рептилиях и, главное, ее зоопсихологический уклон. Как я понял много лет спустя, в этом его интересе натуралиста (как и у А. М. Никольского, И. К. Тарнани, М. П. Маркова, Г. В. Каховского, П. В. Толкачева и В. В. Стахорского) проявлялась потребность в этологии, не отличае­мой от зоопсихологии (как, впрочем, они часто не различаются и поныне).

Тут же, на шкуре белого медведя, было решено включить меня в состав экспедиции Плавморнина и были написаны соответствующие бумаги в обе Главнауки — РСФСР и УССР.

Готовясь к «Персею», я поехал летом 1925 г. с группой студентов III курса биологического факультета Харьковского ИНО и с доцентами В. Л. Паули и А. И. Устиновым в экспедицию в Хосту. Жили мы на даче покойного профессора А. Н. Краснова⁵⁶, основателя Батумского ботанического сада, целые дни волочили планктонные сети и драги. Сейчас трудно себе представить, что в тогдашней Хосте самой дешевой нашей пищей были... копченые медвежьи окорока. Ими нас снабжали местные охотники. Никаких магазинов (а «курортников» и подавно) в Хосте не было. А от центра Хосты, где тогда кончались железнодорожные рельсы, через уже существовавший в то время туннель, можно было раз в день ездить на мотодрезине, переваливавшей на рельсах с боку на бок, в Сочи, за более дорогими продуктами.

Наряду с гидробиологией⁵⁷ я и в этой экспедиции занимался герпетологией. В частности, я продолжал начатые еще в Харькове эксперименты по гипнозу и катаlepsии лягушек, тритонов, ящериц и змей. Но об этой работе речь пойдет ниже.

В моем архиве сохранилась переписка с двумя Главнауками — Украины и РСФСР⁵⁸. Оба учреждения в принципе не возражали против моей кандидатуры для работы в Плавморнине. Но... все упиралось в недостаток необходимых средств. Обе Главнауки сталкивали друг на друга выделение нужных на снаряжение, питание и т. д. сумм. Ни о какой зарплате я, разумеется, и не заикался. Лишь бы взяли туда работать!

Вот написанный мною очередной документ, датированный первым августа 1925 г. и оставшийся безрезультатным:

В Наркомпрос
Платонова К. К.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ответ на в свое время поданное мною ходатайство Главнаука высказала принципиальное согласие командировать меня на Плавморнин.

В настоящее время положение изменилось, и Главнаука не находит возможности изыскать необходимые средства. Ссылаясь на прежнее мое заявление и приложенные к нему рекомендации выдающихся ученых Харькова, считаю своим долгом отметить, что создавшееся положение ставит меня в весьма затруднительное положение, т. к. одно место на Плавморнине за мной, как за представителем Украины, на основании ходатайства Украинской Главнауки уже забронировано.

Кроме того обещания, Главнауки в свое время имели свои основания, а потому прошу найти возможность дать мне эту командировку уже хотя бы потому, что отказ от нее будет звучать диссонансом в общей уже запланированной исследовательской работе Плавморнина.

К. Платонов

А 18 августа я получил от Месяцева следующую телеграмму:

Харьков Михайловский пер 3

Платонову

Главнаука денег не дает экспедиция уходит 22

Месяцев

В результате буквально в последние часы вместо меня на «Персей» поехал писатель Борис Пильняк и написал в этой поездке свое «Заволочье». А я осенью 1925 г. решил «положить руль на борт» и резко изменить направление своего жизненного пути: с III курса биологического факультета ИНО я перевелся на I курс Харьковского медицинского института. Биология и зоопсихология отходили в прошлое, оставив в моем мировоззрении глубокий и прочный фундамент.

IV. ПУТЬ В МЕДИЦИНУ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ВОРОБЬЕВ

Провал моей эпопеи с Плавморнином вызвал во мне глубокое разочарование и досаду. Эти чувства подстегивались еще двумя событиями 1925 г., толкавшими меня изменить свою судьбу.

Одним из них была «чистка студентов» ИНО. Я писал уже, что, стремясь скорее закончить курс, начал тогда сдавать экзамены за IV курс биологического отделения. Члены комиссии по чистке понять этого не могли и, не аннулирував ни одного сданного за III и IV курсы экзамена и зачета, все же постановили «считать Платонова К. К. студентом II курса». Меня это, как сейчас помню, возмутило и обидело до глубины души! Ведь к этому времени я уже получил от правления ИРЕ, секретарем которого был, право читать публичные лекции, был принят в число членов секции научных работников профсоюза работников просвещения, а на гранках титульного листа моей книги, переведенной на украинский язык, было написано: «Госнаучметодком по секции профобразования одобрил как учебник для педвузов». То есть для того же ИНО, на II курс которого меня несправедливо, по моему мнению, возвращали!

Вторым из этих событий была встреча с Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Судьба подарила мне длительную вечернюю беседу с ним, когда он, приехав в Харьков в 1925 г., останавливался у отца. Но о Бехтереве я расскажу дальше, в ряду других психологов и психиатров.

В общем в результате всех этих событий я осенью 1925 г. перевелся в Харьковский мединститут. При этом оказалось, что сданные мной в ИНО экзамены позволяли мне оформиться на II курс. Но я хотел прослушать лекции Воробьева по анатомии и Данилевского по физиологии и поэтому перешел на I курс. Об этих двух светилах харьковской научной мысли мне также хочется, хоть и кратко, рассказать.

Владимиру Петровичу Воробьеву (1876—1937) вместе с биохимиком I Московского мединститута Б. И. Збарским человечество обязано сохранением тела Ленина. Уже это одно говорит о глубине его мысли и незаурядных способностях, далеко выходявших за рамки традиционной остеологии⁵⁹ — как только перечисления костей и их бугров и отверстий в них — и миологии, то есть описания мышц человека. Крупный, даже грузный, ширококостный и, по прозвищу студентов, «мордастый», он обладал «золотыми руками» хирурга и умел делать поразительные по тонкости и изяществу анатомические препараты. Лекции его были чрезвычайно интересны. Несмотря на некоторую грубоватость речи (а в выражениях он вообще никогда не стеснялся), он водил за собой слушателей по человеческому телу, как по неизведанной стране, открывая в нем все новые неизбежные закономерности и показывая целесообразность и необходимость каждого бугорка или впадины. Анатомическая аудитория всегда была набита битком.

Перед началом лекции старик-служитель, его многолетний помощник, знавший анатомию, вероятно, не хуже его самого, ставил ему на кафедру стакан с «водой». Но мы-то знали, что это была за «вода»! Виктор Петрович всходил на кафедру, по-бычьему насупившись, оглядывал аудиторию и опрокидывал в себя этот стакан. После этого начинал говорить... А бывало и так: после этого помолчит, грубо выругается в наш адрес и уйдет. И лекции в этот день нет!

На экзаменах студенты боялись его как огня! Ведь он требовал выучивания на память, без запинки, всех латинских названий и при малейшей оговорке — гнал. Но он добивался и осмысливания учащимися работы каждого органа! В этом человеке были слиты в единый монолит огромные знания, преданность науке и грубый волюнтаризм, доходивший иногда до самодурства!

Из многих встреч с Владимиром Петровичем мне наиболее запомнились три. Первая произошла еще до того, как я стал его студентом. В 1925 г. ИРЕ был включен на положении научного общества в состав Социального музея им. Артема, помещавшегося в центре Харькова в бывшем Покровском монастыре. Музей ИРЕ стал там отделом природных условий, и я некоторое время работал

в нем штатным сотрудником. Однажды в музей привезли с юга Украины два мешка костей.

«Мы пахали курган та нашли пид камнями оци кости. Всю землю вокруг перебрали, та собрали уси, до самых маленьких. Трошки було черепков, бус та железок, так их вчитель забрав, а кистяки велив вам отвезти», — таково было объяснение.

Черепки, бусы и железки у учителя нашли и определили — они относились к IV в. А в костях поручили разобраться мне.

Лаборатория моя находилась в архиерейской усыпальнице, в подвале монастыря. Я долго раскладывал кости на трех плитах надгробий. В мешках оказались отлично сохранившиеся мужской и женский скелеты, и еще отдельные кости баранов. Отобрать последние было пустяковым делом, а вот рассортировать и сложить сначала на плитах, а потом смонтировать в специальных витринах эти два скелета было далеко не просто. Стахорский посмеивался: «Наверно, вам, Котя, ни один мужчина не будет так мешать разобраться ни в одной женщине, как этот!» Но я все-таки «разобрался»!

Директор музея им. Артема Оландер пригласил в качестве эксперта В. П. Воробьева. Тот долго рассматривал кости, хмыкал и в конце концов поменял местами с плиты на плиту одну пальцевую фалангу. Ни слова одобрения я от него не услышал!

Вторая моя встреча с Виктором Петровичем была на так называемом «полулекарском» экзамене по всему курсу анатомии. Предварительные зачеты принимали ассистенты, но «полулекарский» у всех поголовно студентов — всегда «сам». Я спутал окончание прилагательного: вместо «*ramus circumflexus arteriae coronaria cordis*» сказал «*circumflexum*» и получил в ответ: «Другому я простил бы эту ошибку, но тебе — раз так знаешь остеологию — пойди-ка поучи еще ангиологию!»⁶⁰. После этого он гонял меня с полулекарского еще пять раз! Для меня это стало настоящим бедствием: я в это время болел трехдневной формой малярии и просто уже бредил анатомией. Зубрил во время приступов, а сдавать ходил, когда температура падала.

С тех пор прошло больше пятидесяти лет. Но анатомию — спасибо Владимиру Петровичу — я знаю до сих пор.

И еще помню такую встречу. Ранним утром я ехал в промерзшем трамвае в мединститут в очередной раз сдавать полулекарский. Закоченевшими пальцами я протянул кондуктору гривенник, тот его не удержал, и гривенник, выскользнув, упал за шиворот, за оттопырившийся воротник сидевшего впереди Воробьева! Тот, вздрогнув от неожиданности, сделал вид, что ничего не случилось. Но кондуктор безапелляционно заявил:

— Плати снова.

— Нет у меня больше, — жалобно ответил я. — Это был мой последний гривенник!

Тогда Виктор Петрович достал портмоне и протянул мне гривенник. Я пробормотал что-то вроде «спасибо» и что завтра, мол, принесу.

И получил в ответ: «Зачем же? Я же его вечером найду!»

Когда я вошел в кабинет, он фыркнул и сказал: «Давай матрикул!»⁶¹.

Так я наконец сдал анатомию!

Я мог бы воздержаться от рассказа о Воробьеве в этих воспоминаниях, посвященных лицам, так или иначе связанным с психологией, если бы не услышал именно от него впервые о сеченовском учении о рабочих движениях. И не в качестве случайного примера, а как основы понимания им динамической морфологии костно-мышечного аппарата человека. С подлинной грацией, преодолевая как морж свою грузность, демонстрировал он нам различные рабочие движения и стили походки, сопоставляя их со строением мышц, связок и костей. Он расхаживал в аудитории незабываемо, вихляя задом, и говорил:

«Так ходят женщины двух типов. У одних эта походка — следствие прирожденно увеличенных выступов на бедренной кости *trochanter major*. У других — это результат завлекающего характера, и такая походка у них способствует их развитию. Так следствие и причина могут меняться местами. Кость только кажется твердой и неизменной. Она пластична, как ледник, и гибка, как лоза!»

Он научил меня (и, конечно, не только меня) понимать единство формы и функции. Поэтому ему и уделено место в этих записках.

О другом моем учителе, облегчившем мне переход от зоопсихологии к медицине, — Василии Яковлевиче Данилевском — я расскажу ниже, в русле встреч с ведущими советскими физиологами.

ЗАХАР ИВАНОВИЧ ЧУЧМАРЕВ

Перейдя с сентября 1925 г. на первый курс Харьковского медицинского института, я не порвал связей с ИРЕ хотя бы уже потому, что заказные лекции на предприятиях, а также изготовление чучел и скелетов для школ давали мне средства не только к существованию, но и для каникулярных путешествий. Занятый днем, я поэтому учился в группе, официально называемой «группой служащих» и прозванной студентами «группой самоубийц», так как долго выдержать этот режим могли не все.

Но, решив выполнять совет Бехтерева и основное внимание уделить психологии человека, я начал с осени 1926 г. работать внештатным младшим научным сотрудником психофизиологической лаборатории Украинского психоневрологического института (УПНИ)⁶². Этой лабораторией тогда заведовал профессор Захар Иванович Чучмарев, позже, в 1929 г., переехавший в Москву в педагогический институт им. Н. К. Крупской и умерший в 1961 г.

Директором и создателем УПНИ был крупный харьковский невропатолог профессор Александр Иосифович Гейманович. Прекрасный организатор и энергичный человек, превративший УПНИ в очень интересное, многопрофильное учреждение, он был знаменит в харьковском научном мире своей любовью к длительным выступлениям при том, что был тяжелым занкой!

Когда 6 мая 1927 г. УПНИ с опозданием отмечал свое пятилетие (1921—1926 гг.) в типографски изданном юбилейном отчете* на странице 30 в разделе «VI. Социальная психология» было напечатано: «Психофизиологическое исследование хулиганов в Добре (работа

* Подробнее см.: Украинский психоневрологический институт. Пять лет (1921—1926). Харьков.

начата Э. И. Чучмаревым, В. А. Лавровой, К. К. Платоновым, С. Д. Каминским)». Понятно, что слова отражали только очень небольшую часть обширнейшей тематики психоневрологического института.

Я проработал в УПНИ с сентября 1926 по апрель 1928 г. Здесь уместно отметить, что в конце 1930 г., когда там уже не было ни меня, ни Э. И. Чучмарева, туда приехала из Москвы группа психологов под руководством Л. С. Выготского: А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец и Л. И. Божович. Вскоре к ним присоединился Г. Д. Луков. Эта группа одновременно преподавала в педагогическом институте и уехала из Харькова лишь в 1934—1935 гг.

Но это было позже, я же, поступив работать в УПНИ, будучи одновременно студентом второго курса мединститута, попал тогда под руководство Захара Ивановича Чучмарева. Это была своеобразная личность, промелькнувшая в истории отечественной психологии и вызывавшая у каждого сталкивавшегося с ним невольное чувство раздражения и двойственную оценку — творческого, но крайне тяжелого в общении человека. Возможно, это был результат нелегкого детства и юности.

Вот некоторые данные его биографии. Родился он в Луганске в 1888 г. и, работая с отроческих лет рабочим на заводе, сумел экстерном закончить гимназию, а затем, в 1916 г., — и Московский университет. В университете им руководил К. Н. Корнилов, имя которого Захар Иванович всегда высоко чтит.

При организации в 1921 г. УПНИ А. И. Гейманович пригласил Э. И. Чучмарева заведовать психофизиологической лабораторией. Младший брат Захара Ивановича — Владимир Иванович — был философом, много помогавшим ему в вопросах методологии, но часто и мешавшим ему, внося в его мысли некоторую сумятицу и толкая его к механицизму и упрощенчеству.

Захару Ивановичу Чучмареву, а точнее его жене Варваре Александровне Лавровой, я обязан усвоенной мною уже в те годы экспериментально-психологической техникой. Оба они владели ею отлично. Но Варвара Александровна была вдумчивой, хорошо подготовленной по психологии, тактичной и высококультурной

женщиной, тогда как Захар Иванович был взрывчатым клиническим психопатом! Забегая вперед, скажу, что я ушел от него в 1928 г., убедившись в его научной недобросовестности: я увидел, как он, разрезав записанную с одного испытуемого ленту полиграфа на две части, на одной половине написал фамилию одного исследуемого, а на второй — другого! Но вначале я долго, не подозревая о возможности подобной практики, считал, что Захар Иванович — «хотя и трудный, но интересный человек». А тематика в его лаборатории была действительно интересной.

Именно в этой лаборатории в моей работе тесно переплелись основные психологические направления: психология труда, дифференциальная психология личности, социальная психология и криминальная психология.

В течение ряда лет эти направления работы шли у меня либо параллельно, либо перемежаясь. И только недавно я теоретически осмыслил их внутреннюю связь, сформулировав ее в 1977 г. в тезисах доклада на V съезде общества психологов*.

Моя работа по психологии труда началась с участия в общелaborаторных исследованиях работы и утомляемости клопферистов (работников связи) и врачей поликлиник.

Дифференциальная психология проявлялась в любой из наших тем. Лаборатория Чучмарева работала в составе медицинского клинического института. Это ее обязывало к тому, что я в дальнейшем, вспоминая мысли этого периода и опираясь на высказывания В. М. Бехтерева и С. Л. Рубинштейна, назвал личностным подходом**.

В качестве типичного примера здесь стоит привести изучение личности и эмоциональных реакций «факира То-Рама», гастролировавшего в 1920-х годах в Харькове.

* См.: Платонов К. К. Социально-психологические аспекты психологии личности и труда // Социально-психологические проблемы в условиях развитого социалистического общества: Тезисы докладов V Всесоюзного съезда психологов СССР. М., 1977.

** См.: Платонов К. К. Личностный подход как принцип психологии // Теоретические и методологические проблемы психологии. М., 1969.

То-Рама демонстрировал в цирке проколы иглами собственных щек и мышц рук. Публика валила на это редкое зрелище толпой, и сборы у этого артиста были полными. Я не знаю, почему он попал в наши руки, но записи пульса, дыхания и кожногальванического рефлекса показали, что он приводил себя в состояние самогипноза, но все же проколы были для него болезненными.

Главная тема лаборатории была связана с исследованием хулиганов. В этот период усиление хулиганства приняло характер социальной опасности. Этому способствовал НЭП, пришедший на смену голодным и трудным годам военного коммунизма и гражданской войны. Правительством было понято государственное значение этого явления и созданы комиссии по изучению хулиганства и выявлению его причин. Туда входили юристы, психологи и врачи. Испытуемыми были осужденные по статье 176 УК УССР. В помещении харьковского ДОПР⁶³ нами была развернута экспериментально-психологическая лаборатория.

Захар Иванович приехал в ДОПР один раз в начале работы. Варвара Александровна была раза три-четыре, помогая наладить аппаратуру. Сеня Каминский (впоследствии доктор биологических наук, много занимавшийся обезьянами в Сухуми и в Колтушах) вообще не был ни разу, хотя и помогал, сидя в институте, на Сумской, 4, обрабатывать материал. Я же увлекся этой темой и почти каждый день, отбирая по приговорам и прямо в камерах нужных мне лиц, беседовал с ними и проводил их изучение.

Наиболее интересной была методика исследования ассоциаций, с записью слова-раздражителя и слова-ответа при помощи двух «гионидальных капсул», то есть двух изогнутых пневматических датчиков, надевавшихся ниже подбородка на подъязычную кость (os hyoideum, откуда и название прибора).

Самым примечательным здесь было то, что эта методика позволяла записать не только сказанную, но и первую мелькнувшую в мыслях, но не высказанную, задержанную ассоциацию. Много лет спустя я описал этот способ исследования в своей «Занимательной психологии»*.

Изучал я у осужденных и слюнные рефлекссы с помощью специальной капсулы, надевавшейся изнутри, в полости рта, на щеку.

Сама идея Чучмарева понять причины хулиганства через слюнные рефлексy уже тогда казалась мне нелепой и неверной. Не убедила меня в правильности этой попытки и публикация результатов моих исследований двенадцати хулиганов с фотографиями не только капсулы, но даже меня (под видом «испытуемого») в журнале «Под знаменем марксизма» (1928, № 4, с. 158—160), хотя несколько позже мое мнение слегка поколебал интерес, проявленный к описанной работе А. А. Ухтомским. Вместе с тем эта методика натолкнула меня в дальнейшем на изучение типологических особенностей телефонисток путем анализа двигательных рефлексов с помощью экрана Сорохтина. Тогда же, в ДОПР, я честно «выполнял задания», но по своей инициативе больше пытался понять личности осужденных и мотивы их преступлений, беседа с ними.

Не могу не описать здесь случай наибольшего уважения и благоговейного отношения к науке, с каким я столкнулся за всю мою жизнь. Я даже помню фамилию осужденного — Савиных, — который от раза к разу становился все угрюмее и старался уклониться от моих вызовов, хотя вначале был вполне контактен и даже интересовался исследованием. Через неделю он должен был быть досрочно освобожден.

Я специально привел его в нашу лабораторию при тюремной больнице к вечеру, так как это время больше располагает к откровенности; угостил хорошей папиросой, ведь обращение «закуривай» — начало установления доверительного контакта.

— Что с вами, Савиных? — спросил я. — Может, я чем обидел? Или чем могу помочь?

Он помолчал, потом, изменившись в лице, как-то вяло, но забористо выругался и, безнадежно махнув рукой и вздохнув, сказал:

— Эх, была не была! Вы ведь фраер и продадите меня. А я вот пятую ночь плохо сплю, все думаю — сказать? Не сказать? Я ведь науку порчу! Вы меня за хулигана держите и вот в эту графу записы-

* См.: Платонов К. К. Занимательная психология. М.: Молодая гвардия, 1962. С. 172—173.

ваете, а я и не хулиган вовсе. Я — классный банщик с 15 лет и всегда работал без осечки, ни разу не садился. А тут надо было кореша выручить, ну я и отвел легавых на себя, испортив одной дамочке прическу да разбив зеркало в привокзальном ресторане! А для души я никогда не хулиганил!

Он знал, что я для сравнения изучаю разные группы осужденных, в том числе и «поездных воров» — «банщиков». Я отдал должное его глубокому уважению к науке и «не продал» его доверия. Через неделю он был свободен. Но из графы хулиганов я его исключил.

По собственной инициативе и с молчаливого согласия Захара Ивановича я выбирал, сначала по приговорам, а потом и по беседам, кроме хулиганов, осужденных и по другим статьям. Сознаюсь, особо меня интересовали не случайные «поскользнувшиеся» преступники, а «воры в законе» — профессионалы — с их оригинальным складом мышления и даже этикой. Вскоре эти урки у нас, не имея социальной основы, перевелись. Но я успел увидеть этот «продукт капитализма», усиленный гражданской войной, во всем его своеобразии!

Я завоевал их доверие тем, что не вызывал испытуемых в лабораторию через охрану, а сам приходил за ними в камеры, добившись права вводить их под расписку в книге коридорного. А вечерние «беседы за жизнь» и вовсе завоевали любовь к «доктору», каковым я, будучи еще студентом, числился по легенде. Кстати, это была единственная легенда, так как о целях исследования я откровенно со всеми говорил и очень прислушивался к их мнению.

— Будьте уверены, доктор, — говорили они мне, — вот вам слово урки, что вас не тронет ни один харьковский ракло! За самодеятельную шпану не ручаемся, а кто в законе — ни боже мой!

Тем более обидный день провел я, когда примерно через год, прыгивая утром на ходу из переполненного трамвая (тогда это фактически возможно было делать, так как площадки были открытыми, а трамваи ходили медленно), я встретился с широко открытыми глазами явно узнавшего меня «ширмача» (профессионала-карманника), а через минуту понял, что он выгащил у меня авторучку.

Это была паркеровская авторучка — одна из первых в Харькове и зависть всех студентов. Более того, это был свадебный подарок

поэта и журналиста Васи Ключикова, как знак его дружбы со мной и безнадежной любви к той, кто стала моей женой. Мне было очень жаль ручку! Еще больше было жаль потерянной веры в людей! Весь день и в лаборатории, и со студентами я, обсуждая событие, повторял: «Кому же верить, если нельзя верить даже уркам?»

Поздно вечером мы с женой возвращались в набитом трамвае домой. И тут все стало на свои места. На углу нашего Михайловского переулка, под единственным фонарем, жена всплеснула руками:

— Смотри, ручка-то у тебя в кармане! Видно, он узнал тебя, выследил и вернул! Как же ты мог его подозревать?

Так была восстановлена моя вера в человечество.

ПСИХОТЕХНИКА СНИЗУ

Отрабатывая со мной методику записи ассоциаций, Варвара Александровна в качестве примера одного из слов-раздражителей сказала:

— Психотехника⁶⁴.

— Скучно,— последовал мой ответ, с наименьшим латентным периодом из зарегистрированных в этой серии.

Я тогда не знал, что попал в точку. Не предвидел также, что вскоре мне предстоит хорошо разобраться в практике и теории психотехники. Сначала — «снизу», работая лаборантом психотехнической лаборатории, а потом и «сверху», общаясь с ведущими ее теоретиками. Впоследствии мне пришлось даже закрыть две заводские психотехнические лаборатории. Но об этом речь пойдет ниже.

Тогда же, весной 1928 г., я, уйдя хлопнув дверью из лаборатории Чучмарева, начал с 1 апреля работать старшим лаборантом психотехнической лаборатории Южных железных дорог. Руководил ею Михаил Павлович Ряснянский. Это был типичный (но все же один из лучших) представитель низовой периферической психотехнической службы. Сеть ее была в то время очень широкой, но не такой уж многоликой. А я, не имея опыта в этой области, всех ее работников мерил тогда «на аршин» моих новых сослуживцев.

Потом, работая на заводах и встречаясь с самыми различными психотехниками, я распределил их для себя по следующим критериям:

- по общепризнанному официальному рангу;
- по творческому отношению к работе;
- по вере в пользу своей деятельности;
- по степени подражания другим.

Совокупность этих параметров давала следующие типы психотехников:

- «водители» — всегда высокого ранга, создающие теории, за которые готовы идти на костер;
- «созидатели» — более низкого ранга, но в остальном близкие к предыдущим;
- «деляги» — любых рангов, для кого психотехника была бизнесом, державшие нос по ветру;
- «спутники» — покорно следующие за представителями первых трех видов;
- «безмолвствующие» — лица, которым, где бы ни работать, лишь бы ничего не делать.

Соответственно мною была составлена следующая «таблица определения типов психотехников».

Переписывая сейчас эту таблицу с пожелтевшего от времени листка, я понял, что это классификация не столько психотехников 1920-х годов, сколько вообще любых научных работников во все времена!

Михаил Павлович Ряснянский справедливо занимал в те годы одно из ведущих мест среди украинских психотехников. Хороший врач-психиатр, а еще лучший делец, он до 1917 г. держал небольшую, но весьма прибыльную частную психиатрическую больницу. Это была скорее «физиотерапевтическая санатория» (тогда это слово употребляли почему-то в женском роде), комфортабельная и дорогая, но далекая от науки. Психотехника для него была тоже бизнесом. Внешним обликом — бородкой, пенсне и формой лица — несколько напоминая А. П. Чехова, он ничего общего не имел с ним по складу

личности. Не было в нем ни чеховской талантливости и интеллектуальности, ни мягкости «русского интеллигента». Его духовному миру был скорее свойствен какой-то деловитый американизм. По моей таблице он, скорее всего, мог бы быть отнесен к виду «деляг»!

Критерии	Примерные проценты				
	Вожди	Созидатели	Деляги	Спутники	Безмолвствующие
Ранг	45	0	15	0	0
Творчество	40	50	5	0	0
Вера	10	40	0	10	0
Бизнес	5	0	60	10	30
Подражание	0	10	20	80	70
	100	100	100	100	100

Дистанция между нами была громадная, определяемая не только разницей в зарплате (я получал 60 рублей, а он — 300!), но и жизненным опытом. Однако психологию, и особенно экспериментальную психологию, я уже знал тогда лучше него. Поэтому мы оба ценили наши вечерние воскресные беседы в «докторском кабинете» его просторной квартиры в центре Харькова, на левой стороне Пушкинской улицы, чуть выше театрального спуска.

Михаил Павлович, как и большинство других психотехников, хорошо знал вариационную статистику и широко использовал метод сумм и моментов при получении средних, сигм и коэффициентов корреляции⁶⁵. Научил он этому и меня. Но в отличие от других, и в частности от второго ведущего украинского психотехника Михаила Юрьевича Сыркина — математика по образованию, у которого я широко и часто консультировался, Михаил Павлович, будучи врачом-психиатром, пытался разобраться в личности испытуемого, подчеркивая значение сбора анамнеза⁶⁶.

Поэтому он большую роль отводил индивидуальным, аппаратным исследованиям.

Но самыми «любимыми тестами» Ряснянского, по его собственным словам, были тесты на интеллект, типа американской «Альфы». В минуты откровенности он говорил:

— Помните, Котя, умный человек везде хорош, везде на месте: и машинистом, и его помощником, и диспетчером, и начальником станции, и стрелочником! Оценивайте людей и выносите заключения по «Альфе»! Не ошибетесь! А все остальное — это только «гарнир».

Потом я понял, что так думали и очень многие другие психотехники-практики. Но они об этом открыто не говорили. По крайней мере, со мной.

Трудно было мне тогда что-либо возразить Михаилу Павловичу. Тем более что моя собственная будущая жена дала при исследовании «Альфой» отличные результаты и в дальнейшем действительно оказалась «на месте»! Кстати, в качестве курьеза могу рассказать, что, приехав в августе 1928 г. на паровозе в командировку в Феодосию и вырвавшись оттуда на пару дней в Коктебель, на всегда торжественно отмечавшиеся именины Максимилиана Александровича Волошина, я захватил с собой пачку тестов на интеллект, обуреваемый идеей исследовать всех обитателей и гостей «Дома поэта»! Среди них были писатели — Илья Эренбург и В. Рождественский, искусствовед профессор А. А. Сидоров, в будущем академик, художники Петров-Водкин и Остроумова-Лебедева... Вот в чьих интеллектах я сомневался! Спасибо Максу и «Психуру» (комбинация «психолога» и «амура» — прозвище Николая Ивановича Жинкина, поныне здравствующего профессора-психолога), вовремя отговорившим меня от этой затеи!

М. П. Ряснянский справедливо придавал также очень большое значение профессиографии⁶⁷. В то время новинкой была книга «Паровозный машинист» под редакцией А. И. Колодной, «изучавшаяся» всеми сотрудниками лаборатории. Думаю, что лучше всех качество профессиограмм⁶⁸ того времени (да и только ли того?) оценила моя Галя (тогда уже Платонова):

— Не знаю, какой он будет машинист, — сказала она, прочтя профессиограмму из этой книги, — но муж он будет идеальный!

Потеря того, что в медицине называется «дифференциальным диагнозом»⁶⁹, в психотехнике сказалась и в «идеальных профессио-

граммах», и в подходе М. П. Ряснянского. Моей основной задачей во время работы в психотехнической лаборатории ЮЖД и было составление дифференциальных профессиограмм основных «желдор-работников». Для этого я и ездил на всем, на чем можно было передвигаться по рельсам, по всей Украине, имея персональный билет и пропуск, чем несказанно гордился. Но, кроме того, «у меня» был вагон-лаборатория и в нем «собственное» купе. Я написал «у меня», так как если бы не мои настояния, то, пожалуй, этот вагон не был бы оборудован, да в нем вначале никто, кроме меня, и не ездил! Я же в августе 1928 г. проводил в нем наборы и распределение по профилям в желдорФЗУ в Полтаве, Кременчуге, Курске и Лозовой.

Пытаясь использовать опыт изучения особенностей условных рефлексов у хулиганов, я предложил провести комплексное исследование телефонисток Управления ЮЖД, что Михаил Павлович поддержал. Результаты этой работы вошли в дальнейшем в мой доклад на I съезде по изучению поведения человека. Но это уже другая тема.

ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

В одну из моих поездок в Ленинград (это было в декабре 1927 г.) я познакомился с профессором Леонидом Леонидовичем Васильевым и договорился о возможности, при наличии у меня диплома биолога, приехать к нему в аспирантуру Института мозга. Таким образом, у меня возникла идея закончить биологическое отделение покинутого мною в 1925 г. ИНО. Я рассчитал, что у меня оставались незначительными всего четыре-пять дисциплин за последний курс. Подал заявление в Наркомпрос, я действительно получил разрешение за личной подписью наркома Затонского досдать экстерном нужные экзамены. Но, когда я пришел с этой резолюцией к ректору ИНО, он, полистав какие-то затребованные им документы и не скрывая иронии, сказал:

— Раз нарком приказал — прикажу и я. Но ведь биофака теперь у нас уже нет, а есть агробиологическое отделение. Вы согласны сдавать по его программе?

— Конечно! — бодро ответил я.

— Ну, что ж, вам придется сдать (он быстро подсчитал) всего 35 экзаменов и зачетов. Остальные вам зачтутся по биофаку и мединституту, — заключил он, передавая вызванной им секретарше бумагу наркома со своей резолюцией.

Идти на попятный самолюбие не позволило. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж! И я принялся их сдавать.

Более тяжелого периода, чем 1928—1929 учебный год, у меня, кажется, в жизни не было. Одновременно я учился в группе служащих на четвертом курсе мединститута, где занятия шли все время в клиниках и пропускать их было трудно, готовил и сдавал экзамены за агробиологическое отделение и работал в психотехнической лаборатории Южных железных дорог, с массой разъездов и обработки материалов этих командировок. Сверх всего этого, я только что женился, а отец жены мне тогда же, задумавшись, сказал: «Знаете, Котя, жениться на Гале — это все равно что на Камчатку поехать. Что ни день — то и неожиданность! Как это вы решились?»

Несмотря на всю нашу неприхотливость и почти спартанский образ жизни, нас с ней снедала страсть к путешествиям — «охота к перемене мест», а на это, естественно, нужны были деньги, и поэтому мы оба не отказывались от любого дополнительного заработка (лекции, статьи, рефераты, переводы), что тоже требовало времени! А его никак не хватало, да и вся страна в эти годы «гнала время вперед», так что я часто сожалел, что в сутках только 24 часа.

Но так или иначе к весне 1929 г. мною была защищена в ИНО дипломная работа на зоопсихологическую тему «К вопросу об образовании гипноидных состояний у животных», получившая положительный отзыв того же профессора Васильева, и мне были зачтены следующие дисциплины (согласно справке со штампом Харьковского института народного образования): 1. Физика, I и II ч.; 2. Неорганическая химия; 3. Органическая химия; 4. Аналитическая химия; 5. Зоология позвоночных; 6. Зоология беспозвоночных; 7. Анатомия человека; 8. Гистология; 9. Физиология животных; 10. Анатомия растений; 11. Ботаника, I ч. (морфология и систематика); 12. Ботаника, низшие споровые; 13. Ботаника, высшие споровые; 14. Физиология

растений; 15. Физическая география; 16. Кристаллография; 17. Минералогия; 18. Немецкий язык; 19. Геология (историческая и динамическая); 20. Палеонтология; 21. Растениеводство; 22. Скотоводство; 23. Методика природоведения; 24. История революционных движений; 25. Украинский язык; 26. Организация профшкол; 27. Технология сельского хозяйства; 28. Почвоведение; 29. Фитопатология; 30. Генетика; 31. Организация с/х производства; 32. Экология; 33. Физическая химия; 34. Политэкономия; 35. Введение в современную технику; 36. Высшая математика; 37. Педология; 38. Система народного просвещения; 39. Экономгеография; 40. Педагогика; 41. Петрография; 42. Метеорология; 43. Диалектический материализм; 44. Рефлексология; 45. Педагогическая практика; 46. Государство и право.

Согласно этой же справке, мною были выполнены практические работы: 1) по физике, 2) качественному анализу, 3) зоологии позвоночных, 4) зоологии беспозвоночных, 5) анатомии человека, 6) гистологии, 7) физиологии животных, 8) анатомии растений, 9) ботанике, I ч. (систематике и морфологии), 10) ботанике, II ч. (низшим споровым), 11) ботанике, III ч. (высшим споровым), 12) физиологии растений, 13) кристаллографии, 14) минералогии, 15) геологии, 16) палеонтологии, 17) большой практикum по ботанике, 18) большой практикum по почвоведению, 19) большой практикum по растениеводству, 20) большой практикum по фитопатологии, 21) большой практикum по организации с/х производства.

Справка подписана ректором и деканом факультета.

Я привожу этот список, так как он наглядно демонстрирует широту программы ИНО того времени.

Хочу рассказать о двадцать пятом экзамене, по которому я, наверное, побил международный рекорд по числу провалов. Это был украинский язык. И это была пора «украинизации». До революции 1917 г. харьковская медицинская и университетская интеллигенция понятия не имела об украинском языке. Теперь же лишь немногим профессорам, например, Воробьеву, разрешалось читать лекции по-русски. Большинство же читало на смеси русского с украинским. Профессор Желиховский читал физику, сбиваясь на польский. Некоторые, забыв украинское слово, прервав лекцию, листали словарь и с ра-

достью пользовались подсказками студентов. Профессор Яворский, принимая экзамены по «ревдвижениям», оценивал не столько содержание ответов, сколько чистоту украинской речи. Доцент Безуглая, ведя занятия по гистологии⁷⁰, нашла блестящий выход: пробормотав что-то невнятное по-украински, она тут же постоянным рефреном говорила: «Чи поняли? Чи ні?» И повторяла все подробно по-русски.

У меня с детства была редкая неспособность к языкам! Но все же украинский устный я каким-то образом сдал с первого раза. А письменный... Он оказался для меня непреодолимым камнем преткновения. Сдавали его так: экзаменующиеся, входя, получали чистый лист, подписанный экзаменатором, ставили на него свою фамилию и садились в первом, нижнем ряду аудитории. Экзаменатор писал на доске десять русских фраз, после чего углублялся в книгу или газету. Студенты должны были, соблюдая правила грамматики и фразеологии, перевести эти предложения на украинский. На следующий день объявлялось, кому зачтено.

Провалившиеся могли сдавать повторно, и им, конечно, предлагались для перевода новые десять фраз!

Я проваливался двенадцать раз, и признаюсь, наверно, так бы и уехал в Ленинград с незаконченным из-за украинского языка ИНО, если бы жена не привела на экзамен, сверху в аудиторию, нашего знакомого — украинизатора УПНИ, ловко передававшего мне вниз шпаргалки.

Так я все же стал дипломированным биологом и мог ехать в Ленинград.

Почему меня привлекал Институт мозга?

Путь Бехтерева от гистологии мозга через психиатрию к экспериментальной и социальной психологии мне вначале казался вполне логичным. Поэтому я освоил под руководством доцента кафедры гистологии Харьковского мединститута, имевшего лабораторию и в ИРЕ, Вильгельма Вильгельмовича Шмельцера гистологическую технику. Забавный он был старик-немец, говорил на ломаном русском языке и был большой мастер своей тонкой науки. Уверенный в своей непогрешимости и влюбленный в свое ремесло, он ничьих авторитетов не признавал. Когда к нему в лабораторию однажды

пришли члены какой-то высокой инспектирующей комиссии в кепках, он, осуждающе взглянув на них поверх очков, предложил им немедленно снять их: «Фо-первых, я старше вас и без головной убор! Фо-фторых — здесь тепло. Воши заведутся!»

Я помогал Шмельцеру делать гистологические препараты. Но сама гистология меня привлекала несравнимо меньше физиологии нервной системы. А именно ею и занимался в Ленинградском Институте мозга Л. Л. Васильев, ученик крупнейших нейрофизиологов Н. Е. Введенского и А. А. Ухтомского.

Н. Е. Введенского уже не было в живых, и Леонид Леонидович и считался, и фактически был его непосредственным последователем и преемником в разработке теории парабиоза. В Институте мозга он возглавлял лабораторию нейрофизиологии и одновременно работал на кафедре физиологии университета у А. А. Ухтомского.

Летом 1928 г. Л. Л. Васильев был командирован в Германию и Францию, работал в научных институтах Берлина и Парижа, поддерживал с ними письменные связи, и, может быть, поэтому весь его облик носил отпечаток неуловимой элегантности и европеизма. Вообще и характер, и наружность Леонида Леонидовича как нельзя более соответствовали технике экспериментов на изолированном нерве. Конечно, не человека, а лягушки, нервно-мышечный препарат которой являлся основным объектом для исследования парабиоза⁷¹. Высокий, стройный, с острыми углами плеч и локтей, с правильными чертами респираторного по классификации Сиго лица⁷² и тонкими длинными пальцами удивительно красивых рук — рук физиолога-экспериментатора, он приходил в институт в модном костюме с галстуком бабочкой. У него было обостренное внимание также к внешности окружающих, и, если кто-либо из дам, работавших в лаборатории, появлялся в новой блузке, он не упускал случая отметить это остроумным комплиментом.

Говорил Леонид Леонидович певучим голосом, заметно грассируя и слегка растягивая слова. До сих пор я слышу этот из сотен выделяющийся голос, говорящий мне:

— Конста-а-нтин Конста-а-нтинович! Вы любите экстрава-а-гантные темы. Подумайте о соотношении парабиоза клетки с образом

Ива-ана Петровича — «долблением в одну клетку», вызывающим, по Павлову, сонное торможение!

К сожалению, мне не пришлось заниматься в аспирантуре у Васильева. Хотя я и имел диплом биолога, но нельзя было оформиться аспирантом, будучи одновременно студентом-медиком пятого курса. А я перевелся из Харьковского мединститута в Ленинградский государственный институт медицинских знаний — ГИМЗ. Это был несколько реорганизованный Психоневрологический институт, созданный в свое время Бехтеревым, так что имя, традиции и идеи Владимира Михайловича не оставляли меня все эти годы.

Я начал работать в Институте мозга внештатным сотрудником, в основном по вечерам и воскресеньям. Эти восемь месяцев моих занятий в лаборатории Леонида Леонидовича, закрепив заложенное В. Я. Данилевским и внося поправки в упрощенческие взгляды Э. И. Чучмарева, на всю жизнь научили меня «физиологически мыслить».

Вечерние часы в этой лаборатории Васильева были обычно посвящены экспериментам, проводимым каждым сотрудником за своим столом. Но иногда это были коллективные беседы и обсуждение результатов опытов или каких-либо книг или теоретических проблем.

Ясно помню такой анекдотический случай. Мы работали как-то вечером вдвоем с В. Е. Деловым. Он сидел за установкой с нервно-мышечным препаратом и в наушниках, в поисках на слух, определял парабриоз нерва. Я же только готовил свою установку.

«Что это, Константин Константинович?! Послушайте, ради бога, не галлюцинация же у меня!» — вдруг сказал Делов, протягивая мне с каким-то странным выражением лица наушники. Приложив к ним ухо, я отчетливо услышал, как нервно-мышечный препарат пел: «О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить!» Это вопила обезглавленная лягушка, со снятой кожей и обнаженным спинным мозгом, распятая в зажимах! Ей подлинно нужна была свобода и искупление позора!

Оказалось, что в Мариинке давали «Князя Игоря» и установка сработала как детекторный приемник. Но в первый момент мы оба оторопели!

Для физиологов ныне покойный Л. Л. Васильев навсегда останется мировым специалистом по парабиозу. Но широкой общественности он больше известен как энтузиаст материалистической разработки проблем телепатии и как автор популярных книг, изданных Госполитиздатом: «Таинственные явления человеческой психики» (М., 1959 и 1963) и «Внушение на расстоянии (заметки физиолога)» (1962), а также строго научного труда «Экспериментальные исследования мысленного внушения» (Л., 1962).

Этой малоизученной проблемой Васильев заинтересовался еще в молодости, придя в 1921 г. в Институт мозга, где ею с увлечением занимался Бехтерев. Всю жизнь Леонид Леонидович пытался изгнать из этой области элементы нездорового ажиотажа, мистицизма и просто регистрировать и исследовать факты и по возможности ставить эксперименты. Но, кроме разочарований и чувства бессилия перед невежеством и неверием в науку, перед опасениями «как бы чего не вышло», эта работа ему ничего не принесла. Немало горьких минут, ускоривших его смерть, доставил ему не слишком грамотный ленинградский журналист В. Е. Львов. Уровень знания последним этой проблемы ясен, например, из того, что он объединил в одно лицо меня и моего отца*, не дав себе труда разобраться в наших отчествах и в различных областях наших исследований.

В июне 1963 г. на II съезде психологов в Ленинграде стоял доклад Абрама Семеновича Новомейского о кожно-оптическом чувстве (так называемый «феномен Розы Кулешовой», который он изучал). Я, зная материал А. С. Новомейского и даже приняв некоторое участие в его работах, привел его на квартиру к Леониду Леонидовичу, а последнего на его доклад. Оба несправедливо критикуемых ученых нашли общий язык и переписывались до кончины Васильева.

Роза же Кулешова, к сожалению, в дальнейшем сама дискредитировала свои редкие способности, пытаясь в поисках славы их преувеличить мошенничеством. Говоря словами известного английского анекдота, «обыкновенная говорящая лошадь еще требовала, чтобы

* Львов В. Е. Фабриканты чудес. Л., 1974. С. 266.

ее считали в прошлом фрейлиной королевы Виктории!». Я уже высказывал свое мнение о необходимости глубже изучать этот и другие подобные ему феномены на страницах журнала «Наука и жизнь», а также в моей книге «Занимательная психология». В этом я был солидарен с Л. Л. Васильевым.

Но мало кому известно третье русло работы Леонида Леонидовича. В конце 1920-х годов А. А. Ухтомский организовал в Ленинградском университете подготовку психотехников и поручил Васильеву читать им лекции, что тот и делал с присущей ему тщательностью и изяществом, тесно связывая психотехнику с физиологией труда.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СЪЕЗД

Так ученые неофициально прозвали I Всесоюзный съезд по изучению поведения человека, состоявшийся 27 января — 1 февраля 1930 г. Второго съезда по этой проблеме никогда больше не было, так как на этом первом «поведенчество», а также рефлексология и реактология были разгромлены. Идеи того времени отражены в выпущенной к съезду книге «Психоневрологические науки в СССР. Материалы I Всесоюзного съезда по изучению поведения человека» (М.; Л., 1930).

К этому съезду я подготовил доклад «Рефлексологическая типология в применении к изучению профессий» — результат моего исследования, проведенного в лаборатории Южных железных дорог. Я показал его Владимиру Николаевичу Мясичеву, который одобрил его, посоветовав добавить несколько таблиц, и договорился с председателем секции психотехники И. Н. Шпильрейном и с председателем оргкомитета съезда А. Б. Залкиндом о включении его в повестку психотехнической секции.

При нашем разговоре четвером я больше всего боялся своей фамилии и возможного вопроса Залкинда, которому был представлен как сотрудник Института мозга: «Не родственник ли вы харьковского профессора Платонова?»

Я знал, что Залкинд не признавал концепций отца и не раз едко и неуважительно отзывался о нем, и не сомневался, что мой утвердительный ответ вызовет отказ принять доклад. Но последовал другой вопрос:

— Ваше образование?

Я сказал:

— Окончил в прошлом году биофак. Работа выполнена в психотехнической лаборатории.

Видимо, мой ответ его вполне удовлетворил, и больше вопросов не последовало.

Так как после съезда дополнительных публикаций не было, то и мой доклад никогда и нигде в печати не появился. Скажу несколько слов о его содержании, чтобы наглядно показать, что именно в тот период нравилось В. Н. Мясищеву, как врачу и биологу, и не нравилось И. Н. Шпильрейну и С. Г. Геллерштейну, как представителям гуманитарных наук, каковыми были тогда большинство психотехников.

Моей задачей было объединить попытку определения типов нервной системы при помощи «экрана Сорохтина» с результатами исследования интеллекта, памяти, внимания, множественности и быстроты действий и самообладания с помощью ряда тестов. Я получил высокий коэффициент корреляции между типами и психотехническими профилями и оценками старших телефонисток (от $+ 0,61 \pm 0,064$ до $+ 0,81 \pm 0,036$).

Все это было мной доложено (я уже имел тогда опыт докладывать читая, а не читать докладывая!) и вызвало отчетливое столкновение вышеупомянутых мнений.

С. Г. Геллерштейн (это было мое первое личное знакомство с ним, хотя по работам я его знал уже лет пять) очень резко выступил против объединения различных подходов и методов. Он сказал: «В докладе “смешались в кучу кони, люди”, а из хорошо и квалифицированно примененных и обработанных тестов торчат рефлексологические уши!» Это я тогда дословно записал.

В. Н. Мясищев, заявив, что он «категорически не согласен» с оценкой доклада Соломоном Григорьевичем, напротив, похвалил

за «комплексный подход, вне которого личность изучать нельзя», но выразил сожаление, что я не учитывал «жизненных показателей», сославшись на патобиографический метод Б. Н. Бирмана.

И. Н. Шпильрейн в кратком выступлении солидаризировался с Соломоном Григорьевичем. Были еще выступления, но их я уже не помню.

Патобиографический метод Б. Н. Бирмана в дальнейшем стал называться оценкой типа нервной системы по жизненным показателям. Я уже тогда хорошо его знал, считая, что он лучше, чем лабораторные методы отвечает пониманию типа нервной системы И. П. Павловым, сформулированному им в словах: «Темперамент есть самая общая характеристика каждого отдельного человека, самая основная характеристика его нервной системы, а эта последняя кладет ту или другую печать на всю деятельность каждого индивидуума»*.

Слова Мясищева заставили меня глубже задуматься над ролью жизненных показателей в понимании темперамента, но это нашло свою реализацию позже — в моей работе с летчиками** и в многочисленных беседах с Б. М. Тепловым.

Тогда же, хотя я был, конечно, готов к ответу на возражения, но так разозлился на этот образ торчащих ушей, что ответил очень кратко, не сдерживая раздражения:

— Для использования совета Владимира Николаевича в психотехнической лаборатории не было условий. Но я обещаю в дальнейшем учесть этот совет, что же касается возражений Соломона Григорьевича и Исаака Навтуловича, то закон апперцепции определил направленность их психотехнических ушей, которые восприняли только то, что касалось тестирования.

Не потому ли С. Г. Геллерштейн вскоре первым начал говорить о направленности личности, что его задело мое выражение о направленности ушей и он его запомнил?

* Павлов И. П. Полн. собр. соч. Т. III, ч. 2. 1951. С. 85.

** См.: Платонов К. К. Психология летного труда. М.: Воениздат, 1960. С. 228–229.

Так я уразумел, что психотехника — это не только скучно, это еще и синоним тестирования, и впервые вступил в официальный конфликт с ней и с ее адептами.

Заседания секции психотехники, в повестку которой был включен мой доклад, проводились в психиатрической клинике Военно-медицинской академии, той самой, где у Бехтерева работал и в 1912 г. защитил докторскую диссертацию мой отец. Выступая там в 1930 г. и опять «встретившись с Бехтеревым», я не подозревал, что здесь же в 1950-х годах буду не раз читать лекции по авиационной психологии, приезжая из Москвы, а 20 апреля 1953 г. буду в этих же стенах защищать свою докторскую диссертацию!

Открытие же съезда проходило в Таврическом дворце, и там же я тогда впервые услышал доклад А. В. Луначарского. Помню, что выступление его было блестящим и остроумным по форме, однако не только я, но и другие присутствовавшие так и не поняли — «за» поведенчество он в психологии и педагогике или «против»!

Чтобы не возвращаться позже к встречам с Анатолием Васильевичем, скажу здесь же, что довольно скоро после «поведенческого» съезда, когда я приехал в Москву в 1931 г. как представитель Восточно-Сибирского крайздрава, мне довелось беседовать с ним более получаса. Отвечая на его быстрые вопросы об эндемической урвской болезни, распространенной в Забайкалье, и показывая привезенные фотографии больных, я восхитился живостью и глубиной его ума и четкостью формулировки его заключения разговора:

«Постановление “малого Совнаркома” о льготах району урвской эндемии⁷³ и о создании там научного института я, как председатель ученого совета ЦИК, вам завизирую. Больше ничем помочь не могу. По этой записке получите у товарища А. М. Мандрыки нужное количество тестов для изучения здоровых и больных урвской болезнью школьников. О результатах исследования прошу вас сообщить лично мне».

Но обработку материалов этого исследования я закончил, лишь когда Анатолия Васильевича уже не было в Москве.

Вспоминая после этой личной встречи с А. В. Луначарским его доклад на «поведенческом» съезде, я понял, что в то время даже

человек его ума и эрудиции не мог еще четко оценить состояние только входящей в русло марксизма психологической науки!

ВСТРЕЧИ С ПОЛЯРНИКАМИ

Меня давно интересовала психология полярных путешественников, этих одержимых своей идеей людей, добровольно шедших навстречу неисчислимым трудностям и даже смертельной опасности!

Как-то в Ленинграде в 1930 г. я попал в Академию наук на доклад полярного исследователя, начальника зимовки на острове Врангеля Г. А. Ушакова, только что вернувшегося оттуда. В своем отчете он рассказывал не только о научной работе его группы, не только о нуждах полярников, но и об ответственности перед местным населением — чукчами, для которых он представлял советскую власть! Своеобразная психология и особенности труда зимовщиков донельзя заинтересовали меня, и я засыпал его вопросами. Потребовалась вторая встреча, так как область, которой я касался, увлекла его самого.

Г. А. Ушаков познакомил меня с Владимиром Юльевичем Визе — старейшим русским полярником, который первым пересек и поперек и вдоль Новую Землю, участником в 1912 г. легендарной экспедиции Г. Я. Седова. Когда я с ним познакомился, Владимиру Юльевичу было уже под 50. Сухой, даже «поджарый», с тренированной фигурой спортсмена и хрипловатым, ветрами продутым голосом, он поразил меня добротой, которой весь как бы светился, и проникновенной заинтересованностью в собеседнике.

При моих посещениях его квартиры где-то на Васильевском острове Владимир Юльевич поил меня «полярным чаем» и снабжал ценнейшими советами. Жена его, нацменка⁷⁴ (эскимоска или чукча), лечилась в клинике В. П. Осипова от алкоголизма, которому, увы, под ее влиянием не был чужд и он.

В. Ю. Визе научил меня делить людей на тех, с кем можно и с кем нельзя ехать на зимовку (потом, на фронте это звучало — с кем можно идти в разведку).

Визе же познакомил меня с Отто Юльевичем Шмидтом, и они предложили нам с женой, работавшей тогда тоже в Институте мозга по физической химии, поехать на зимовку на Землю Франца-Иосифа. Их не остановило, а, напротив, заинтересовало, что у жены тогда уже предполагалась беременность, особенно когда я сказал, что еще на студенческой практике на Украине принял сам 51 младенца (из них 50 мальчиков и всего одну, последнюю, девочку; так что я гадал: были это «брак производства» или пошла вторая полусотня).

Я, конечно, моментально согласился, считая, что этим возьму реванш за сорвавшуюся экспедицию на «Персее». Жена тоже не возражала, легкомысленно думая, что «проблема беременности» еще не очень ясна и что вообще это не должно мешать женщине в ее личных планах и в работе!

Но директор Института по изучению Севера Рудольф Лазаревич Самойлович — круглолицый, коренастый мужчина лет сорока, более администратор, по моему первому впечатлению, чем полярник, — принявший и выслушавший меня, до смерти испугался перспективы «беременной зимовщицы» и категорически отклонил наши кандидатуры.

Тогда милейший Владимир Юльевич, желая помочь мне войти в число полярников, познакомил меня с академиком Виттенбургом, планировавшим в это время экспедицию на остров Ляхова, один из группы Новосибирских островов. Ехать туда надо было последним пароходом до устья Лены. Затем 300 километров на восток к становищу Казачье на оленях и, только когда станет лед, на собаках на остров, где зимовье было сооружено из костей мамонта и оболочки упавшего на остров аэростата, а горючее и продукты были уже брошены ранее. Зимовать там должны были всего три человека, а снять их рассчитывали через год шхуной. Одно время возможной кандидатурой радиста в числе этих трех человек намечался еще мало тогда известный Э. Т. Кренкель.

Академика Виттенбурга обрадовало, что я в одном лице совмещаю и биолога, и врача, и психолога, и он приветствовал мое включение в эту группу, вызывая меня даже несколько раз к себе для обсуждения подробностей.

К этому времени мною было прочитано все возможное о полярниках и их зимовках, а жена моя, думая, что я уеду на Север, оформилась в Геолком и отправилась работать химиком в Забайкалье. Но в дальнейшем президент Академии наук В. Л. Комаров твердо воспротивился организации этой Виттенбургской экспедиции, опасаясь за ее исход.

Окончив к этому времени медицинский институт, я вообще-то имел теперь все возможности поступить в аспирантуру Института мозга, о которой так мечтал ранее, но общее собрание студентов нашего курса единогласно постановило никому из нас не оставаться в Ленинграде, а ехать на периферию. Я тоже голосовал за это.

И вот, желая во что бы то ни стало лично изучать труд полярников, я по совету опять-таки В. Ю. Визе поехал в Москву, чтобы устроиться работать врачом на какое-либо северное рыболовческое судно. Я даже договорился в Наркомате морского флота о должности врача на одном из кораблей, имевшем все шансы «вмерзнуть на зимовку в Карском море».

Но здесь сыграло роль отсутствие близкого контакта с профкомом ГИМЗ. Что говорить, занятый Институтом мозга, «поведенческим» съездом, подготовкой к полярным рейсам, я уделял мало внимания студенческой общественной работе! И я не получил от профкома нужной рекомендации.

Тогда я попросил гимзовскую комиссию направить меня на Дальний Восток, рассчитывая изучать там психологию труда золотоискателей. Ведь и Джек Лондон, и Брет Гарт были в числе моих любимых писателей. Да и любимая жена отправилась в Восточную Сибирь!.. И я был послан в распоряжение Хабаровского крайздрава.

Итак, Север и Ледовитый океан опять «не приняли» меня! В который раз! Но общение с Г. А. Ушаковым, В. Ю. Визе и О. Ю. Шмидтом не прошло для меня даром. Хотя они не были профессиональными психологами, беседы с ними о полярных экспедициях, о зимовках и зимовщиках много добавили к моему пониманию психики человека.

Тогда термин «экстремальная психология» как название раздела психологической науки не был еще в ходу. Я же и применил его

первым в 1965 г., выступая оппонентом на защите кандидатской диссертации «Психическая деятельность человека в условиях воздействия некоторых экстремальных факторов полета» моего тезки Константина Константиновича Иоселиани (ныне уже доктора наук).

Но уже и в 1930 г. я почувствовал и эмоциональную общность, и различия в психологии зимовщиков и объектов моего изучения в ДОПР — в длительных условиях добровольной или принудительной изоляции от общества.

Не случайно я позже обратился к таежным золотоискателям, а затем и к летчикам.

Так, получив медицинский диплом и даже личную круглую печать «Врач Платонов Константин Константинович», давшую мне право выписывать рецепты на лекарства, я все же не перестал быть психологом, изучающим личность в ее деятельности.

V. СОВЕТСКИЕ ПСИХОТЕХНИКИ

Работа в лаборатории ЮЖД позволила мне узнать психотехнику в ее практике, то есть «снизу». В дальнейшем это знакомство с ней я дополнил рядом наблюдений за деятельностью почти всех лабораторий многих крупных заводов, на которых мне пришлось бывать (ленинградские Путиловский и Трубный; Харьковский и Сталинградский тракторные; в Москве «ЗИС» и электроламповый; магнитогорский; свердловский «Уралтяжмаш»), и железнодорожных лабораторий.

Но я хорошо смог разобраться в психотехнике и «сверху», в личном контакте с «психотехническими вождями», как их тогда называли.

АНАТОЛИЙ МОИСЕЕВИЧ МАНДРЫКА

Если с И. Н. Шпильрейном и С. Г. Геллерштейном я впервые столкнулся в атмосфере дискуссий «поведенческого» съезда, то психотехнические тесты свели меня в 1931 г. ранее, чем с другими, с Анатолием Моисеевичем Мандрыкой в Москве, куда я приехал в командировку из Сибири. Этому предшествовали следующие события в моей жизни: попав как молодой, свежеспеченный врач в распоряжение дальневосточного крайздрава, я был направлен в Сретенск на должность... санитарного врача. Тут учли мое желание изучать труд золотодобытчиков, да и быть поближе к районному центру, Нерчинскому заводу, где уже работала моя жена.

В Сретенске я действительно получил возможность разобраться в труде как рабочих «Шахтоминских приисков», так и «диких» старателей. Помню, как меня поразило сходство психологии последних с известной мне уже психологией уголовного мира. Та же алчность в борьбе за наживу и вера в фарт — везенье. Та же отгороженность от чужих и одновременно острое недоверие к своим, но тут же и чуждая уркам близость и любовь к природе! Но главное — это чувство ожидания удачи, вера в «повезет». Ведь только что убедился

человек, что в лотке одна порода, нет, он уже думает — в следующем, сейчас будет счастье! Это чувство ожидания удачи, веры в нее позже уложилось для меня как автомобилиста в слова песни:

Быть может, до счастья совсем недалеко.

Быть может, один поворот...

Вскоре в Сретенске меня нашел директор Научно-исследовательской станции по изучению уровской болезни врач Н. И. Дамперов, заместителем которого и начальником Нерчинскозаводского отделения станции я и стал. Здесь не место подробно рассказывать об этом периоде моей жизни, давшем основание Ивану Антоновичу Ефремову на подаренном мне экземпляре его романа «Лезвие бритвы» написать: *«Профессору Константину Константиновичу Платонову — духовному двойнику доктора Гирина — с искренним уважением от автора. Москва, 25 ноября 1964 г. И. Ефремов»*.

В общем, как я уже упомянул, в апреле 1931 г. я в унтах «выше некуда», полушубке и шапке с длинными ушами (в Забайкалье еще стояли морозы!) приехал в Москву с такой бумагой:

РСФСР
Восточно-Сибирский
краевой исполнительный комитет
краевой отдел здравоохранения
27 марта 1931 г.
№ С-7
г. Иркутск
2-й Дом Советов

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Представитель Восточно-Сибирского крайздрава и заместитель заведующего Уровской станцией Платонов Константин Константинович командировается в г. Москву в Наркомздрав и другие правительственные учреждения для разрешения организационных вопросов по изучению уровской болезни и борьбе с ней.

Зав. крайздравом *Барabanчик*
Секретарь *Космачена*

С этим документом и с обросшим его рядом других я должен был перед тем, как быть принятым в Кремле председателем «малого Совнаркома» В. М. Молотовым, обойти всех наркомов и получить их визы на проекте постановления об организации Уровского института.

Вот тогда-то я и был, как уже рассказывал, у А. В. Луначарского, направившего меня к А. М. Мандрыке.

Профессор Анатолий Моисеевич Мандрыка заведовал тогда лабораторией профконсультации и профподбора при Институте труда. Сам институт помещался на Погодинке, а лаборатория Мандрыки — в церковном здании Замоскворечья, на набережной против Кремля. Москвичам фамилия Мандрыка знакома через его брата — известного военного врача, имя которого носит Центральный военный госпиталь на Арбате, в Серебряном переулке.

Анатолий же Моисеевич был по специальности математик, окончил математический факультет какого-то зарубежного университета, кажется, Брюссельского. Очевидно, поэтому в его лаборатории особое внимание обращалось на тщательность и глубину статистической обработки. По выражению его сотрудницы С. Я. Рубинштейн, в руках А. М. Мандрыки и его заместительницы Н. П. Замятиной «математика и статистика пели, как может петь скрипка», то есть обнаруживали интересные психологические закономерности. Но все же статистические данные Анатолий Моисеевич рассматривал как вспомогательные. Он считал, что нужно больше опираться на «клинический метод» анализа, то есть на психологический анализ рассуждений испытуемых.

«Прежде чем считать, — говаривал он, — надо знать, что ты считаешь! Математика в психологии необходима, но она имеет лишь служебное значение, не являясь самоцелью».

Он ссылался на опубликованную в 90-х годах XIX в. статью какого-то крупного математика, в которой было изложено «математическое доказательство бытия божия».

Вот еще один из его шуточных примеров: в поезде проводится статистическое обследование питания пассажиров. В купе едут двое, один додает второй бутерброд, а у другого — голодного — слюнки текут. Статистик потом докладывает:

«На каждого пассажира в среднем приходится по одному бутерброду. Вычисленные среднее арифметическое, медиана и сигма подтвердили, что надежность вывода равна единице!»

Одной из тем лаборатории Мандрыки была разработка способов дифференциального подбора учащихся в ФЗУ, где их следовало распределять по специальностям разного типа и разной трудности. Тема, не потерявшая актуальности и поныне.

Анатолий Моисеевич был высокообразованным человеком, знал несколько иностранных языков (французский в совершенстве), любил музыку. Он был крупный, очень высокий, интересный мужчина с красивым, выразительным лицом. Во время выступлений и на лекциях держался на кафедре великолепно, с какой-то врожденной грацией; записками никогда не пользовался. Несмотря на привычку к европейской культуре, он был чрезвычайно скромен в быту и одежде, что, впрочем, было характерно для интеллигенции того времени. Люди больше думали о духовном содержании жизни, чем о ее внешнем оформлении!

Анатолий Моисеевич был в науке человеком увлекающимся, любил конкретные факты, а общие, абстрактные разговоры старался отодвинуть подальше. Поэтому сотрудники лаборатории, любившие своего заведующего и втайне ревновавшие его за время, уделенное кому-либо в ущерб другому, знали, как его «завести». Стоило лишь, поймав его в коридоре, сказать: «Смотрите, какие у меня в эксперименте непонятные факты выявились», — как он мгновенно загорался, зазывал этого сотрудника к себе в кабинет (малюсенькую каморку без всякого парадного оформления) и мог часами обсуждать полученные данные, требуя их строжайшей проверки и перепроверки.

В те годы материалистическая психология еще не очень-то устоялась, страсти кипели, ученые спорили и конфликтовали. Не чужд этому был и Мандрыка, хотя спор он всегда вел в присущей ему корректной манере, не повышая голоса, не ставя вопросов-ловушек. Однажды после горячей теоретической дискуссии с С. Г. Геллерштейном, не сумев убедить друг друга, они надумали решить вопрос сопоставлением физической силы, кто кому положит руку на стол. Оба были очень спортивными, сильными людьми. Мандрыка был

ростом выше Геллерштейна. Но и Геллерштейн был сплошные мускулы! Как они ни пыжились, и этим методом спор не разрешился.

Когда я попал к Анатолию Моисеевичу в его келью, он снабдил меня бланками своих типовых тестов, подчеркнуто настаивая на необходимости строго придерживаться также данных им мне инструкций — и касающихся обработки, и адресованных «испытуемым». Он считал, что иначе получатся погрешности при статистической обработке. И эти тесты, и инструкции, и многое другое, что мне удалось получить в Москве для будущего Уровского института, я отправил в Забайкалье посылкой. Так, председатель Центральной военно-врачебной комиссии⁷⁵ (ЦВВК) Н. А. Молодцов, с которым я тогда впервые встретился, а в дальнейшем вместе работал, снабдил нас из фондов военного ведомства отличным экспедиционным оборудованием: палатками, спальными мешками, раскладными походными кроватями, седлами и сумками. Все это сослужило нам потом немалую службу в Забайкалье!

Узнав, что я получил тесты от А. М. Мандрыки, Молодцов направил меня к «главе психотехников РККА» Ковтуновой, чтобы я и у нее получил тесты, принятые в армии, и провел обследование призывников в Сретенске. До него дошли сведения о якобы умственной неполноценности больных уровской болезнью, и он просил это проверить.

Когда я познакомился и с Ковтуновой — энергичной мужеподобной женщиной в военной гимнастерке, я быстро убедился, что она даже «больше психотехник, чем сам Мандрыка». Как говорили французы, *plus royalist que le roi-meme!* Она еще более настойчиво, чем он, просто «командным языком» требовала точно придерживатьсяся даваемых инструкций, «не фантазируя и не самовольничая!».

Когда я вернулся в Забайкалье на Ямкун, где находилась Уровская станция, то меня ждала вариационно-статистическая обработка результатов ранее проведенного медицинского массового обследования 40 тысяч жителей сел, пораженных деформирующим полиартритом и зобом. Эта обработка была организована по разработанной мною методике, рассчитанной на помощников, которыми были специально для этого мобилизованные... продавцы, они же кассиры,

магазинов сельпо. Удостоверившись в знании ими четырех действий арифметики, внимательности и добросовестности, я доверял им больше, чем студентам и молодым врачам, приезжавшим на краткий срок из Иркутского мединститута и мало заинтересованным в статистике.

Вся работа велась на больших листах миллиметровки и предусматривала перекрестную проверку*. При этой обработке мне очень пригодились наставления М. П. Ряснянского, М. Ю. Сыркина и А. М. Мандрыки.

Многим приходилось мне заниматься в Забайкалье — вскрытием павших животных для выяснения, нет ли и у них заболевания суставов, аналогичного урвской болезни людей, установлением мест колодцев, поиском следов казачьих сел в долине реки Урова, выселенных из-за массовых заболеваний в 60-х годах XIX в., явным и тайным выкапыванием трупов больных для изучения их костей, как пролежавших более 70 лет в земле, часто прекрасно сохранившихся в вечной мерзлоте, так и похороненных иногда пару дней назад!

Все это, позволяя решить ряд чисто медицинских вопросов, к психологии, понятно, никакого отношения не имело.

Но я нашел время выполнить совет А. В. Луначарского и задание Н. А. Молодцова и протестировать несколько сотен учащихся школ и призывников. Я провел это обследование точно по инструкциям Мандрыки и Ковтуновой. Вариационно-статистическая обработка полученного материала убедительно показала, что никакой связи между качеством решения тестов и степенью поражения суставов нет. Не было этой связи и со степенью выраженности зоба. Более того, не оказалось ее и при применении метода четырех полей (по формуле Юла), при котором были отброшены средние группы и остались только хорошо и плохо решавшие тесты, безусловно здоровые

* Ее результаты см. в книге: Дамперов Н. И. Урвская болезнь. М., 1935, — обеспечившей моему шефу степень доктора наук — одну из первых, присужденных ВИЭМ. См. также статью: Платонов К. К. Опыт вариационно-статистического анализа связи поражения суставов и щитовидной железы при урвской болезни // Проблемы эндокринологии. 1940. № 2.

и безусловно больные. Но вот при сопоставлении хорошего, среднего и плохого качества решения тестов с довольно высоким, средним и низким культурным уровнем семей обследованных корреляция получилась достаточно убедительной. Тогда я проделал еще такой опыт: в одной из школ после проведения «испытания» по точно прочитанной инструкции Мандрыки я попросил каждого школьника подробно написать, как он понял инструкцию, по которой только что работал. Эти их «сочинения» я оценил по пятибалльной шкале:

- 5 — понял и изложил совершенно точно;
- 4 — понял и изложил достаточно точно;
- 3 — понял и изложил неопределенно;
- 2 — понял и изложил неточно;
- 1 — понял и изложил совсем ошибочно.

Решения тестов с этими пятью баллами коррелировались очень хорошо.

Так я понял недопустимость тестирования по стандартной инструкции и необходимость такого применения тестов, при котором главным условием является уверенность, что инструкция правильно понята.

Не успев закончить это исследование, я был срочно послан особо уполномоченным крайздора на борьбу с сыпным тифом и черной оспой, вспыхнувшими на приисках в районах станций Борзя и Хадабулак. Но Н. А. Молодцова я все же оповестил о полученных результатах и об «отработанном» мной походном оборудовании.

С Анатолием Моисеевичем я еще не раз встречался в 1930-х годах, приезжая в Москву с заводов, где тогда работал.

Помню его горячую дискуссию с Н. Д. Левитовым о роли математики в психологии. Я останавлиюсь на ней, говоря о Левитове. Скажу здесь только, что Мандрыка считал основным недостатком психотехнической практики «математический инфантилизм», а Левитов — «математический фетишизм».

После разгрома психотехники в 1936 г. А. М. Мандрыка при всех его огромных знаниях как-то не сумел найти им хорошего применения.

Умер Анатолий Моисеевич в 1943 г. в Свердловске от истощения, фактически от голода, нигде не работая и потеряв продовольственные карточки.

СЕРАФИМ МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕЙСКИЙ

Работал я в Забайкалье под руководством Николая Ивановича Дамперова — великолепного хирурга и диагноста, воспитанника Казанского университета и казанских подпольных революционных кружков и личного друга академика А. Д. Сперанского, ученика И. П. Павлова. Н. И. Дамперов был несколько лет уже поглощен проблемой уровской болезни и заразил своей увлеченностью и меня. Мы засучив рукава подготавливали условия для создания Научно-исследовательского уровского института. Но чем больше мы хотели сделать, тем отчетливее убеждались, что профессура Иркутского мединститута при поддержке Восточно-Сибирского крайздрава, считая район уровской эндемии своей вотчиной, нам работать так, как мы считали нужным, не даст! Особенно отличался своим антагонизмом к нам профессор Василий Герасимович Шипачев (1884—1957). Коренной сибиряк, заведующий кафедрой хирургии Иркутского мединститута, он строил самые нелепые гипотезы об этиологии уровского заболевания (вплоть до влияния кала тараканов), а в нас видел нежелательных пришельцев, вторгшихся в сферу его действий. Под его влиянием крайздрав засылал к нам инспектирующие комиссии одну за другой, в результате чего Уровский институт, несмотря на наличие постановления правительства, так и не был создан.

Отработав положенный срок в районе эндемии, а также на эпидемиях тифа и черной оспы, я решил отправиться к семье в Ленинград (жена с сыном, плохо переносившим климат Забайкалья, вернулась в нашу «забронированную» комнату на Мойке, 62, кв. 4). Но по дороге, в Москве, я познакомился с директором ЦИТ А. К. Гастевым и главой советских гигиенистов труда С. И. Каплуном.

Они-то, при поддержке Соломона Григорьевича Геллерштейна, и «сосватали» меня поехать на год в Нижний Новгород начальником психотехнической лаборатории только что пущенного автозавода.

Хочу сказать несколько слов об этих двух ярких личностях, хорошо запомнившихся мне.

Когда я нашел уже прославленный тогда Институт труда на пересечении Петровки с Рахмановским переулком (столь знакомое всем москвичам «такое угловое» здание с колоннами по закругленному фасаду) и вошел в кабинет его директора, меня встретил Алексей Капитонович Гастев — худощавый человек лет 50 в какой-то рабочей блузе и с волосами, торчащими ежиком над очень высоким лбом. Он резко и быстро передвигался между стоявшими почему-то там же какими-то станками и верстаками, на одном из которых грелась в кастрюльке с электроспиралью вода. Он сразу же усадил меня пить с ним чай на углу его простого стола и, сознаюсь, прямо-таки «окутал» меня чарами своего энтузиазма и увлеченности. Он был фанатиком индустриальности и идей нового социалистического труда. Мыслям Тейлора об организации труда он придавал свежее революционное содержание, и неясно, где была грань между областью его научных работ и его поэтическим восприятием вдохновенного коллективного труда! Дело в том, что бывший слесарь, профессиональный революционер и научный работник Алексей Капитонович был одновременно и известнейшим поэтом, автором сборника «Поэзия рабочего удара»*, популярным представителем новой «пролетарской литературы». Для меня рубленные стихи Гастева прочно и навсегда связались с урбанистической, суховатой графикой Добужинского. В то время, в 1920—1930-х годах, гастевские строфы постоянно скандировались на вечерах молодежи и использовались в постановках «синеблузников». По рукам ходили не только его стихи, но и пародия на них:

Заводов в небе солнц толпа,
Железо молот бил —
Была собака у попа,

* См.: Гастев А. К. Поэзия рабочего удара. М., 1971.

И поп ее любил.
Гудком, гудку, гудка, гудок.
Железный лязг зубил —
Поставил мясо в холодок,
Пес слопал. Поп — убил!
Вагранок солнцевый опал
И мартенова печь —
Тот поп собаку закопал.
На камне дал иссесть:
Заводов в небе солнц толпа... и т. д.

И это не входило в знаменитый тогда сборник пародий «Парнас дыбом». Это было подлинное народное творчество!

Мы пили чай, Гастев убежденно говорил о переделке человека, а на стене над нами висел большой плакат:

УСТАНАВЛИВАЙ ПРОЧНО НОГИ
УСТАНАВЛИВАЙ ЛОВКО РУКИ
ЧЕТКО И ЭКОНОМНО СТРОЙ ТРУДОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ
СЛОЖИТСЯ ХОРОШАЯ УСТАНОВКА В ГОЛОВЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Потом я вскоре прочел эти строчки и в его книге «Трудовые установки» (М., 1924), а также вновь много, много лет спустя, когда она и другие его труды были переизданы*.

Но ни из разговора, ни из работ А. К. Гастева я так и не понял, только ли в приведенном буквальном смысле понимал он слово «установка» или еще и в смысле директивы, предписания.

Тогда же я познакомился и с Сергеем Ильичом Каплуном, старейшим советским гигиенистом, последователем Эрисмана. Хотя по возрасту он совсем не был старейшим, так как, когда я с ним впервые встретился в 1932 г., ему было всего 35 лет. Но биография его была весьма насыщенной: член ВКП(б) с 1917 г., он после окончания Московского университета основал в нем первую кафедру гигиены труда, а в 1925 г. явился инициатором создания Института охраны труда в нашей стране, директором которого и работал с 1927 г.

* Гастев А. К. Как надо работать. М., 1972. С. 156.

При активном содействии С. И. Каплуна группой врачей в 1918 г. был выработан первый советский Кодекс законов о труде (КЗоТ РСФСР). Кстати, одним из участников этой работы был мой будущий начальник — главный санитарный врач ГУТАП Яков Александрович Рыско. Рыско была его подпольная большевистская партийная кличка, настоящая же фамилия его была Рискин. Но после 1917 г. он так и остался Рыско. Он был ворчливый, требовательный, но забавный старик. Позже он подружился со всей моей семьей и неоднократно рассказывал нам, что на революционный путь его толкнуло в юности то, что он оказался ровесником Парижской Коммуны: он родился 18 марта 1871 г. Помню, как в один из первых его приездов в Горький на автозавод мы осматривали кузницу, оценивая ее санитарное состояние. И я, обращаясь к начальнику цеха, неосторожно воскликнул: «Что у вас тут за бардак?!» На это последовал взрыв Рыско: «Молодой человек! Понимать надо, что вы говорите!» — наливаясь кровью и топорща усы и брови, начал он. Я в ужасе решил, что совершил святотатство, обозвав социалистическое предприятие бардаком, и что моя научная карьера отныне закончена... Но Рыско продолжал грохотать: «Да если б у них был такой порядок, как в бардаке, так нам придраться было бы не к чему! Кому же знать, как не мне, — я как раз и был врачом, отвечавшим за московские бардаки до революции!»

Умер Яков Александрович в Москве в 1944 г. от дистрофии, усиленной одинокой старостью.

Но вернусь к С. И. Каплуну. Собираясь на Нижегородский автозавод, я от него первого услышал мысли о психогигиене. При этом он ссылался на своего идейного учителя Федора Федоровича Эрисмана как основоположника этой новой науки.

Помню, он процитировал мне слова Эрисмана, впоследствии прочитанные мною: «Гигиена была бы весьма односторонняя, если бы она в своих стремлениях сохранить нормальное состояние человеческого организма не обращала бы большого внимания на умственную и нравственную сторону человеческой жизни»*.

* Эрисман Ф. Ф. Профессиональная гигиена умственного труда. СПб., 1877. С. 9.

С Сергеем Ильичом Каплуном я впоследствии встречался не раз как с директором Института охраны труда знаменитой «Погодинки, 4» — старинного дома, на месте сада которого теперь построено новое здание Академии педагогических наук СССР. Именно под его влиянием и прислушиваясь к его советам я придал исследовательскому сектору отдела техники безопасности и промсанитарии Горьковского автозавода профиль, теперь называемый эргономическим⁷⁶.

В начале Отечественной войны Сергей Ильич Каплун добровольно ушел на фронт и в 1943 г. был убит. Последний раз я «встретился» с ним в июле 1947 г., когда, попав в Полтаву, на центральной площади неожиданно прочитал его имя на одной из могил воинов, погибших при освобождении города.

Приехав 20 мая 1932 г. на Нижегородский автозавод, я нашел там психотехническую лабораторию, расположенную в двух комнатах в здании заводоуправления, рядом с отделом кадров. Весь ее штат состоял из двух человек — местного психотехника Петра Яковлевича Епишина, врио начальника, и лаборантки. Переименовав эту лабораторию в психофизиологическую, я на базе ее начал организовывать исследовательский сектор отдела техники безопасности и промышленной санитарии.

Директор завода Дьяконов и главврач завода Зарей Агаронович Бунатьян были очень заинтересованы в исследовательской работе по охране труда. Они одобрили предложенный мною основной лозунг круга работ: «Технику Форда на службу социалистического труда!» Напомню, что Горьковский (тогда Нижегородский) автозавод был одним из первенцев индустриализации и все оборудование было закуплено в Америке. В качестве курьеза можно сказать, что Форд предлагал даже озеленить территорию нового завода многолетними липами, привезенными из Детройта, конечно, за золотую валюту. Но с этой задачей мы несколько позже неплохо справились сами.

К слову, когда через год нами в цехах были внедрены две тысячи стульев, изготовленных из отходов производства, американские инженеры, а их в первые годы много работало на заводе, говорили: «Если бы старик Форд увидел женщин, сидя работающих на его малых прессах, его бы стошнило!»

Нам тогда немало пришлось подумать и потрудиться и над станком по обработке блока цилиндров, о котором инженеры Форда отзывались: «Это негритянский станок! У нас белые на нем не работают!»

Центральный медпункт Заря Агароновича Бунатьяна помещался, когда я приехал, в небольшом деревянном бараке между механосборочным и рессорным цехами. А средств на его строительство все не отпускали. Вот мы и решили силами сотрудников ОТБ и ПС в порядке воскресников начать строить корпус, низ которого будет отведен под кабинеты врачей центрального медпункта, а верх — под исследовательский сектор.

Когда через два года я его сдавал, уезжая по решению Главного управления автотракторной промышленности (ГУТАП) на Челябинский тракторный завод для организации там подобного же подразделения, я оставлял в исследовательском секторе автозавода лаборатории психологии труда, физиологии труда, гигиены труда и рабочего питания, кабинеты производственной физкультуры и медицинской статистики, а также музей охраны труда, через профилированные занятия в котором обязательно проходили все поступающие на завод кадры. Оставлял я также 60 человек сотрудников и полмиллиона из годового бюджета на оплату работников нижегородских и московских институтов, выполнявших договорные темы*.

Но все сказанное — это вступление к рассказу о консультанте сектора профессоре Нижегородского педагогического института Серафиме Михайловиче Василейском. Без его высококвалифицированной и вдумчивой помощи сектор вряд ли смог бы так быстро развернуть свою работу.

Биография С. М. Василейского, родившегося в 1888 г., типична для многих русских интеллигентов конца XIX в. Сын деревенского священника Самарской губернии, он, конечно, учился в Самарской семинарии. Но тут отцовская линия кончается, и Серафим Михайлович выбирает собственный путь: Петербург, Бехтеревский Психоневрологический институт, где его увлекают естественные науки,

* Подробнее о работе сектора см. мою статью в журнале «Советская психотехника» (1934, № 3).

психология и философия. Одновременно занятия в университете, на историко-филологическом факультете. Серафим Михайлович всегда отличался необыкновенной усидчивостью и трудолюбием. Поэтому все это было ему под силу! А ведь надо было еще уроками зарабатывать себе на жизнь! В 1913 г. он был послан Психоневрологическим институтом в Лейпциг для усовершенствования в психологии и философии, где слушал лекции Вильгельма Вундта и Фолькельта. Ну а дальше трудовой путь преподавателя сначала средних, а потом и высших учебных заведений. Когда я с ним познакомился в 1932 г., он заведовал кафедрой психологии и педологии Нижегородского пединститута, куда приехал из Минска. Он с удовольствием и интересом согласился проконсультировать нашу заводскую тематику, и в дальнейшем я никогда не пожалел, что обратился к нему. Серафим Михайлович всегда с величайшей ответственностью относился к делу, за которое брался, никогда не давал непродуманных советов. Истинная скромность, лишенная всякой нездоровой амбиции, неторопливость в принятии решений, надежность без всякого лишнего блеска — вот что характеризовало его работу. У него был какой-то благостный, задумчивый чисто русский облик, возможно унаследованный им от его «духовных» предков. Я не помню, чтобы он когда-нибудь смеялся. Впрочем, общался я с ним в очень тяжелый для него период: он всего два года как овдовел, оставшись в 42 года с двумя детьми на руках — восьмилетней дочкой и новорожденным сыном. Но и эти грустные заботы не мешали ему с пунктуальной точностью приезжать на завод и с готовностью помогать нам во всех наших нуждах. Незаметно, спокойно он вошел в коллектив нашего сектора и скоро стал его незаменимым членом. Я всегда с благодарностью вспоминаю о нашем сотрудничестве. Уже уехав в 1934 г. из Горького, я узнал, что Серафим Михайлович вторично женился и что семейная жизнь его наладилась, и искренне порадовался за него.

В 1930-х годах Василейского причисляли к числу ведущих психотехников. Но его большой опыт и знания помогли ему найти правильный дальнейший путь: он продолжал читать психологию сначала в Кировском пединституте, а после войны — опять в горьковских пединституте и университете.

Его пример лучше многого другого доказывает, что отечественная психология труда успешно развивалась в 1920-х годах в русле психотехники, помогая последней преодолеть свои действительные ошибки.

ИСААК НАВТУЛОВИЧ ШПИЛЬРЕЙН

Договорные темы, проводившиеся на обоих заводах, где я работал (Нижегородском автозаводе и Челябинском тракторном), определили мою тесную связь в 1932—1935 г. как с ведущими, так и с рядовыми психотехниками Москвы, Горького и Свердловска. Об одном из них я и хочу здесь рассказать.

Основателем, официальным главой и теоретиком советской психотехники был Исаак Навтулович Шпильрейн. С 1920-х по 1935 г. он был у нас общепризнанным «психотехником № 1». Биография его весьма примечательна. Родился Исаак Навтулович 7 июня 1891 г. в Ростове-на-Дону, с гимназических времен посещал подпольные революционные кружки и мальчишкой-пятиклассником убежал от ареста за границу. Среднее образование он завершил в Париже, а потом в 1914 г. окончил философский факультет Лейпцигского университета, работая и участь у основоположника экспериментальной психологии Вильгельма Вундта и у основателя дифференциальной психологии и психотехники Вильяма Штерна, у которых он и специализировался как психолог. Кстати, сестра Шпильрейна Сабина была ассистентом у Зигмунда Фрейда.

С начала Первой Мировой войны Шпильрейн жил в Германии на положении интернированного военнопленного. В 1918 г., во время революции в Германии, он с семьей (с женой и двухлетней дочерью) сумел вырваться на родину, привезя с собой также вдову и сына убитого Карла Либкнехта. Добрались они в Россию через Турцию — на Кавказ, где в это время была сложнейшая политическая обстановка (борьба с дашнаками, меньшевиками и т. п.). В Тбилиси Исааку Навтуловичу удалось связаться с С. М. Кировым. Сергея Мироновича Шпильрейн заинтересовал с неожиданной стороны —

как полиглот. Дело в том, что Исаак Навтулович всю свою жизнь увлеченно изучал языки. Он хорошо владел не только двенадцатью иностранными языками, но даже тонкостями различных местных диалектов. Киров, зная, что наркоминделу Чичерину, заваленному руководящей работой по созданию молодой советской дипломатической службы, приходится из-за отсутствия квалифицированных помощников самому, как полиглоту, заниматься разрешением языковых проблем, направил к нему Шпильрейна.

Таким образом, в 1921 г. Исаак Навтулович, уже член ВКП(б), ведает отделом переводов в Наркомате иностранных дел в Москве, у Чичерина. Но, конечно, расстаться со своей основной специальностью — психологией — он не может. Одновременно он работает с профессором Г. И. Челпановым в Московском университете, а с 1922 г. переходит в ЦИТ к А. К. Гастеву. В том же 1922 г. Шпильрейн организует первую в стране лабораторию промышленной психотехники при Наркомтруде (НКТ) и тогда же — секцию психотехники в Институте экспериментальной психологии.

Об этом периоде мне много рассказывал мой сотрудник по Институту авиационной медицины и близкий друг Юлий Иосифович Шпигель (по прозвищу Юленшпигель), работавший тогда у Шпильрейна. В лаборатории НКТ было всего две штатные должности научных сотрудников, занимаемые Исааком Навтуловичем и С. Г. Геллерштейном, и должность секретаря-лаборанта. Остальные психотехники были внештатными и работали бесплатно. Сам «Юленшпигель» служил ночным сторожем в ювелирном магазине, выполняя днем научную работу. Так как и внештатным сотрудникам надо было на что-то жить, в лаборатории существовал неофициальный фонд, так называемый «котел», куда поступала вся оплата договорных тем и куда Шпильрейн и Геллерштейн вносили заметную часть своей зарплаты. Из этого «котла» и подкармливались время от времени особо нуждающиеся.

Когда лаборатория перешла в организованный С. И. Каплуном Институт охраны труда, ей было дано пять штатных мест. Шпигель рассказывал, что Исаак Навтулович провел своеобразное тестовое испытание с вопросами типа викторины (оно было названо коллоквиу-

мом) среди всех внештатных сотрудников, конечно мечтавших попасть в штат. Лучшие результаты дали Ю. И. Шпигель и А. А. Нейфах. Когда штат был несколько увеличен, на следующем коллоквиуме прошел В. М. Коган. Так жизнь постепенно входила в норму. Но, например, Д. И. Рейтынбарг, выполнивший в Институте охраны труда до сих пор не превзойденную работу по психологии плаката по технике безопасности, работал там много лет внештатным сотрудником, выполняя договорные темы, так как не имел высшего образования.

И. Н. Шпильрейном были основаны в 1927 г. Всероссийское психотехническое общество, а в следующем 1928-м — журнал «Психофизиология труда и психотехника», главным редактором которого он и был. Журнал этот в 1932 г. был переименован в «Советскую психотехнику» и просуществовал до 1934 г.

В этот период наши ученые постоянно общались с представителями западной науки. В 1927 г. И. Н. Шпильрейн возглавил советскую делегацию (он сам, С. Г. Геллершейн, А. М. Мандрыка, М. Ю. Сыркин, С. М. Василейский и др.) на IV Международной конференции по психотехнике и профессиональной ориентации в Париже. Доклад М. Ю. Сыркина об этой поездке я слышал в Харькове. В последующие годы наши психологи и психотехники неизменно участвовали в целом ряде международных форумов: в 1928 г. на V конференции в Ютрехте, в 1929 — на IX Международном съезде по психологии в Нью-Гавене (США), а в 1930 г. — на VI конференции психотехников в Барселоне, где было принято решение провести следующую VII Международную психотехническую конференцию в Москве. Она и прошла 8—13 сентября 1931 г. под председательством Шпильрейна.

В порядке подготовки к этой конференции в Ленинграде с 20 по 25 мая 1931 г. под руководством Исаака Навтуловича проходил Всероссийский психотехнический съезд. Я в это время был в Москве, приехав в командировку из Восточной Сибири, и, конечно, мог бы принять в нем участие, но не захотел, помня о столкновении с психотехниками на «поведенческом» съезде! Впрочем, это не помешало ни моей встрече с А. М. Мандрыкой, ни последующей с Исааком Навтуловичем.

В это время в Советском Союзе насчитывалось свыше 500 человек, считавших себя психотехниками, а в 1936 г., к моменту его самоликвидации, в Психотехническом обществе состояло около 900 членов! К слову сказать, при всем моем тесном контакте с психотехниками я не был членом этого общества, входя долгие годы в состав обществ невропатологов и психиатров, а также физиологов.

Когда я с 1932 по 1935 г. часто приезжал в Москву с горьковского и челябинского заводов, следы VII Международной психотехнической конференции, проведенной в сентябре 1931 г. в Москве, еще не изгладилась в умах советских психологов. Запомнилась шуточная пародия, адресованная одними Исааку Навтуловичу, другими — Александру Романовичу Лурии в связи с их поведением на конференции, метко характеризующая обоих:

На всех языках совершенно
Мог изъясняться и писал.
Легко ошибки признавал
И каялся непринужденно!

Дело в том, что в начале своего научного пути Исаак Навтулович полностью находился под влиянием своего учителя Вильяма Штерна. Он считал теорию личности Штерна «наиболее удачной попыткой дать философскую теорию связи между психическим и физическим, могущую лечь в основу психотехнической работы». Он писал об этом, в частности, в статье «Персонализм Вильяма Штерна и его отношение к психотехнике»^{*}.

Но уже в начале 1930-х годов он кардинально пересматривает свое отношение к взглядам Штерна и, признавая ошибочным понимание их в прошлом, указывает на прямую связь персонализма Штерна с религией при недооценке социальных факторов. Он пишет об этом в статье «О повороте в психотехнике»^{**}.

Об изменении своих взглядов И. Н. Шпильрейн никогда не находил зазорным заявить во всеуслышанье во время публичного

^{*} Вестник социалистической академии. 1923. С. 201.

^{**} Психотехника и психофизиология труда. М., 1931. Вып. 4—6.

выступления. Как сейчас вижу его на кафедре: невысокого роста, плотно сбитый, гладко выбритый (усов и бороды он не носил), лысеющий со лба, редковатые волосы зачесаны назад, пенсне... Грим артиста Горбачева в роли Якушева в фильме «Операция “Трест”», если бы убрать бородку, мне несколько напоминает наружность Исаака Навтуловича.

Несмотря на все свои обширные и разносторонние знания, а также руководящую роль в советской психотехнике, И. Н. Шпильрейн был очень прост в обращении, что и неудивительно для истинного интеллигента. Уже из этих моих записок можно видеть, как легко доступны были тогда крупные ученые!

О Шпильрейне-полиглоте ходили анекдоты. На конференции в Барселоне испанцы поразились его знанию различных диалектов этой страны. На съездах он свободно изъяснялся как с западными, так и с восточными немцами, хотя сами они не всегда понимали друг друга! Ныне здравствующий психолог Владимир Михайлович Коган, его многолетний ближайший сотрудник и друг, рассказывал мне, как как-то вечером Шпильрейн затащил его на какое-то выступление цыганского хора, «чтобы проверить, не забыл ли он их язык». И, когда он обратился к ним на их наречии, те в восторге увлекли его куда-то с собой, забыв о его спутнике!

Тот же В. М. Коган свидетельствует, как, проводя отпуск вместе в Звенигороде, в Доме отдыха, помещавшемся в монастыре, Шпильрейн, обычно просыпавшийся очень рано, будил соседей по палате тем, что учил вслух японские слова и фразы. Там же, в Звенигороде, он встретил супружескую пару из Мордовии и тоже нашел с ними общий язык.

Творческое, беспокойное искание путей и способов психологического усовершенствования трудовой деятельности людей и неумный талант организатора — вот что поражало при любой встрече с Исааком Навтуловичем. Одних, как меня, это привлекало, но других настораживало. Ведь чем больше человек делает, тем больше у него шансов и ошибаться, а если он ведет за собой людей, то еще неизвестно, куда он их приведет! В такую формулу можно было бы уложить эту встречающую его настороженность.

Из его идей я прежде всего безоговорочно «взял на вооружение» активно пропагандируемое им различие полезной автоматизации навыков и всегда вредного автоматизма. Пока я работал на заводах, вносить ясность и уточнение в широко распространенную в те годы формулу «доводить навыки до автоматизма» было не так уж трудно. Многим труднее это оказалось несколько позже, в военно-воздушных силах, где эта ошибочная формулировка вошла в приказы и утвержденные наставления.

«Вы что? Учите не выполнять приказы?» — такая постановка вопроса мне дорого стоила в 1937 г., когда я в первом пособии по психологии для летчиков — изданном в 1936 г. в Качинском авиационном училище «Конспекте курса психологии» — записал: «От автоматизированных действий следует отличать автоматические, которые, раз начавшись, уже до своего окончания не подконтрольны воле».

Это было одно из положений, вызвавших возражения «поправлявшего» меня В. Н. Колбановского, едва не повлекшие за собой моей демобилизации из армии.

Все же позже я, вспоминая беседы с Исааком Навтуловичем, вставил в свою «Занимательную психологию» рассказ под названием «Полезная автоматизация и вредный автоматизм».

Но с двумя доводами И. Н. Шпильрейна, лично от него неоднократно слышанными в его квартире на четвертом этаже дома по Волхонке, 12, я никак не мог согласиться и даже пробовал с ним спорить, что при его эрудиции было нелегко.

Первым и основным положением, его кредо была полная независимость психотехники от психологии. Он их считал двумя самостоятельными науками, приводя в доказательство даже аналогию анатомии и хирургии.

Вторым, взаимосвязанным с первым было положение, что применение теста — это не психологический эксперимент, а только замер, оценка уровня развития определенной способности.

«Цель теста — не установление общепсихологической закономерности, а психологическая квалификация подвергающихся обследованию тестом коллективов или отдельных лиц», — эти слова

я не раз слышал от него прежде, чем прочел их*, готовясь к занятиям с военными врачами о правильном и неправильном применении тестов.

Оба эти положения Шпильрейна безоговорочно тогда принимались большинством его последователей, и мои два автозаводских сотрудника — «убежденные психотехники» Николай Иванович Морозов и Петр Яковлевич Епишин — много крови мне испортили, борясь с этих позиций с моей линией, проводимой в исследовательском секторе.

Но оба эти положения И. Н. Шпильрейна живы и поныне!

Карл Маркс, начиная свою статью «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» словами Гегеля, что «история повторяется», уточнил: «...первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса»**.

Положение о независимости психотехники от психологии было трагедией И. Н. Шпильрейна, ряда его единомышленников и всей психотехники в целом. Именно оно, а не какие-либо внешние директивы явилось внутренней причиной краха психотехники. Но когда сейчас, в 1960—1970-х годах, подобные же доводы приходится слышать от лиц, считающих себя «инженерными психологами» и оправдывающих этим свое полное незнание психологии, это уже действительно становится фарсом!

«Зачем мне знать психологию личности, если мне для оценки моих пультов достаточно знать теорию восприятия? Я ведь не психолог, а инженерный психолог!» — заявляют они, даже не задумываясь над тем, каковы корни и последствия такого мнения, приведшего психотехнику к краху. В результате психологическая работа подчас опять оказывается в руках невежественных людей, только дискредитирующих нашу науку!

Живучесть второго положения Исаака Навтуловича подтверждается словами, которые мне не так давно пришлось прочитать в рецензии на одну из моих последних книг: «Невозможно критиковать

* Шпильрейн И. Н. О прикладной психологии в ее применении военными врачами // Военно-санитарный сборник. М., 1925. Вып. II. С. 47.

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 119.

тестирование... и утверждать, что приемлемо использование тестов... Не стоило уравнивать понятие “экспериментальные методики” с понятием “тест”>*. Вероятно, рецензенты, крупные советские патопсихологи, даже не задумались над тем, что они придерживаются мнения И. Н. Шпильрейна о необходимости «не уравнивать» эти понятия.

Борис Михайлович Теплов любил говорить: «Нет умных и глупых методов, есть умное и глупое их применение!» В контексте этой его мысли можно сказать: «Нет различия между правильным (то есть умным) применением тестов и экспериментально-психологическими методами. Это различие появляется при неправильном (то есть глупом) применении тестов, называемом тестированием». Сущность же тестирования сформулирована в приведенных выше словах Шпильрейна.

Конец жизни Исаака Навтуловпча был трагичным. В начале 1935 г. он был арестован по обвинению в неуважении к правительству. А дело обстояло так. Он разрабатывал тесты с применением так называемого «метода коллизий», широко распространенного и сейчас в буржуазной науке. Испытуемому задавался вопрос, правильный ответ на который надо было выбрать среди нескольких других неправильных. Против этого метода возражали многие, в том числе и я, справедливо считая, что произвольная память исследуемого может закрепить эти неправильные ответы. К слову, метод коллизий, к сожалению, применяется у нас и поныне в так называемых «обучающих машинах»!

Но... Исаак Навтулович неосмотрительно вставил в свой тест вопрос «Кто такой Михаил Иванович Калинин?» с четырьмя неправильными ответами.

Скончался И. Н. Шпильрейн в 1941 г. Точная дата его смерти неизвестна.

* Зейгарник Б. В., Рубинштейн С. Я. Методологические проблемы медицинской психологии // Вопросы психологии. 1977. № 6. С. 132.

СОЛОМОН ГРИГОРЬЕВИЧ ГЕЛЛЕРШТЕЙН

Ученик, последователь и непосредственный помощник И. Н. Шпильрейна Соломон Григорьевич Геллерштейн был как личность в некотором смысле антиподом ему. Шпильрейн кипел организаторским рвением, а для Геллерштейна характерна была осторожная сдержанность, почти застенчивость. Смолоду отличный спортсмен и прекрасно сложенный гимнаст, он не только наружностью (пышной шевелюрой волос и чертами красивого лица), но и внутренним содержанием походил на Марка Твена. Свойственный этому писателю горький юмор у Соломона Григорьевича доходил порой до почти трагической ироничности. Изложение своих мыслей он всегда начинал рефреном:

— Если бы меня спросили о (далее следовал объект обсуждения), то я сказал бы (и далее излагалась всегда глубокая, но обязательно с оговорками, осторожно выраженная мысль).

Как человек и собеседник он был очарователен. Все, кто его лично знал, неизменно вспоминают о нем с нескрываемой теплотой. От него исходило какое-то неуловимое обаяние, а в глазах светился мягкий юмор. В спорах он не наседа на противника, а пытался убедить его тактично и ненавязчиво.

Таким я его и запомнил начиная с «поведенческого» съезда и на ряде совещаний в Институте труда на Погодинке, куда я приезжал с заводов. Я уже упоминал о его дискуссии с А. М. Мандрыкой, закончившейся попыткой доказать правоту в физическом единоборстве: кто кому положит руку на столе на глазах у всех участников совещания. А вопрос тогда касался увлечения Соломона Григорьевича трудовым методом изучения профессий, с которым не соглашался А. М. Мандрыка. Поскольку никто из них одолеть другого не смог, проблема трудового метода так и осталась у «вождей психотехники» неразрешенной. Я же для себя решил ее так: «Освоить хорошо каждую изучаемую мною профессию я не могу, да и не должен. Но лично “попробовать” ее обязан». Я так полагал и раньше, когда бросал уголь за кочегара и вел паровоз; потом я мыл золото, работал на прессах. Позже, уже в авиации, прошел курс летного

обучения, а на фронте летал на боевые задания за стрелка-радиста и штурмана. О моем авиационном опыте у меня сложилась поговорка, понравившаяся Соломону Григорьевичу: «Я плохо умею летать, но хорошо понимаю летать». Трудовой метод изучения профессий, которым С. Г. Геллерштейн сам изучал труд наборщика, в предложенном им виде, с очень сложной документацией так и не привился. Хотя, ссылаясь именно на него, я доказывал (и доказал!) начальнику УВУЗ ВВС комбригу Левину и даже Главкому ВВС Я. Я. Алкснису необходимость для меня пройти курс летного обучения. Но работа Соломона Григорьевича по формированию чувства времени* и его мысли о роли антиципации в трудовой деятельности, так же как его примечания к изданию сочинений И. М. Сеченова, вошли в золотой фонд психологии труда.

Когда я в сентябре 1935 г. уже военным врачом пришел в недавно созданный (в мае 1935 г.) Институт авиационной медицины, я несколько месяцев числился в отделе С. Г. Геллерштейна, мобилизованного в армию в 1934 г. Тогда-то и начался наш близкий с ним контакт, но контакт взаимонастороженный, не прерывавшийся до его кончины 14 октября 1967 г.

Я так и не понял за тридцать лет общения с ним, была ли осторожность чертой его характера или это была маска, так сказать, «faconde parler» с детства ущемленного человека. Родился он 2 ноября 1896 г. в Нью-Йорке в семье иммигранта, уехавшего из России в XIX в. от преследований и погромов. После революции 1905 г. отец с семьей вернулся в родную страну, в Екатеринослав (теперь Днепрпетровск). Соломону Григорьевичу было тогда уже 12 лет, и жизнь в Америке, как и английский язык, запечатлелись в его памяти на всю жизнь. В Екатеринославе он закончил реальное училище и затем поступил в Харьковский технологический институт. Не закончив его, он приехал в 1920 г. в Москву и с 1922 г. начал работать в лаборатории промышленной психотехники при НКТ, которой руководил И. Н. Шпильрейн, одновременно участь и кончая Высшие педагоги-

* Геллерштейн С. Г. «Чувство времени» и скорость двигательной реакции. М., 1958.

ческие курсы им. Н. К. Крупской и там же читая лекции по психологии, так как на его руках была семья — сестра и мать.

Тяжелое детство и юношество наложили на Соломона Григорьевича неизгладимый отпечаток, которого он не скрывал и не маскировал, а, напротив, подчеркивал. Так, в мае 1936 г. он приехал на несколько дней «на Качу», то есть в 1-ю Военную краснзнаменную школу пилотов им. А. Ф. Мясникова, где я был в то время начальником филиала Института авиационной медицины. Я показывал Соломону Григорьевичу авиационные тренажеры. (Оба мы по всему своему жизненному опыту были тогда глубоко штатскими людьми.) Говоря о своих трудностях и прося его о помощи в Москве, я, бросив взгляд на его петлицы, в сердцах брякнул:

— Эх! Мне бы ваш ромб! (У меня тогда была только одна шпала!)

На это он со свойственной ему иронической флегмой, помолчав, ответил:

— Меняю мой ромб на ваш характер!

Круг научных интересов С. Г. Геллерштейна был очень широк: изучение профессий, исследование утешения, психология в авиации, психология спорта.

Бесспорный интерес представляли и до сих пор не утратившие своего значения исследования Соломона Григорьевича по упражняемости функций*. Они нашли особое применение в период его работы с ранеными в Отечественную войну и легли в основу его диссертации, за которую он получил степень доктора биологических наук**.

Но здесь я должен рассказать еще об одном психотехнике — Анатолии Абрамовиче Толчинском, с которым дважды встретился в психотехнической лаборатории Ленинградского института организации и охраны труда (ЛИОТ) — в мае 1932 г., вернувшись из Забайкалья, и в сентябре 1933 г., приехав из Нижнего Новгорода. А. А. Толчинский был, несомненно, одним из талантливейших психологов труда

* Геллерштейн С. Г. Проблема переноса упражнения // Бюллетень. 1936. № 6.

** Геллерштейн С. Г. Восстановительная трудовая терапия в системе работы эвакогоспиталей. М., 1943.

того времени. Именно ему, этому скромному, сдержанному и высокообразованному ученому, прошедшему хорошую подготовку в зарубежных психологических лабораториях и отлично знавшему европейские языки, именно ему первому не только в советской, но и в мировой науке принадлежит идея психотренировки!

До Ленинграда Толчинский работал ряд лет в ЦИТ, где и «заболел» любимыми словами Гастева, заимствованными у Крепелина: «Нет ни одной способности, которую нельзя было бы повысить упражнением». В Ленинграде он попытался доказать это и неплохо доказал.

Сейчас, когда я сталкиваюсь с получившей широкое распространение так называемой аутогенной тренировкой или аутотренингом, мне всегда бывает обидно, что так забыт А. А. Толчинский и его исследования по тренировке психических качеств, проведенные еще в 1930-х годах на ленинградском заводе «Красный треугольник». Итогом этой работы явилась его статья «Опыт психотренировки бракеров»*. В ней он описывал не только метод, но и результат психотренировки. В 1938 г. он пытался организовать психотренировку дежурных инженеров Ленэнерго. Очень жаль, что эта работа не получила ни должной оценки, ни продолжения.

В этом месте моих воспоминаний я подошел к необходимости рассказать о крахе психотехники и его причинах. Это событие часто непосредственно связывают с постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов». Такая связь, конечно, была, но она не прямая, а косвенная.

Соломон Григорьевич не раз говорил мне, что после выхода постановления ЦК о педологии он в роли «старшего психотехника» по Психотехническому обществу (Исаака Навтуловича тогда уже не было в Москве) по собственной инициативе пошел в отдел науки ЦК партии.

«Я хотел там узнать, в какой мере это постановление распространяется на общество и вообще на всю работу по психотехнике, — рассказывал он. — Но на мой этот вопрос мне строго и четко ответили, что постановления ЦК всегда точны и конкретны и раз слова “психо-

* Советская психотехника. 1933. № 1.

техника” в постановлении нет, то в административно-организационном плане оно не предусматривает никаких мероприятий, что у советских психотехников есть свои головы на плечах и партийное чутье, чтобы сделать научные выводы о направлении работы по преодолению ошибок тестирования в педологии. Когда же я потом спросил, как нам относиться к статье В. Н. Колбановского в “Известиях” от 26 октября 1936 г., — продолжал Соломон Григорьевич <а я к этой статье вернусь в рассказе об ее авторе>, — мне ответили, что Колбановский мог написать научную статью, но писать директивы ему никто не поручал. Но и мне, — этими словами Соломон Григорьевич обычно заканчивал свое повествование, — тоже никто не поручал публиковать полученные мною разъяснения, когда статья Колбановского все же была принята руководителями ведомств как директива».

Крах психотехники в 1937 г. Соломон Григорьевич пережил как личную трагедию. Чтобы он ни делал в дальнейшем, все ему казалось «осколками разбитого вдребезги»!

В 1936 г. Соломон Григорьевич был демобилизован и ушел из военной авиации, но В. В. Стрельцов (о нем ниже) привлек его сначала к работе в лаборатории гражданского воздушного флота, а в конце Отечественной войны и к преподаванию психологии авиационным врачам на военфаке Центрального института усовершенствования врачей. Тут наши пути опять пересеклись, так как с декабря 1946 по октябрь 1947 г. на кафедре В. В. Стрельцова работал и я, читая курс учебно-летней экспертизы и руководя практикой слушателей в авиашколе.

Собственно говоря, наши пути с С. Г. Геллерштейном все время пересекались начиная с моего доклада на «поведенческом» съезде. Отношения наши с Соломоном Григорьевичем были непростые. У нас с ним была общая цель (в этом мы были единомышленниками). Мы оба боролись за психологию в авиации и «получали за это шишки», но добивались мы своей цели с разных позиций (и тут начинались наши разногласия). При этом наши споры с Соломоном Григорьевичем активизировали мою работу. Так, например, вечером 13 декабря 1946 г. Геллерштейн делал «программный доклад» о путях психологии в авиации, к сожалению так ничем и не завершившийся,

на заседании президиума Академии педагогических наук. И он, и я возлагали большие, но неоправдавшиеся надежды на этот вечер, так как аудитория была собрана весьма авторитетная: все члены президиума, все основные психологи и ведущие в то время и наиболее прогрессивные авиационные генералы М. М. Громов и Кутасин. Однако Соломон Григорьевич не мог указать другие средства, кроме проверки и заимствования американского опыта, результаты которого он считал «более чем обнадеживающими», а с такой постановкой вопроса не могли согласиться ни психологи, ни работники авиации.

Я же в своем выступлении говорил о необходимости поиска новых, собственных путей, в частности о своем методе обобщения независимых характеристик как существенном дополнении к тестам, над которым я после этого заседания усилил работу.

Помню, как, когда мы вышли на Большую Полянку, Соломон Григорьевич прислонился к стене, вытер лоб и сказал:

— Ну и баня!

На научной конференции военфака ЦИУ 29 января 1947 г. Соломон Григорьевич выступил с докладом «О так называемых молниеносных двигательных реакциях у летного состава». Не соглашаясь тогда с его доводами, я вставил в свою книгу «Очерки психологии для летчиков» параграф «Бывают ли “сверхскоростные” реакции?»», в котором ввел понятие РДО (реакция на движущийся объект), ставшее впоследствии общепринятым. А в 1954 г. я дал своей аспирантке в МГУ* тему об упражняемости реакций в зависимости от их установки. А в 1959 г. вместе со своим сотрудником Е. А. Деревянко и др. показал, что скорость простой реакции не коррелирует с качеством летной деятельности.

Все свои лекции по авиационной психологии Соломон Григорьевич традиционно начинал с ее (по его мнению) «основоположников» французов Камю и Непера, измерявших в 1914 г. время реакции у летчиков.

* См.: Терешкина И. В. Экспериментальное исследование процесса автоматизации реакции выбора: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1957. Она же. Материалы совещания по психологии. М., 1957.

Я, проведя специальное историческое исследование в архивах, показал, что уже в 1911 г. в клинике В. М. Бехтерева доктор В. В. Абрамов экспериментально-психологически изучал «авиаторов», причем не их отдельные функции, а их творчество, применяя к ним личностный подход.

Подобных примеров можно было бы привести много. Но, несмотря на разногласия, личные наши отношения с Соломоном Григорьевичем были дружескими и теплыми. С 1937 г. я с семьей жил в Москве, в центре, что называется, на перепутье, на улице Горького (сейчас на месте нашего дома построена гостиница «Минск»). К нам часто приезжали друзья из Харькова, с Дальнего Востока, из Ленинграда, из Горького. Несмотря на то что комната была только одна, у нас постоянно кто-нибудь жил. Мы тогда были моложе и к бытовым трудностям относились легко и с юмором. Заходил к нам и Соломон Григорьевич. Я уже говорил, что обаянию его немного смущенной улыбки противиться было трудно. И жена моя всегда радовалась его присутствию за нашим чайным столом. Более того, когда 28 июля 1941 г. я, получив назначение начальником медицинской службы Новосибирского авиаучилища, срочно с семьей уезжал из Москвы, по существу, бросал на произвол судьбы и квартиру, и библиотеку, жена отдала Соломону Григорьевичу, пришедшему к нам попрощаться, целый чемодан книг стихов Блока, Ахматовой, Гумилева и др. с ее экслибрисами, стоящих и теперь на полках его детей и внука.

В 1950–1960-х годах, к концу жизни Соломона Григорьевича, разногласия наши усилились, а личные связи постепенно ослабли, и мы встречались реже и только в официальной обстановке.

Ася Ильинична Колодная

Рассказывая о М. П. Ряснянском и о психотехнической лаборатории Южных железных дорог, я только упомянул об Асе Ильиничне Колодной. Ведь там речь шла о моем знакомстве с психотехникой «снизу». Здесь же, говоря о психотехнических вождах того времени, нельзя не сказать о ней более подробно.

Родилась Ася Ильинична в г. Пинске Минской губернии 29 апреля 1895 г. Ученица известного московского невропатолога Г. И. Россолимо, чьим именем был назван популярный среди врачей, психотехников, педагогов и педологов метод изучения личности «профиль Россолимо»⁷⁷, она с 1921 по 1924 г. проработала психологом в его неврологической клинике. До конца его жизни (1928 г.) она не прерывала с ним связи ни как с консультантом Центральной психотехнической лаборатории Наркомата путей сообщения, которую она создала и возглавляла, ни как с личным учителем и другом.

Следующие после 1924 г. 12 лет жизни Аси Ильиничны были посвящены работе на железных дорогах. Это был взлет ее научной и административной деятельности. Ее решительный талант организатора и удачно найденное место его применения быстро вывели ее в первые ряды психотехнических светил.

Я не раз встречался с Асей Ильиничной на различных совещаниях и бывал как в ее лаборатории на Каланчевке, так и в других железнодорожных психотехнических лабораториях (в Ленинграде, Хабаровске, Свердловске), видя везде влияние ее энергичной «руководящей руки».

Высокая, стройная, всегда подтянутая, с гордо поставленной темноволосой головой, она не раз представляла советскую психотехнику за рубежом, а с особым блеском — в Москве на III Международной психотехнической конференции 8–13 сентября 1931 г. Организатор она была отличный, и к моменту «психотехнической катастрофы», то есть к концу 1936 г., ее Центральная лаборатория руководила без малого пятьюдесятью периферическими железнодорожными лабораториями. Влияние Г. И. Россолимо, а возможно, и работа самой А. И. Колодной до железной дороги в его клинике обеспечили более тесную связь этих лабораторий, чем всей психотехники в промышленности, с врачебной экспертизой в целом.

Многие традиции, заведенные А. И. Колодной, сохранились и поныне, в частности, в Институте гигиены железнодорожного транспорта.

15 марта 1938 г. по представлению К. Н. Корнилова Асе Ильиничне была присуждена степень кандидата педагогических наук без защиты диссертации, по совокупности работ. А их было немало. Всего за всю ее жизнь Асей Ильиничной было опубликовано 44 научных труда в области профориентации, профотбора и трудоустройства.

После закрытия железнодорожных психотехнических лабораторий в 1936 г. Ася Ильинична несколько лет нигде не работала. Она как-то сразу исчезла с горизонта психологической науки, решив, вероятно, превратиться в домашнюю хозяйку. Горечь потери привычной руководящей деятельности была, видимо, очень сильна и мешала ей переключиться на что-либо другое. Правда, во время войны в эвакуации в Сталинабаде она успешно работала инспектором по трудоустройству, а вернувшись в Москву, была с 1944 по 1950 г. старшим научным сотрудником ЦИЭТИН (Центрального института экспертизы, трудоустройства и организации труда инвалидов).

В начале 1970-х годов я ее разыскал и, нередко говоря с ней по телефону, пытался включить ее в какую-либо психологическую работу. Однажды я навестил ее с той же целью в ее квартире на улице Землячки, 25, около Павелецкого вокзала. Меня встретила все еще стройная, худощавая, по-прежнему подтянутая и следящая за собой старая женщина. Несмотря на домашнюю обстановку, она была в модных брюках. Написать какие-либо воспоминания она категорически отказалась, хотя еще в начале 1975 г. в возрасте 80 лет была «в хорошей форме» и с неизжитой обидой говорила со мной о 1930-х годах и ее работе на железной дороге.

Но вскоре после этого жизненный тонус ее угас, и начали быстро развиваться возрастные изменения психики (*dementia senilis*). 21 ноября 1976 г. ее не стало.

В последние минуты перед тем, как управдом хотел сдать архив Аси Ильиничны «на королеву Марго», удалось воспрепятствовать этому, и ее бумаги переданы в архив Академии педагогических наук. Их разбор — одна из задач, еще стоящих передо мной теперь, когда я пишу эти строки.

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ЛЕВИТОВ

Если я этот раздел своих воспоминаний начал с первой встречи с А. М. Мандрыкой, то закончить его логично рассказом о Николае Дмитриевиче Левитове — в некотором смысле его антитезе.

Познакомился я с ним в его «психотехнический период», когда он был заведующим психотехнической лабораторией Института им. Обуха (с декабря 1925 по сентябрь 1936 г.) и членом редколлегии журнала «Советская психотехника», уже побывав с докладами за границей — на IV психотехнической конференции в Париже в 1927 г. и на V конференции в Утрехте (в Голландии) в 1928 г.

Антитезой А. М. Мандрыке Николай Дмитриевич назван не сейчас мною, а еще в те годы в пылу их знаменитого спора, достигшего своего апогея на заседании Московского отделения Психотехнического общества 10 февраля 1932 г. Стенограмма этого заседания была опубликована в «Советской психотехнике» (1932, № 1–2) в номере, вышедшем только в августе! Но, приехав в Москву из Нижнего Новгорода в конце мая 1932 г., я прочитал ее верстку у Шпильрейна.

Формально спор был о применении математики в психологии и психотехнике, а по существу, о различии между последними. Тезисом А. М. Мандрыки была борьба с «математическим инфантилизмом», то есть в основном с недостаточным знанием психологами вариационной статистики. Антитезисом Николая Дмитриевича была необходимость еще более решительной борьбы с «математическим фетишизмом».

Вот некоторые высказывания Николая Дмитриевича из стенограммы: начав с истории советской психотехники, он отметил, что 10–11 лет назад «ни понятие психотехники, ни специфические психотехнические методы не были известны в наших психологических кругах». Затем он сказал, что «создалось направление, окрещенное недавно “математическим фетишизмом”» и что «официальная часть» в этой пропаганде статистики принадлежит прежде всего А. М. Мандрыке. Я тогда обратил внимание, что слова А. М. Мандрыки, соглашавшегося с необходимостью бороться с «фетишизацией математики»,

но упрекавшего многих психотехников в «математическом инфантилизме» и говорившего о желательности более фундаментального знакомства с математическими методами, были из верстки вычеркнуты при ее редакции! А жаль! И тот, и другой упрек не утратили своего значения для психологии и поныне.

В то время я еще не знал слов К. Маркса из одного из его писем, опубликованных многим позже: «Наука только тогда достигнет совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой»*.

Но и тогда, соглашаясь с необходимостью ликвидации математической малограмотности, главную опасность для психологии я видел (и сейчас вижу) в «математическом фетишизме», присоединяясь в то время к позиции Николая Дмитриевича. Я считаю, что Николай Дмитриевич, находясь в те годы в русле психотехники, в этой дискуссии проявил себя как психолог-личностник!

Непросто сложилась жизнь Николая Дмитриевича, хотя он всегда выходил победителем из всех ее сложностей. Я уверен, что найдется немало моих современников, которые, прочтя эти мои воспоминания, упрекнут меня за то, что я включил Н. Д. Левитова в главу о психотехниках, а не о психологах. И для этого упрека есть основания.

Родился он 17 апреля 1890 г. в г. Раненбурге Рязанской губернии (теперь г. Чаплыгин Липецкой обл.) в семье священника «хилым семнадцатым последышем», как он сам говорил. Он считал чудом, что дожил до преклонного возраста, сохранив трудоспособность, при плохой наследственности и полном отсутствии физического воспитания. Он предполагал тут ряд причин, из которых главной считал очень бережное отношение к нему родителей, особенно матери. Затем — строгий пищевой режим — много постов, а в них, по его словам, «кроме хорошего, ничего плохого не было», ну и правильный образ жизни — он никогда не пил, не курил, по ночам не занимался.

Он был хоть и некрепким, но одаренным ребенком. С четырех лет научился читать, затем довольно быстро усвоил латынь. В отрочестве изучил французский язык настолько, что в 14 лет издавал семейный литературный рукописный журнал на французском языке!

* Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956. С. 66.

Учился он всегда отлично, окончив Раненбургское духовное училище, Рязанскую семинарию, а затем и отделение словесности Петербургской духовной академии, где учился на казенный счет, одновременно давал с 14 лет частные уроки. Тогдашнюю духовную семинарию Николай Дмитриевич характеризовал как «гнездо нигилизма», встречал после революции своих товарищей-семинаристов на большой партийной работе, а постановку обучения в Петербургской академии он всегда оценивал очень высоко. Получил он там специальность преподавателя литературы и психологии и с 1914 по 1918 г. читал оба эти предмета в Рязанской духовной семинарии. Однако психологическое образование он получил не только в академии, но и работая одновременно с учебой там у профессора А. Ф. Лазурского.

Так всю жизнь он и колебался, по его же словам, «как Буриданов осел», между психологией и литературой, которую отлично знал, читая французских, английских и немецких авторов только в подлинниках. Переводам он не доверял! Любимым писателем Николая Дмитриевича был Виктор Гюго, о котором он прочел все, что можно было прочесть в мировой литературе. Обладая феноменальной памятью, Николай Дмитриевич мог часами читать стихи Гюго наизусть. Я думаю, что он симпатизировал мне, найдя во мне благодарного слушателя, а особенно когда после одного случайного разговора о коллизиях⁷⁸ романа «93-й год» понял, что я тоже очень люблю этого писателя. Заслуживает внимания его статья «Виктор Гюго о матери и детях»*.

Вообще Николай Дмитриевич очень любил детей, считал, что в современном воспитании не хватает доброты к детям. Он много печатался в «Семье и школе» и других популярных журналах подобного рода, посвятив детям ряд интересных очерков: «Воспитание правдивости и искренности в детях» (журнал «Общественница», 1935), «Об упрямым и капризным детям» («Начальная школа», 1941, № 5), «Дети и Отечественная война» («Советская педагогика», 1942), «Мать на жизненном пути человека» («Семья и школа», 1946, № 1–2). Все последующие статьи, приводимые

* Семья и школа. 1952. № 2.

мною, напечатаны в журнале «Семья и школа»: «Дети в произведениях Достоевского» (1956, № 3), «О детской развязности» (1957, № 4), «О любви и уважении к матери» (1961, № 5), «Отец-воспитатель» (1961, № 8), «О грубости подростков» (1964, № 4), «Об умении говорить с детьми» (1964, № 9). Этот список можно было бы продолжить, это только небольшая часть того, что Николай Дмитриевич написал о детях и их воспитании.

С 1918 г. Николай Дмитриевич работает директором Института народного образования в Рязани, потом заместителем директора одноименного института в Москве, а с 1923 г. (до Института Обуха, где я с ним неоднократно встречался) — в ЦИТ с Гастевым. Период работы в ЦИТ Н. Д. Левитов всегда вспоминал с удовольствием и благодарностью. Там он подружился с А. А. Толчинским, позже уехавшим в Ленинград, познакомился с К. Х. Кекчеевым, Н. А. Бернштейном. О Гастеве Николай Дмитриевич вспоминал как о самолюбном самородке, панически боявшемся своей жены (добавлял он, усмехаясь).

Когда я познакомился с Николаем Дмитриевичем в 1930-х годах, ему уже было под 50. Он носил коротко постриженные усики и сильные роговые очки, сквозь которые он устремлял мне навстречу внимательный и благожелательный взгляд, когда я приходил к нему в Институт Обуха. Я не знаю, был ли он близорук, но очки были сильные, а глаза всегда смотрели утомленно.

В 1939–1941 гг., когда я работал с Л. М. Шварцем в его лаборатории навыков в Институте психологии, я часто встречался и с Николаем Дмитриевичем, руководившим там с 1938 г. лабораторией воли и характера. С этого времени Николай Дмитриевич становится ведущим советским характерологом и издает ряд статей и книг по психологии характера (с 1939 по 1970 г.). Докторскую диссертацию он защитил на эту же тему: «Проблема характера в психологии». Особо должны быть отмечены его монография «Вопросы психологии характера» (1952, 1956, 1969) и учебник «Детская и педагогическая психология» (1958, 1961, 1964). Но, пожалуй, еще большее значение, чем его работы о характере, имела для советской психологии его книга «О психических состояниях

человека» (М., 1964). Психиатрам понятие «состояние» было известно давно, но только после публикации книги Николая Дмитриевича оно широко вошло в психологию!

Наша дружба с Николаем Дмитриевичем, начавшаяся в 1930-х годах, дружба, в которой я всегда чувствовал себя «младшим», продолжалась до конца его дней. О том, как он выглядел в последние десятилетия своей жизни, очень хорошо и образно написала его бывшая аспирантка по кафедре психологии Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской, возглавляемой им с 1960 г., ныне доцент той же кафедры Н. К. Шеляховская. Мне остается только присоединиться к ее словам: «Высокого роста, широкоплечий, ширококостный старик, слегка сутулый. Не полный, но и худым его назвать было нельзя. Походка широкая, жесты размашистые. Сильно поредевшие за последние годы волосы, почти всегда неприглаженные, торчащие. Иногда мы, аспиранты, по этому поводу тихонько хихикали. В одежде несколько небрежен. Так, например, зимняя меховая шапка, когда он приходил на кафедру, часто оказывалась набекрень, а то и того больше. Кстати, шапка была очень старомодной и довольно ветхой с кожаным верхом. Николай Дмитриевич рассказывал нам, что это он случайно в такси обменялся с водителем и теперь ею очень доволен. Другой не хочет. Мы, коллеги, на юбилей дарили ему портфели, т. к. они очень быстро у него ветшали и из какого-нибудь угла выглядывали бумаги. Немного был рассеян, порой не на ту пуговицу застегнут... Интересно он появлялся в дверях: широко открывал дверь и несколько секунд проверял на нас эффект своего появления. Глаза всегда при этом блестели и вообще излучали удовольствие. Иногда приносил какой-нибудь каламбур или смешную новость».

Очень правильный и характерный портрет. Особенно «впопад» вот эта остановка Николая Дмитриевича в широко распахнутой двери. Именно таким мы все, психологи, и запомнили его появления, бывало, на совещаниях или в ВАК.

В 1965 г. Николаю Дмитриевичу было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Он был также награжден орденом Ленина и медалью Ушинского.

Мне лично Николай Дмитриевич сделал в жизни много доброго еще в 1930-х годах мудрыми дружескими советами. Когда я в 1956 г. сдал в «Медгиз» рукопись своей книги*, я послал ее экземпляр ему с просьбой прорецензировать и при доработке принял во внимание все его доброжелательные замечания. Когда вслед за этим вышел его учебник**, я учел и его во втором издании вышеупомянутой своей книги. Когда же 26 ноября 1971 г. я защищал это второе издание на вторую мою степень — доктора психологических наук (с 1953 г. я был доктором медицинских наук), Николай Дмитриевич дал мне отзыв от своей кафедры в областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской.

И этот отзыв был, видимо, последним, что он вообще написал, скончавшись 17 февраля 1972 г. Прощанье с Николаем Дмитриевичем было особенно грустным потому, что гражданской панихиды не было, а хоронили его (по желанию его жены) строго по канонам православия. Вера Петровна происходила из потомственной семьи духовного звания — Преклонских. Несколько поколений Преклонских с высокими титулами можно найти на Ваганьковском кладбище, где был священником и отец Веры Петровны. Там же похоронен и Николай Дмитриевич. Многие не рискнули приехать на кладбище: от Института психологии АПН, где он работал с 1938 г., был только Небылицын, но сказать что-либо не решился, стоял в стороне. Не было никого от ректората института им. Н. К. Крупской — последнего места работы Николая Дмитриевича. Но это не значит, что он был забыт научной общественностью Москвы.

Вклад в психологическую науку, сделанный Николаем Дмитриевичем, позволяет мне не только закончить рассказом о нем главу о советских психотехниках, но и открыть им следующую главу — о советских психологах.

* Платонов К. К. Вопросы психологии труда. М., 1962, 1970.

** Левитов Н. Д. Психология труда. М., 1963.

VI. СОВЕТСКИЕ ПСИХОЛОГИ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ КОРНИЛОВ

Право называться первым советским психологом, бесспорно, принадлежит Константину Николаевичу Корнилову.

Родился он 21 марта 1879 г. в Сибири, где и учительствовал в сельских школах до 1905 г., окончив в 1898 г. Омскую учительскую семинарию. Затем он учился дальше, в 1910 г. окончил Московский университет. Еще со студенческой скамьи он начал работать с Г. И. Челпановым, принимая непосредственное участие в создании Института психологии. К слову сказать, здание на проспекте Маркса, в глубине двора, за правым плечом памятника Ломоносову, в котором и по сей день находится Институт психологии Академии педагогических наук, было специально построено как Институт экспериментальной психологии и подарено в 1911 г. университету (а по существу, самому Челпанову) женой купца Щукина, известного москвичам собирателя западной живописи XIX в., главным образом импрессионистов, владельца «Пекинской галереи».

Челпанов — основной русский психолог-идеалист начала XX в., противник естественного направления в психологии — оставался директором этого института, числившегося при факультете общественных наук МГУ, до ноября 1923 г., когда его место занял Корнилов. В это время Челпанову шел только 62-й год. Умер он в 1936 г., прожив за рамками развития советской психологии еще 13 лет.

Константин Николаевич начал борьбу под знаменем диалектического материализма с идеалистическими позициями Челпанова сразу после 1917 г. На I Всероссийском съезде по психоневрологии, проходившем в Москве 10–15 января 1923 г., он выступил с пламенным докладом, о сути которого говорит его заголовок: «Современная психология и марксизм». Об этом я услышал от отца — участника съезда.

В эти же 1920-е годы Константин Николаевич написал и выпустил первый советский учебник по психологии под названием «Учебник психологии, изложенный с точки зрения диалектического материализма» (Л., 1926). Это говорит о том, что он, не будучи коммунистом (он так и умер беспартийным), настойчиво искал в те годы новые, материалистические пути развития нашей науки. Очевидно, это было нелегко, если учесть, что «Диалектика природы» Энгельса увидела свет только в 1925 г., а «Философские тетрадки» Ленина появились в 1933 г.!

Но еще ранее, сразу после Октябрьской революции, К. Н. Корнилов начал создавать свое учение — реактологию, опубликовав книгу «Учение о реакциях» (М., 1921; 2-е изд.: М.; Л., 1923). Эту книгу, как и упомянутый выше учебник Корнилова, я впервые увидел в руках у А. И. Геймановича. Он с ними зашел в лабораторию Э. И. Чучмарева (как я уже говорил, она помещалась в самой квартире Александра Иосифовича и ход в нее был через его «приемную», где ждали больные) и спросил о нашем отзыве об этих книгах. Я, конечно, «вежливо промолчал», а Захар Иванович рассыпался в похвалах.

Но и работая в лаборатории М. П. Ряснянского, я еще не составил мнения о реактологии. И не потому, что она меня не заинтересовала, просто у меня не было на нее времени. Нельзя объять необъятное!

Только на «поведенческом» съезде я начал понимать ее достоинства и недостатки. Несомненной ее заслугой была борьба с идеалистической и построенной на самонаблюдении психологией Челпанова. Но ошибкой реактологии, сближающей ее с рефлексологией Бехтерева (о ней я расскажу ниже), была попытка свести все многообразие психической деятельности не только животных, но и человека к понятию «реакция». Под этим универсальным для всего живого феноменом Константин Николаевич понимал целостный ответ всего организма на внешнее воздействие, ответ, включающий у высших животных психический компонент.

Это было бы неплохо. Но дальше — все особенности психики он сводил к силе, скорости и форме двигательной реакции. По этим ее параметрам якобы можно судить о всей психике. А это уже был чистейший механицизм. Но в нем я, как и многие другие, разобрался позже.

Хотя я много слышал о Константине Николаевиче от Э. И. Чучмарева — его ученика, но познакомился с ним только на «поведенческом» съезде. Я запомнил там его образ очень ярко, вероятно, потому, что мой разговор с ним совпал со встречей с И. П. Павловым, к чему я вернусь позже. Если бы Корнилова нарядить в шаровары и рубаху, он мог бы без грима позировать Репину для его полотна «Запорожские казаки» — пикнически⁷⁹ сложенный, круглолицый, с обширной лысиной от лба. Ему к его длинным пышным запорожским усам и кустистым бровям не хватало только чуба! Разговаривал он со мной и тогда, и позже очень благожелательно, постоянно вставляя в свою речь, так же как и в прекрасно читаемые лекции, присказку «знаете, понимаете»... Обычно такие слова-паразиты вызывают раздражение у собеседника, но у Корнилова они звучали так мило, с оттенком заботы, что принимались как естественный компонент разговора.

Но наиболее теплые мои воспоминания о Константине Николаевиче связаны с трудными для меня 1938—1941 гг., когда я после «разгрома» Качинского филиала Института авиамедицины работал в Москве начальником учебного отдела этого же института.

Психологии ходу тогда нигде не давали, мое военное начальство боялось ее как огня. И мы тогда договорились с Львом Михайловичем Шварцем, проработавшим летом 1936 г. временным сотрудником Качинского филиала, что мы продолжим разработку начатых на Каче тем у него в лаборатории навыков Института психологии.

Не могу не сказать тут хоть несколько слов о Шварце. Лев Михайлович Шварц — первый и, увы, последний советский психолог, серьезно занимавшийся психологией навыков. Заимствуя из одноименной теории американского психолога-бихевиориста Торндайка ценные эмпирические данные, Шварц создавал свою диалектико-материалистическую теорию навыков. К тому же в те предвоенные годы Лев Михайлович был чуть ли не единственным в Институте психологии, кроме технических работников, членом ВКП(б).

Высокий, немного нескладный брюнет с зачесанными назад черными волосами, он все же был достаточно спортивен, любил

плавать и нырять. Живя на Каче, мы, помимо основной работы в лаборатории, задумали с ним совместную книгу «Очерки психологии для летчиков». Потребность в ней была большая, но, к сожалению, вышла она только через 10 с лишним лет, в 1948 г., когда Льва Михайловича давно уже не было в живых!

Писали мы «Очерки» обычно, лежа на пляже, разгораясь в спорах и охлаждаясь в море! Спорить с ним бывало и весело, и трудно, так как он был чрезвычайно остроумен и очень эрудирован. Но все же мы обычно приходили к какому-то общему решению и к концу лета близко подружились.

Мы с сотрудниками Эсфирью Львовной Лапан и Лидией Моисеевной Розет жили на Каче почти единой семьей, и нас всех удивляло, что Лев Михайлович систематически каждый выходной таинственно куда-то исчезал. Позже мы узнали, что этому было две причины. Во-первых, в поселке Мамашай, в нескольких километрах от авиашколы, как оказалось, все лето жила его будущая жена — Любовь Михайловна, тоже психолог. Когда уже после его смерти она публиковала свои научные работы за подписью Л. М. Шварц, то это совпадение инициалов вызывало путаницу и недоумения.

Вторая причина вскрылась при трагических обстоятельствах. В первые же дни войны Лев Михайлович вступил добровольцем в московское ополчение. Участвовал в боях и погиб под Ельной. Тело его было прошито наискось пулеметной очередью и с трудом было опознано московскими знакомыми, так как волосы его оказались ярко-рыжего цвета! Очевидно, он стеснялся и тщательно скрывал это и ездил с Качи по воскресеньям подкрашиваться в Севастополь. Ну а на фронте о краске думать не приходилось!

Результатом нашей работы с Львом Михайловичем на Каче была его статья «К вопросу о навыках и их интерференции»*.

В Москве в лаборатории навыков у Шварца работали (кроме меня) В. В. Чебышева и А. И. Богословский. В числе наиболее ценных документов моего архива я храню следующий:

* Ученые записки Государственного института психологии. Т. 2. 1941.

ВЫПИСКА

из приказа № 10 по Государственному научно-исследовательскому институту психологии от 14/III—39 г.

§ 2. Тов. Платонова К. К., военврача 3-го ранга, назначенного Институтом авиационной медицины ВВС РККА постоянным представителем в ГИП, утвердить в качестве внештатного научного сотрудника с 1/III—39 г. по лаборатории навыков ГИП.

Директор ГИП *К. Корнилов*

С подлинным верно:

Зам. директора ГИП *Л. Шварц*

В то время в Институте психологии готовился новый учебник «Психология» (вышедший в 1938 г.), и К. Н. Корнилов, как его главный редактор (другими редакторами были Б. М. Теплов и Л. М. Шварц), с охотой согласился включить в него ряд мыслей и материалов из наших с Шварцем уже написанных «Очерков».

Тогда же Константин Николаевич с большим интересом отнесся к полученной Институтом психологии по моей «протекции» летной тренировочной кабине Линка. Незабываемой осталась в моей памяти его фигура запорожца, сидящего в этой фантастического вида кабине и пытающегося ею управлять!

В начале 1941 г. я организовал публикацию трех статей Корнилова о воспитании воли в газете «Красная звезда» (от 28 марта, 1 и 5 апреля). Они были очень хорошо встречены военной общественностью: он ведь был отличный популяризатор.

Во время Отечественной войны Константин Николаевич много раз выступал с лекциями в военных подразделениях и, в частности, в авиационных подмосковных частях.

Помню нашу встречу с Константином Николаевичем уже после войны, в конце 1947 г., в его кабинете вице-президента АПН, когда я консультировался с ним при организации работы по авиапсихологии. Мы с грустью тогда помянули Льва Михайловича Шварца, так безвременно погибшего в самый тяжелый период наступления немцев на Москву.

Я не помню, видел ли я Корнилова на сессии двух академий (АН и АМН СССР) 1950 г., вошедшей в историю советской науки

под названием Павловской сессии, и был ли он там вообще. Но точно знаю, что он не выступал и не подавал никакого заявления с текстом речи. Хотя большинство ведущих советских психологов там присутствовали и выступали.

Зато на совещании по психологии, собранном Академией педагогических наук в апреле 1952 г., он выступал очень активно, творчески развивая тезис: перестройка психологии, опирающейся на учение И. П. Павлова, должна происходить на основе методологического принципа единства, а не тождества психической деятельности и высшей нервной деятельности человека.

Он с большим вниманием отнесся к впервые мною доложенной на этом совещании моей концепции динамической функциональной структуры личности⁸⁰. Во время одной из последующих встреч (это было 17 января 1954 г.) он вернулся к этой теме и сожалел, что в стенограммах совещания эта часть моего выступления оказалась сокращенной. В этот день я приехал к нему за рукописью сборника «Вопросы психологии в авиации», оформленного мною еще в 1952 г., то есть почти два года назад. Он включал 19 статей 13 авторов. Константин Николаевич с интересом расспрашивал о ряде работ, хотя уже и написал хороший отзыв. Несмотря на то, что на этот сборник, кроме отзыва Корнилова, были получены положительные отзывы С. Л. Рубинштейна, Т. Е. Егорова и Б. М. Теплова, его все же пришлось еще перерабатывать. Но окончательно он был «зарезан» рецензией профессора А. В. Барабанщикова уже в 1960-х годах! Мотивировкой последнего было, что сборник будет непонятен широкому кругу войсковых офицеров, и поэтому его не стоит издавать! Так он и не вышел и хранится теперь в моем архиве истории отечественной авиационной психологии. И я лыщу себя надеждой, что «какой-нибудь монах трудолюбивый...».

Константин Николаевич не любил вспоминать о реактологии, разгромленной и развенчанной на «поведенческом» съезде, но о сенсомоторных реакциях всегда говорил с большой охотой. И я часто консультировался с ним по этой проблеме в 1950-х годах. Он вполне соглашался с моим недовольством тем, что из всех учебников психологии изгнана глава о психомоторике. Помню его слова: «Наверно,

тут моя вина! Это результат того, что в моих учебниках было психомоторики слишком много!»

Встретились мы с Константином Николаевичем и на совещании по вопросу психологии личности в Ленинграде в конце мая — начале июня 1956 г. Он делал доклад «Принципы изучения психологии советского человека». В то время и дальше, до конца его жизни эта проблема была для него основной, а он был наиболее авторитетным психологом из занимающихся ею.

Меня тоже интересовал этот вопрос применительно к личности советского летчика, и я нередко беседовал с ним на эту тему. Чаще всего это происходило у него на кафедре психологии Московского педагогического института им. В. И. Ленина, бессменно руководимой им с момента организации этого института.

Но последний раз мы разговаривали с ним об этом незадолго до его смерти, весной 1957 г., встретившись на берегу речки Истрицы (приток Истры) в Новом Иерусалиме, в так называемом «НИЛе», что означало «Наука, искусство, литература». В этом кооперативном поселке были дачи Ильи Эренбурга, теща Журавлева, певицы Шпиллер, академиков Веснина и Великанова и многих других знаменитостей, среди них и К. Н. Корнилова. Снимали там дачу ряд лет и мы с женой, поскольку у нас появились внуки, а собственностью мы, всегда любившие бродяжничать, еще не обзавелись!

Правда, мы с Константином Николаевичем принадлежали к разным «племенам», так как я с семьей жил среди «древлян», то есть на глухих лесных участках, расположенных поэтически среди елок и сосен на обрыве над речкой. К. Н. Корнилов же относился к племени «полян», так как построил свою дачу на солнечном, открытом месте, на полевых участках. У него был хороший сад, где он любил сам возиться.

Константин Николаевич вообще очень любил природу. Он и в Москве-то жил, как на даче, — в двухэтажном коттеджике, утонувшем в фруктовом саду, среди других таких же садов, в кооперативном квартале художников, по соседству с метро «Сокол». Сейчас этот зеленый островок с улочками, носящими имена великих художников, стиснут среди наступающих на него высоких каменных домов.

Но когда-то это была окраина Москвы! И добраться туда было нелегко!

После встречи в Новом Иерусалиме больше я Константина Николаевича не видел. Он умер скоропостижно 10 июля 1957 г. в такси, осматривая Казань, во время отпуска, проводимого на волжском теплоходе. Хотя ему было в это время под 80, после него осталась девочка-подросток, школьница, дочь от второго брака. От первой жены у него детей не было.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МЯЩИЩЕВ

Владимир Николаевич Мящищев родился 10 июля 1893 г. в Митаве (теперь Елгаве) в семье юриста. Высшее образование получил в Петербурге — окончил в 1919 г. медицинский факультет Психоневрологического института. С тех пор и до конца своих дней работал в Научно-исследовательском институте им. Бехтерева (вначале сотрудником, потом директором, а в последние годы консультантом). На стене этого института висит его мемориальная доска рядом с доской В. М. Бехтерева.

Мое, еще заочное, общение с Владимиром Николаевичем началось в 1928 г., когда меня увлекла четкость и оригинальность его мысли в теперь незаслуженно забытой его статье «О типических особенностях сочетательно-двигательных рефлексов» в сборнике «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы» (Л., 1926). В то время я в Харькове, в психотехнической лаборатории Южных железных дорог, исследовал на «экране Г. Н. Сорохтина» сочетательно-двигательные рефлексы у телефонисток, сравнивая их с результатами тестового исследования.

Начав в 1929 г. работать у Л. Л. Васильева в Институте мозга, я нашел Владимира Николаевича, придя к нему на квартиру. В это время ему было всего около 36—37 лет, но он не производил впечатления молодого человека. Обычно у северян их неяркая наружность скрадывает истинные годы, и понятие «лицо неопределенного возраста» растягивается на много лет. Владимир Николаевич был

типичным прибалтом — петербуржцем, сдержанным, немногословным, всегда чрезвычайно аккуратно, но без какого бы то ни было щегольства одетым. Его худощавая, среднего роста фигура производила впечатление респектабельности и сохранила до старости достоинство прямой осанки. Удлиненное англазированное бритое лицо с заостренным носом и тонкими сжатыми губами редко улыбалось. Но эта суховатая внешность скрывала на редкость добрую душу! Я показал ему мой материал и попросил помочь «перевести типы по Сорохтину в типы по Мясищеву». И тут я получил от него незабываемый урок о теснейшей связи теории и метода, о невозможности перестройки «метода Сорохтина» для «теории Мясищева» и об эклектичности смешения метода и теории.

В конце января 1930 г. Владимир Николаевич, найдя меня через Л. Л. Васильева, предложил мне сделать доклад о моей работе, назвав ее «Рефлексологическая типология в применении к изучению профессий», на Всесоюзном съезде по изучению поведения человека. Он сказал, что, хотя программа секций съезда уже напечатана, он может помочь (и помог!) включить мой доклад в заседание психотехнической секции съезда. Еще он заметил, что мой доклад надо ставить именно в этой секции потому, что там он обязательно вызовет полезную дискуссию, которая будет способствовать исправлению «ошибочной линии психотехнических вождей» (это его слова), отрывающих психотехнику и от рефлексологии, и от психологии.

Предсказание Владимира Николаевича оправдалось. Доложенное мною сравнение типов нервной системы с психотехническими показателями вызвало, как я уже говорил раньше, резкий протест С. Г. Геллерштейна, воспрепятствовавшего в дальнейшем публикации этого доклада в журнале «Советская психотехника». Преподанная же мне Владимиром Николаевичем оценка психотехники, а также его идеи об «эргологии»⁸¹, известные мне по его докладу, опубликованному в «Трудах Первой Всероссийской инициативной конференции по научной организации труда и производства» (М., 1921, вып. V), помогли мне уточнить мое отношение к психотехнике.

В конце 1940-х годов, кончая работать над докторской диссертацией «Вопросы экспертизы и профилактики психогенных состо-

ний у летчиков» и неоднократно приезжая в Ленинград в архивы и в Военно-медицинскую академию, я опять начал часто встречаться с Владимиром Николаевичем. Но теперь я общался с ним как с мудрейшим и опытнейшим клиницистом и учился у него. Он одобрил и углубил мою попытку применить к анализу летных эмоциогений⁸² учение С. П. Боткина о переходных состояниях. Но особенно его заинтересовал мой материал о роли преморбидной личности в психогенных состояниях летчиков. Он не забыл об этом материале, и через 20 лет предложил мне дать статью под этим названием в сборник «Актуальные вопросы клинической и судебной психиатрии», посвященный 70-летию Н. Н. Тимофеева (Л., 1970). Более того, он подчеркнул свое отношение к этой проблеме, поместив мою статью сразу вслед за своей.

Хотя концепция психологии отношений у Владимира Николаевича в конце 1940-х годов была уже полностью сформулирована и опубликована или подготовлена к публикации*, он, развивая свой тезис, преподанный мне в 1929–1930 гг., никогда не пытался «вернуть» мою диссертацию в русло своей концепции, с которой она не совпадала. Однако под влиянием наших бесед того времени я в дальнейшем (вместе с Г. Д. Народицкой) провел в барокамере эксперименты уже в русле его теории, показавшие изменение гипоксемических⁸³ проявлений в результате различного отношения изучаемой личности к опыту.

В процессе разговоров по материалу моей диссертации Владимир Николаевич согласился быть официальным оппонентом при ее защите. Но это было им выполнено только в 1953 г., так как моя защита была отложена в связи с тяжелой для психологии обстановкой, сложившейся на Павловской сессии и в первые годы после нее.

Для понимания настроения Владимира Николаевича в это время достаточно перечитать и сравнить два его выступления. Первое опубликовано в сборнике «Физиологическое учение академика И. П. Павлова в психиатрии и неврологии. Материалы стенографического отчета объединенного заседания расширенного президиума

* См.: Ученые записки ЛГУ. Л., 1949. № 119.

АМН СССР и пленума правления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров» (М., 1952, с. 385—389). Второе — в сборнике «Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии» (М., 1963, с. 536—539). Сравнение это отчетливо отражает обстановку демагогии и скованной инициативы в первой половине 1950-х и свободного творческого подъема 1960-х годов.

В трудные для психологии 1950-е годы Владимир Николаевич подготовил к печати свою книгу «Личность и неврозы» (Л., 1960), объединяющую 24 его работы, посвященные проблемам личности и отношений, начиная с 1935 г. Эта книга была удостоена в год ее выхода в свет премии имени В. М. Бехтерева. В те же годы вместе с А. Г. Ковалевым он подготовил два тома психологического хандбука⁸⁴ «Психические особенности человека». Первый том — «Характер» (Л., 1957), второй — «Способности» (Л., 1960). Он говорил, что последовательность эта не случайна: «Публиковать в 50-е годы книгу о характере было легче, чем о способностях».

В 1962 г. мы втроем с Владимиром Николаевичем и Николаем Ивановичем Гращенко задумали поставить вопрос о необходимости психоневрологических факультетов медицинских институтов. И мы втроем написали об этом статью в газету «Медицинский работник», так и назвав ее — «Нужны психоневрологические факультеты». В ней были такие слова: «Конечно, вспоминая историю, ее не надо слепо копировать. Современный психоневрологический факультет... должен готовить не только лечащих врачей: невропатологов, психиатров, психотерапевтов и нейрохирургов, но и педагогов и научных работников по этим специальностям, и физиологов высшей нервной деятельности, и врачей-психологов».

Эту статью в ее первоначальном варианте я послал 26 марта 1962 г. Владимиру Николаевичу. Потом мы втроем ее подправили и отослали в газету. Но, как и следовало ожидать, она света не увидела, поскольку Министерство здравоохранения СССР в тот период было против расширения факультетов медицинских вузов и даже сокращало их. А жаль, я и поныне уверен, что такие факультеты необходимы.

Здесь уместно сказать об активном творческом участии Владимира Николаевича во всех последующих дискуссиях и обсуждениях

сектора психологии Института философии, где я работал с 1960 г. Мы его всегда считали «родным» членом нашего коллектива.

Его глубоко содержательные доклады, выступления и статьи опубликованы в сборниках «Проблемы сознания. Материалы симпозиума» (М., 1966, с. 126–132) и «Сознание. Материалы обсуждения проблем сознания на симпозиуме» (М., 1967, с. 44–46), в коллективной монографии «Методологические и теоретические проблемы психологии» (М., 1969, с. 291–316), в сборниках «Проблемы личности. Материалы симпозиума» (М., 1969, т. I, с. 63–73) и «Личность. Материалы обсуждения проблемы личности на симпозиуме» (М., 1971, с. 33–36). Наши доклады опять стоят рядом! Есть его статья и в сборнике симпозиума «Биологическое и социальное в человеке» (М., 1974).

Я видел, слышал Владимира Николаевича и непосредственно общался с ним при обсуждении всех этих материалов, отчетливо демонстрировавших его интерес к философским проблемам, а также его эрудицию в этой области.

Вернувшись мысленно к 1950-м годам, я вспоминаю Владимира Николаевича на Первой Всесоюзной конференции 1956 г., посвященной вопросам психотерапии, на которой он блистал как глубокий теоретик и гуманный практик-психотерапевт. И эта конференция, и сборник ее материалов «Вопросы психотерапии» (М., 1958) открывались его докладом «Некоторые вопросы теории психотерапии». По предложению Владимира Николаевича был там и мой доклад «Элементы психотерапии в системе врачебно-трудовой экспертизы» (он почти замыкает сборник).

Эта линия нашего общения продолжалась на Всесоюзном совещании по вопросам психотерапии в 1966 г., где Владимир Николаевич сделал доклад «Принципиальные положения психотерапии», опубликованный, как и все другие материалы совещания, в сборнике «Вопросы психотерапии» (М., 1966). Встречались мы и на Всесоюзном симпозиуме «Роль психического фактора в происхождении, течении и лечении соматических болезней» 1972 г., на котором обсуждались опубликованные в одноименном сборнике расширенные тезисы докладов, в том числе и доклад Владимира Николаевича

«Психология в медицине» и мой «Личностный подход в понимании психосоматических взаимодействий».

В те годы Владимир Николаевич мечтал написать большой учебник «Психогигиена» и сетовал, что у него нет нужного для этого времени. Но все же он сразу согласился дать предисловие к сборнику «Вопросы психогигиены» (М., 1971), в котором была и моя статья «Психогигиена, психология труда и личность».

Однако встреча с Владимиром Николаевичем на конференции 1956 г. для меня дорога больше последующих в 1966 и 1972 гг. Дело в том, что еще в 1929—1930 гг. Владимир Николаевич спросил меня, не родственник ли я Константина Ивановича Платонова, бывшего его старшим товарищем по клинике Бехтерева. Я в те годы болезненно переживал, что везде меня воспринимали в первую очередь как «сына профессора Платонова». Мне хотелось самому проложить «свой» путь в науку, и это, в частности, было одной из причин, толкнувших меня уехать из Харькова. На его вопрос я тогда уклончиво что-то сказал, и он понял мой ответ как отрицательный. Так он представлял меня и председателю «поведенческого» съезда А. Б. Залкинду. В 1940—1950-х годах мы никогда не возвращались к этому вопросу, хотя мне не было ясно, забыл ли Владимир Николаевич мой старый ответ или получил уточненные сведения и не хочет об этом говорить.

На конференции 1956 г., увидев нас вдвоем с отцом, он не только был искренне удивлен, но и напомнил мне, что когда-то на его вопрос я «ответил отрицательно». Это подтвердило мне, что наши отношения, которые я очень ценил и ценю поныне, сложились независимо от его дружеских связей с моим отцом.

Как-то в один из приездов Владимира Николаевича в Москву мы до поздней ночи проговорили у него в гостинице о сущности отношений. На эту любимую им тему он всегда готов был говорить с кем угодно и сколь возможно долго. В то время уже была опубликована монография «Личность и труд» (М., 1965), и в ней мой раздел о различии объективных и субъективных отношений. В этом ночном разговоре я попытался доказать ему, что он их неправомерно не разделяет.

Вскоре Владимир Николаевич позвонил мне и, сказав, что в Институте им. Бехтерева готовится сборник, посвященный его 70-летию, предложил мне дать в этот сборник статью с изложением моих доводов того «ночного разговора». Он сказал: «В сборнике будут статьи моих единомышленников по теории отношений. Вы единственный, кто концептуально критикует меня. Остальные либо согласны, либо отмахиваются. Потому я хочу, чтобы в сборнике была ваша статья».

Я написал статью «Отношения и эмоции, как формы отражения», в которой изложил свое понимание теории отношений, избежав прямой дискуссии с ее автором — юбиляром («Вопросы современной психоневрологии. Труды Института», т. XXXVIII). Этот случай показывает, как Владимир Николаевич воспринимал критику.

С момента создания Владимиром Николаевичем Проблемной комиссии «Медицинская психология» он включил меня в ее члены. По его просьбе я опубликовал рецензию на его с М. С. Лебединским монографию «Введение в медицинскую психологию» в журнале «Невропатология и психиатрия» им. С. С. Корсакова (1967, № 4). По его же совету я согласился быть издательским редактором учебника для студентов медвузов В. М. Банщикова, В. С. Гуськова и И. Ф. Мягкова «Медицинская психология» (М., 1967).

Как председатель Проблемной комиссии Владимир Николаевич не только одобрил рукопись написанной мною в 1966 г. брошюры «Методологические проблемы медицинской психологии», но и неоднократно посылал в общество «Знание» просьбы об ускорении ее издания. Когда он убедился в тщетности этих попыток, то посоветовал мне: расширив рукопись, передать ее в издательство «Медицина». Это было сделано, и издательство волею судеб направило рукопись на отзыв ему же.

Рецензия его на эту мою рукопись начиналась словами: «В настоящее время все отчетливее осознается теоретическое и практическое значение психологии, одним из важнейших и вместе с тем наиболее задержавшихся у нас в развитии участком которой является медицинская психология. Чем более важны и ответственны проблемы здоровья и болезней человека, тем более необходимо серьезное

обоснование методологической стороны и основы этой ветви психологии, сложность и трудность которого возрастают вследствие сочетания в этой проблеме медицины и психологии». Этими его словами я и начал свою книгу (М., 1977). Рядом с его подписью под рецензией стояла дата — 3 октября 1973 г.

4 октября 1973 г. Владимира Николаевича не стало. Но остались записанные им мысли. Потому мое общение с ним продолжается.

СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ РУБИНШТЕЙН

Мало кому ранее известный и уже не очень молодой одесский профессор Сергей Леонидович Рубинштейн в середине 1930-х годов могучим броском вышел на передний край психологической науки и остался там до последних минут своей жизни.

Можно спорить о количестве «школ» в советской психологии и вообще об их наличии. Существует ли «школа Ананьева», или каждый из многочисленных ленинградских учеников Бориса Герасимовича пошел потом своим путем? Есть ли «школа Теплова», или его ближайšie сотрудники (Н. Д. Небылицын, К. М. Гуревич, Н. Л. Лейтес и др.) в дальнейшем не сумели (а быть может, и не захотели?) сплотиться в «школу»?

Последнему можно бы поучиться у грузинских психологов, и прежде всего у Александра Северьяновича Прангишвили, — сумевших создать и сохранить «школу Узнадзе» — своего учителя, память которого они чтят, а идеи развивают и уточняют.

Как здесь не вспомнить слов А. С. Пушкина: «Уважение к миновшему — вот черта, отличающая образованность от дикости*».

Но «школа Рубинштейна», бесспорно, начала существовать в 1935 г., когда вышел его учебник**, продолжает существовать сейчас и будет еще долго существовать в русле философских проблем психологии.

* Пушкин А. С. Собр. соч. 1949. Т. II. С. 184.

** Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М., 1935.

Во второй половине 1920-х и в 1930-х годах я, тогда молодой периферийный психолог, искал в литературе и не находил психологической концепции, на которую мог бы опереться в своих исследованиях деятельности и личности — преступников (я, как уже говорил, начинал с них), потом железнодорожников, золотоискателей, строителей, рабочих автотракторной промышленности и, наконец, летчиков. Ни психотехника, ни отечественные и зарубежные пособия такой концепции дать не могли. Но вышедшая в 1934 г. статья Сергея Леонидовича «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» и в 1935 г. его книга «Основы психологии» стали для меня, как и для ряда других психологов моего поколения, подлинно настольными книгами.

Сергей Леонидович родился 18 июня 1889 г. Окончив в 1913 г. Одесский университет, он начал свой научный путь как философ. Его первая статья «Исследование проблемы метода» была опубликована в 1914 г. в Марбурге на немецком языке. Но в 1922 г. он публикует некролог одесского психолога Н. И. Ланге, с которым работал несколько лет, а в 1932 г. он уже заведует кафедрой психологии Ленинградского педагогического института.

С самого начала до последних дней этот мыслитель объединял в своей теории и практике психологию и философию в созданном им направлении, названном философскими проблемами психологии. Он был директором московского Института психологии АПН (1942—1945) и заместителем директора Института философии АН (1945—1949), он был первым психологом — членом-корреспондентом АН СССР, но был им как философ!

Да и в психологическую науку он впервые вошел именно в этой своей двойной ипостаси, написав и послав в журнал «Советская психотехника» статью, ставшую краеугольным камнем не только его понимания психики с позиций марксистского принципа единства сознания и деятельности, но и всего дальнейшего развития советской психологии. Это была уже упомянутая мною выше работа «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса», опубликованная в первом номере «Советской психотехники» за 1934 г., дошедшем до подписчиков только в мае того же года! В конце этой статьи в журнале

есть пометка: «Получено редакцией 31 мая 1933 г.», то есть она пролежала там около года.

Я сейчас, пожалуй, последний из тех, кто может уточнить, почему в № 1 этого же журнала за 1933 г. появилась статья С. Г. Геллерштейна «О психологии труда в работах К. Маркса». Вышло так, что в ноябре 1932 г. я случайно присутствовал при словах И. Н. Шпильрейна, обращенных к Соломону Григорьевичу:

— Я узнал, что Рубинштейн в Ленинграде работает над статьей о значении работ Маркса для психологии, — и, бросив взгляд в мою сторону, продолжил: — Об этом надо поговорить...

Я вспомнил эту фразу, когда увидел в одном из ближайших номеров статью С. Г. Геллерштейна. Но понял, о чем главному редактору журнала надо было говорить со своим учеником, только прочтя через год работу Сергея Леонидовича. Статья Соломона Григорьевича была, конечно, нужной и интересной, но исследование Сергея Леонидовича оказалось эпохальным!

Затем через год, в 1935 г., вышел в свет его учебник, о котором я уже говорил. До него в советской психологии имел хождение только корниловский «Учебник психологии, изложенный с точки зрения диалектического материализма», выдержавший после 1926 г. ряд изданий. Если его первое издание было существенным шагом вперед после дореволюционных учебников идеалиста Г. И. Челпанова, то его дальнейшие повторные выпуски были худшим из всего сделанного Константином Николаевичем для нашей науки и тормозили ее развитие.

Когда я, работая в Челябинске, внимательно продумал статью Сергея Леонидовича, а уже в Институте авиационной медицины «залпом прочитал» его учебник, я понял, что вот это и есть та новая марксистская психология, которой мне еще предстоит учиться и учиться!

Но вышло так, что менее чем через полгода, с 16 апреля 1936 г., я впервые в Советском Союзе должен был читать психологию летчикам на качинских курсах усовершенствования инструкторов летного обучения (а потом и командиров отрядов и эскадрилий). Так, уча и учаю у своих учеников, я (как и все молодые психологи того

времени) сам опирался на учебник Сергея Леонидовича, познавая марксистскую психологию.

В результате этих моих лекций в Качинском училище был издан отдельной брошюрой «Конспект курса психологии», родившийся из применения мыслей Сергея Леонидовича к авиации.

Надо сказать, что мои слушатели, не только учившие психологию по «Основам психологии» С. Л. Рубинштейна, но и творчески писавшие мне целые общие тетради ответов на вопросы, поставленные мною с позиций идей Сергея Леонидовича, в дальнейшем стали воспитателями ряда поколений летчиков, а многие из них — и руководящими работниками авиации, поддерживавшими развитие психологии в те годы, когда во всех других областях, кроме АПН и авиации, она фактически была ликвидирована. В этом нельзя не видеть роли и значения «Основ психологии», по которым они учились.

В этой же книге С. Л. Рубинштейна была фраза, сразу привлекавшая мое внимание, указывавшая на необходимость, «учитывая естественные границы тестовой методики, дополнять ее другими методологическими средствами»*. Напомню, что эти слова были написаны еще в период всеобщего увлечения тестами! Именно под влиянием этих слов я, опираясь на принцип единства сознания, личности и деятельности, сочетал его с практикой изучения курсантов в процессе летного обучения и, сам учась в это время летать, на Каче начал думать и работать над методом обобщения независимых характеристик (сокращенно МОНХ)⁸⁵. Сейчас он уже вошел в ряд учебников психологии, и ему посвящен ряд моих работ начиная с опубликованной в 1949 г.** , просмотренной и одобренной Сергеем Леонидовичем, вплоть до последней***. Недавно я подсчитал,

* Рубинштейн С. Л. Основы психологии. М., 1935. С. 87.

** См.: Платонов К. К. Основные принципы и методы изучения летных качеств курсантов // Медицина на воздушном транспорте. М., 1949. Вып. II.

*** См.: Платонов К. К. Метод обобщения независимых характеристик в социальной психологии // Методология и методы социальной психологии. М., 1977.

что только в Военно-политической академии им. В. И. Ленина этот метод уже использован в более чем тридцати защищенных там кандидатских диссертациях.

Это позволяет считать, что «метод обобщения независимых характеристик», полное название которого, если не бояться его длины, — «получаемых при изучении личности в различных видах ее деятельности», и стал тем «другим методологическим средством», о котором в 1935 г. писал Сергей Леонидович.

Идеи Сергея Леонидовича явились также теоретической основой для создания в авиации специальных самолетов-лабораторий, дающих возможность объективно изучать летную деятельность, а через нее и летные способности.

Мысли Сергея Леонидовича нашли самое разностороннее отражение в практике авиации. Так, у меня сохранился номер фронтовой газеты «Доблесть» со статьей «Изучение личных особенностей летчика», трактующей эту задачу с позиций трех вопросов, поставленных для целей изучения личности Сергеем Леонидовичем: «Что он хочет? Что он может? Что он есть?»

Положения С. Л. Рубинштейна легли в основу всех дальнейших работ по авиационной психологии в 1950-х годах, проводившихся с позиций единства личности и деятельности. Результат был мною обобщен в статье «Психология летного труда» (во втором томе «Психологической науки в СССР») и одноименной монографии (1960). Сейчас с позиций Сергея Леонидовича ведется исследование летных способностей в авиации. Так что линия материализации идей Сергея Леонидовича в авиации прослеживается достаточно отчетливо и еще не закончена.

Хотя я был лично знаком с С. Л. Рубинштейном давно, с 1930-х годов, по ряду совещаний и конференций, но совпадение наших путей в то время было больше заочным. Более существенные мои с ним встречи начались во время войны.

Переработав на фронте (я тогда был врачом авиационного корпуса) на основе опыта Орловско-Курской операции наши с Шварцем «Очерки психологии для летчиков», написанные еще в 1936—1937 гг., я отправил их 22 октября 1943 г. Сергею Леонидовичу.

Через месяц, 20 ноября 1943 г., я прилетел к нему и получил ряд ценных замечаний, в том числе и «совет» — «поменьше Павлова». 1 февраля 1945 г. исправленная по его указаниям (кроме совета о Павлове) книга была послана ему издательством с просьбой взять на себя ее редактирование. 26 августа и 23 октября 1945 г. у нас состоялись подробные беседы об этой рукописи, очень внимательно прочитанной Сергеем Леонидовичем. Он сделал еще ряд учтенных мною в дальнейшем замечаний и дал издательству очень хорошую рецензию, однако кончавшуюся словами: «Взять на себя редактирование, я не считаю возможным, т. к. для этого необходимы отсутствующие у меня знания авиации». Но это была только дипломатическая и благожелательная отговорка. Мне он прямо сказал: «В книге слишком много Павлова, а для меня это неприемлемо...» Я начал так горячо спорить, что спохватился и хотел было уйти. Но Сергей Леонидович, не отпустив меня, долго и заинтересованно продолжал разговор, который я потом вспоминал как «экзамен». В конце более чем часового обмена мнениями он с каким-то раздумьем сказал: «Нет, все-таки не могу!»

Эти мои встречи с Сергеем Леонидовичем в ту первую мирную осень проходили в его кабинете заместителя директора в Институте философии на Волхонке, 14. Я их запомнил очень хорошо, так как они вызвали у меня множество мыслей, «перевариваемых» мною потом несколько месяцев. Как сейчас вижу его большой письменный стол и изящные очертания его фигуры, сидящей спиной к окну. В его тонком лице и сдержанных манерах проглядывал некий «аристократизм» в лучшем смысле этого слова. Говорил он спокойно, приостанавливаясь в раздумье, как бы обращаясь не только к собеседнику, но и к самому себе.

Я не знаю, какую роль этот наш разговор сыграл тогда в глубоком пересмотре Сергеем Леонидовичем своих взглядов. Но через несколько лет он стал основным идеологом рефлেকторной теории психики. Все же я уверен, что в октябре 1945 г. «слишком много Павлова» для Сергея Леонидовича было еще неприемлемо и что длительная наша беседа о роли учения Павлова для психологии поддерживалась по его инициативе. Но так или иначе единственное

наше принципиальное разногласие было через некоторое время Сергеем Леонидовичем устранено.

Помню я Сергея Леонидовича и на знаменитой Павловской сессии, начавшейся 28 июня и кончившейся 4 июля 1950 г. Сергей Леонидович выступал вечером 1 июля вторым из психологов, первым был Б. М. Теплов, третьим и последним — В. Н. Колбановский. Всем другим психологам среди 82 выступавших слова дано не было!

Выступление С. Л. Рубинштейна было спокойное, деловое и отнюдь не покаянное. Говорил он о связи учения Павлова и ленинской теории отражения. В конце он сказал: «Нет никакой возможности и смысла нагромождать далее проблему на проблему, пытаюсь раскрывать их внутреннее содержание и решение на основе павловского учения. Это предмет не 20-минутного выступления, а целой книги».

Вскоре такую книгу под его редакцией прочли и философы, и психологи, и физиологи, и многое стало на свое место.

Но вернусь немного назад, к началу 1940-х годов, когда вышел второй, более капитальный учебник Сергея Леонидовича*. Предисловие к нему он начинал словами: «Настоящая книга выросла из работ над предполагавшимся 2-м изданием моих “Основ психологии”, вышедших в 1935 г. Но, по существу, как по тематике, так и по ряду основных своих тенденций — это новая книга».

Она (ее уже не одно поколение студентов называет «кирпич») принесла ему звание члена-корреспондента АН СССР. Но она доставила ему и немало горьких минут, так как вначале была встречена в штыки некоторыми представителями старшего поколения психологов.

Мне пришлось в 1946 г. присутствовать на очередной «проработке» в принятом тогда стиле этой замечательной книги. А. Н. Леонтьев, основной противник Сергея Леонидовича, будучи тогда редактором моих «Очерков психологии» и считая меня «своим человеком», раскрыл мне глаза на подоплеку этой проработки: «Как же можно ему простить то, что он обобщил сотни работ! Это ведь не его работа, а коллективная. Так ее и надо было оформлять, а то получился плагиат!»

* Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1940.

Я тогда возразил маститому обвинителю, напомнив ему ленинский принцип «обсуждение коллегиальное, а решение единоличное», который, думаю, должен распространяться и на обобщения, тем более что в данном случае речь идет об учебнике!

Но как же остро я вспоминал несправедливость упреков Сергею Леонидовичу в плагиате, когда сам через 12 лет лежал в параличе после инсульта, причиной которого было подобное же обвинение! Я тоже обобщил в рукописи книги «Психология летного труда» все работы, сделанные в этой области, и также везде указал авторов и год работ. И тоже при обсуждении ее на партийном собрании 28 апреля 1958 г. услышал: «Это же плагиат!»

Нервная система моя была ослаблена эмоциональным переутомлением и только что перенесенным тяжелым гриппом. Я не смог оценить низкий культурный уровень выступавшего. Говорят, я побледнел... и спазм мозгового сосуда сделал свое дело. С тех пор у меня на всю жизнь остался парез левой руки и левой ноги. Рукопись же «Психологии летного труда», уйдя в издательство, пока я лежал в госпитале, была издана в 1960 г. без изменений.

Но вернусь к послевоенным 1940-м годам. Я продолжал поддерживать контакт с Сергеем Леонидовичем и часто консультировался с ним, особенно когда мне в сентябре 1947 г. были поручены организация отдела экспериментальной психологии в Институте авиационной медицины и руководство им.

Запомнился мне один разговор с ним об интуиции. Дело в том, что я давно интересовался этой проблемой. Под впечатлением доклада С. Г. Геллерштейна об антиципации, сделанного 29 марта 1948 г. на V научной конференции врачей истребительной авиации противовоздушной обороны страны, я решил разобраться в так называемой «летной интуиции». Мне думалось, что антиципация в случае ее проявления у летчика в полете близка к интуиции. Я специально поехал к Сергею Леонидовичу как к признанному специалисту по теории мышления. Его любимый образ мышления как «вычерпывания» сущности из явления всегда казался мне паразитально глубоким.

— Сергей Леонидович! Можно ли интуицию понимать как высокоавтоматизированный умственный навык? — в лоб, кратко

спросил его я и тут же пояснил свою мысль: — Ведь интуиция бесспорно существует, но одними понимается как мать информации, что ставит ее над мышлением, другими же, и в частности мною, как дочь информации, как обобщенный опыт. Летчик интуитивно выбирает одну посадочную площадку и отказывается от другой только в том случае, если раньше это делал осознанно много раз и оценивал каждый раз результат выбора. Поэтому я и спрашиваю: не есть ли это автоматизированный мыслительный навык?

Сергей Леонидович не любил «сходу» отвечать на вопросы. Он предпочитал подумать, поразмыслить, иногда продолжить разговор через неделю.

— Специально проблемами интуиции я не занимался. Но в вашей формулировке понимания интуиции я ошибки пока не вижу, — уклончиво ответил он, избегая более подробного ответа. — Я подумаю над этим.

Но вернуться к обсуждению сущности интуиции нам позже как-то не пришлось.

В 1957 г. крупнейшим событием для советской психологии явился выход книги С. Л. Рубинштейна «Бытие и сознание». А через два года, в 1959 г., была опубликована его последняя книга «Принципы и пути развития психологии». Ее он начинал следующими словами от автора: «Настоящая книга тесно связана с моей недавно вышедшей в свет книгой “Бытие и сознание” ...» А кончал он это введение так: «Работать над развитием науки хорошо, но сделать ее доступной людям не менее важно. Послужить хоть в какой-то мере решению обеих этих задач — мое величайшее желание».

Обе эти книги подытоживают основные положения С. Л. Рубинштейна, вошедшие в золотой фонд советской психологии. Сформулированные в них идеи Сергея Леонидовича явились толчком для дальнейшего развития марксистской психологической мысли, в частности и моих работ.

О принципе единства сознания и деятельности я уже говорил. Но ведь именно этот принцип лежит в основе самого краткого, но и самого полного и, главное, равно приемлемого для всех наук, изучающих личность, ее определения: личность — это человек как

носитель сознания. Лучшего ведь определения, отвечающего этим требованиям, пока еще не дано. А исходит оно из идей Сергея Леонидовича.

А страстный протест его против аморфной целостности личности, «превращающей ее психический облик в бесформенную туманность», по существу, является началом поисков структуры личности в советской психологии.

Начатая Сергеем Леонидовичем «борьба на два фронта» — с функционализмом и гештальтизмом⁸⁶ — привела меня еще в 1940-х годах и продолжает вести и поныне к разработке концепции динамической функциональной структуры личности. И если этой концепции суждено быть признанной советскими психологами, в этом будет заслуга тех идей Сергея Леонидовича, которые я старался развить.

Сергей Леонидович внес ясность и в общую теорию о способностях, связав ее с теорией личности. Его определения: «психическое свойство — это способность индивида на определенные объективные воздействия закономерно отвечать определенными психическими деятельностями» («Бытие и сознание», с. 287) и «способности — это закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей» (там же, с. 292) — позволили построить классификацию способностей, деля их на элементарные (соответствующие первому определению) и сложные (соответствующие второму).

О способностях он говорил, что «надо учитывать и их безусловно-рефлекторную основу» (там же, с. 289), и тем приостановил развитие взглядов А. Н. Леонтьева на способности, получивших в дальнейшем название «неогельвецианских».

Предельно четко сформулированные Сергеем Леонидовичем идеи, ставшие уже хрестоматийными: «при объяснении любых психических явлений личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия» (там же, с. 308) и «индивидуальные свойства личности — это не одно и то же, что личностные свойства индивида, т. е. свойства, характеризующие его как личность» (там же, с. 309), — нашли столь широкий отклик, что позволили рассматривать личностный подход в качестве принципа советской психологии.

В течение ряда лет Сергей Леонидович работал над книгой, которую он считал следующей ступенью после «Бытия и сознания», назвав ее «Человек и мир». Но 11 февраля 1960 г. он скончался, не успев ее закончить. Стараниями его учеников, главным образом К. А. Славской, она была опубликована в посмертном сборнике его работ «Проблемы общей психологии» (М., 1973).

Вскоре после кончины Сергея Леонидовича Екатерина Васильевна Шорохова, занявшая его должность, и П. Н. Федосеев, бывший тогда директором Института философии, пригласили меня на работу, поручив проблему «личность и труд».

С тех пор и по данный момент, когда пишу эти строки, я член коллектива, созданного Сергеем Леонидовичем, и считаю себя последователем его школы.

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЛАДЫГИНА-КОТС

Впервые я прочитал это имя в зоопсихологический период моей жизни, работая в ИРЕ, в начале 1920-х годов, на книжке с интригующим названием «У “мыслящих” лошадей. Личные впечатления в беглом освещении истории вопроса» (М., 1914). На обложке была изображена лошадь, созерцающая школьную доску, разграфленную на клетки с числами и буквами. В тексте тоже было много аналогичных фотографий.

«Умный Ганс» бывшего немецкого учителя математики фон Остена привлек к себе в 1904 г. внимание всего мира. Это была «лошадь с небывальными математическими способностями», как тогда писали все газеты. Ее хозяин, фанатичный старик, четырнадцать лет обучал своего питомца, прежде чем решился предать свои опыты гласности. Он занимался с Гансом, как с ребенком, применяя два своих испытанных принципа — наглядность и методичность. С помощью кеглей он ознакомил лошадь с числами, научил вычислению, четырем действиям арифметики, а потом и чтению, обозначая каждую букву алфавита определенным числом. Ответы Ганс выражал ударами копыт. Свою идею «доказать способность лошади к мышлению» фон Остен выпол-

нял с железной настойчивостью и немецкой педантичностью, выводя Ганса во двор на занятия ежедневно в полдень, в любую погоду. Когда он написал о своем желании безвозмездно продемонстрировать (он предлагал ученым) свою лошадь, умеющую мыслить, это вызвало потоки посетителей, движимых любопытством, газетные сенсации и споры и бесконечные научные комиссии, в конце концов ускорившие кончину фон Остена в 1909 г. Но его последователь Карл Краль, человек состоятельный и очень любящий животных, заводит уже нескольких лошадей, в их числе двух арабских скакунов, одну слепую кобылу и пони, и добивается с ними поразительных результатов: лошади производят четыре арифметических действия над многозначными числами, возводят их в степень и извлекают корни!

Вот к этому Кралю и отправилась Н. Н. Ладыгина-Котс со своим мужем, известным московским биологом А. Ф. Котсом. Повели они себя с ним как истинные ученые — без заведомого скепсиса, без предубеждения, без враждебного отношения к результатам его опытов. И Краль, покоренный их неподдельным интересом, не только продемонстрировал своих питомцев и все их достижения, но даже предоставил Ладыгиной-Котс возможность самой, оставшись наедине с животными в конюшне, проделать с ними контрольные опыты.

Описанию этого посещения Краля и его животных и была посвящена книга Надежды Николаевны. Начинала она ее словами: «Мир полон глубоких тайн — надо лишь уметь удивляться и увидеть их...»

Эта книжка привлекла в ИРЕ всеобщее внимание, а мое и недавно. Нам тогда стало известно, что автор — молодая московская специалистка по зоопсихологии позвоночных, работающая в Дарвиновском музее, и жена крупного дарвиниста А. Ф. Котса.

Когда много лет спустя мы с Надеждой Николаевной работали вместе в секторе психологии Института философии АН СССР, она, подарив мне эту свою книгу, написала на ней после моего имени: «С извинением за архаическое содержание этой брошюрки, объяснимое давностью ее издания, от автора». Но при этом она сказала, что и теперь бы подписалась под словами на предпоследней странице: «...оглядываясь назад, мы вспоминаем, что обращение проф. Шиллинга с горячим воззванием к представителям науки с целью

исследования способностей лошади было встречено полным невниманием. А теперешнее подтверждение опытов, произведенных Краем, признанными авторитетами встречает неслыханное до толе игнорирование». Стиль ее книги устарел, но наблюдения и выводы не устарели. Исследования психики лошадей, по существу, строго научно еще не начаты.

Второе, более близкое, но все же еще заочное знакомство мое с Надеждой Николаевной состоялось чуть позже, когда я году в 1924 запоем прочитал ее только что вышедшую книгу «Исследование познавательной способности шимпанзе». Эта замечательная книга вышла в свет, по словам ее автора, «в пору назревающего расцвета молодой науки — зоопсихологии, в пору, когда одни ее адепты ограничивают выявление поведения животного, насильственно замыкая его в тесные, искусственные условия эксперимента (американская школа), другие, “разговаривая” с животным при посредстве стуков, приписывают ему человеческую степень развития его способностей (немецкая школа “краллистов”), третьи (русские рефлексологи), приклеивая ярлык рефлекса ко всем проявлениям психики (от низших до высших ее форм), низводят животное до роли автомата, четвертые (анатоомофизиологи) тешат себя надеждой подойти к познанию душевной жизни путем искусственных, утонченных вивисекций⁸⁷ над животными... При всех этих подходах в лучшем случае возможно лишь частичное и узко одностороннее познание некоторых отдельных, часто не самых существенных, составных частей психики»*.

Надежда Николаевна была зоопсихологом пятого направления, ею не упомянутого, но противопоставленного перечисленным ею четырем. Она, как и ее учитель, основоположник отечественной сравнительной психологии, а точнее этологии, Владимир Александрович Вагнер (1849—1934), изучала психологию животного в условиях, максимально приближенных к естественным.

Сейчас мне трудно сказать, что тогда произвело на меня большее впечатление в этой книге Ладыгиной-Котс — ее безукоризненные

* Ладыгина-Котс Н. Н. Исследование познавательной способности шимпанзе. М.: Пг., 1923.

эксперименты (которые мне в 1964 г., уже после ее смерти, довелось защищать в кабинете вице-президента АН СССР П. Н. Федосеева для издания их протоколов) или... ее косы до колен на фотографиях на многих страницах. Особенно мне нравилась первая, где, как глаasila подпись, «мой шимпанзе Иони» обнимал за шею обаятельную девушку.

Правда, я был несколько разочарован, прочтя, что в книге описывались опыты, проделанные в 1914—1916 гг., то есть когда мне не было десяти лет!

Свои исследования Надежда Николаевна углубила в 1925—1929 гг., проведя их параллельно на своем сыне Руди. Это сравнение полутора-четырёхлетнего шимпанзе и ребенка, изучавшегося с момента рождения до четырех лет, описано ею в следующей ее книге «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» (М., 1935).

Когда читаешь эти книги, начинаешь понимать, почему зоопсихология, эта интереснейшая отрасль нашей науки, находит так мало приверженцев и так трудно продвигается вперед. Работа с животными требует полной отдачи себя, своей личной жизни, всей своей судьбы, а также своих близких! Бесконечное терпение и режим! Каждое нарушение его отбрасывает человека в его общении с животным часто назад, на исходные позиции. Надежда Николаевна принадлежала именно к такому типу ученых, обладая всеми качествами личности, нужными для такого научного подвига!

Но эту упомянутую последнюю книгу я прочел значительно позже. А в 1925 г. в Москве произошло наконец мое «очное» знакомство с Надеждой Николаевной. Я разыскал ее в Дарвиновском музее на Большой Пироговской улице, чтобы получить ответ на занимавший меня вопрос, заданный мной на следующий день и Н. К. Кольцову. Признаюсь, я был немного огорчен, увидев косы уложенными вокруг головы (ей в это время, как я узнал потом, было 36 лет). Но приветливость и ласковая доброта ее глаз примирили меня тут же с изменением ее внешности. Я поделился с ней своими мыслями и сомнениями: «Надежда Николаевна, как вы считаете, в какой связи находится формирующее влияние естественного отбора на инстинкты

и различие огромных потомств у беспозвоночных, а также низших позвоночных и весьма малого потомства у высших позвоночных? Есть ли эта связь? И что причина, а что следствие?»

Ответ Надежды Николаевны, рьяной и последовательной дарвинистки, меня полностью удовлетворил. Я его так записал вечером в записную книжку: «Уменьшение числа потомства есть результат все возрастающей в процессе эволюции позвоночных животных способности их к научению. Чем выше способность научения, тем меньше нужно потомства для сохранения вида. А инстинкты естественный отбор может формировать, только выбирая и закрепляя их при наличии огромных потомств».

О насекомых Надежда Николаевна как тогда, так и потом, когда мы работали вместе, воздерживалась высказываться, считая, что это не ее область. Но если в нашей беседе в 1925 г. еще полностью отсутствовало понятие отражения, то в 1960-х годах мы о нем говорили много, и она полностью одобряла мои концепции в проблеме уровня отражения у беспозвоночных и позвоночных.

Уже работая в Институте философии, Надежда Николаевна издала в 1959 г. еще одну монографию «Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян (шимпанзе)». Последний из протоколов опытов, данных в приложении к этой книге, датирован 15 сентября 1948 г. На экземпляре, подаренном мне, стоит дата 9 ноября 1961 г.

Мог ли я ожидать, что, когда Надежда Николаевна через два года скончается на 75-м году жизни 3 сентября 1963 г., а в Институте философии все будут в отпусках, мне придется взять на себя организацию ее похорон и говорить прощальное слово над ее могилой?

БОРИС ГЕРАСИМОВИЧ АНАНЬЕВ

С Борисом Герасимовичем Ананьевым я познакомился, когда в октябре 1929 г. начал работать в Институте мозга, где он тогда был аспирантом. Молодой стройный красавец-армянин, с точеными чертами лица и разлетом черных бровей, он был больше похож

на горца-осетина. Казалось, он вот-вот заскользит по полу в лезгинке! Может быть, только мне, влюбленному в Кавказ и уже успевшему проехать верхом Военно-Сухумскую, «пробежать за три дня» Военно-Грузинскую и форсировать на велосипеде Военно-Осетинскую дороги, мерещились всюду дети гор! Но потом оказалось, что за горца его принимали и другие.

Позже я узнал, что он моложе меня на год (он родился 14 августа 1907 г.) и что тоже с 1925 г. связал свою судьбу с психологией, начав еще студентом работать ассистентом кафедры психологии Владикавказского (теперь Орджоникидзе) педагогического института. Окончив в 1928 г. в нем же исторический факультет, он сразу поступил в аспирантуру Института мозга. В то время у нас почти не было общих интересов: Борис Герасимович больше занимался педагогической психологией и школьниками, а я работал по физиологии у Л. Л. Васильева. Но как человек он мне всегда был симпатичен и приятен.

С тех времен жизнь Бориса Герасимовича тесно и неизменно связана с Ленинградом. Там он перенес все тяготы блокады. С 1944 г. он профессор и заведующий кафедрой психологии организованного им психологического отделения Ленинградского университета, с 1955 г. — академик АПН, а с 1966 г. — декан созданного им же психологического факультета в университете.

Сталкивались мы с Борисом Герасимовичем, живя в разных городах, нечасто, но всегда тепло. Особо хочется выделить три продолжительные встречи. С 30 мая по 4 июня 1956 г. он руководил совещанием по вопросам психологии личности в Ленинграде. Это был первый форум ученых, посвященный проблеме, занимавшей Бориса Герасимовича много лет. Я, в то время еще военный и авиационный врач, доложил об «опыте изучения летных способностей». Борис Герасимович выступил с докладом «О взаимоотношениях в развитии способностей и характера» и подытоживал выступления других. Мы обменивались мнениями. И именно этот его доклад побудил меня серьезно и вплотную заняться доложенной им проблемой. В результате я кратко остановился на ней в моей книге «Проблемы способностей» (М., 1972) и посвятил ей целую статью «Способность

и характер» в книге «Теоретические проблемы психологии личности» (М., 1974).

И Борис Герасимович, и я считали, что и способности, и характер — это комплексные качества личности, отличающиеся от всех других элементарных ее свойств. Я же в дальнейшем, развивая идеи его доклада в 1956 г., пришел к выводу, что талант — это способности, поднявшиеся до уровня характера.

Вторая наша встреча, о которой я хочу рассказать, состоялась также в Ленинграде, на II Всесоюзном съезде психологов 21–28 июня 1963 г. На нем впервые была предусмотрена секция инженерной психологии, и Борис Герасимович, как председатель оргкомитета, попросил меня руководить ею. Но у меня об этой отрасли психологии давно было свое мнение, и я согласился только при условии, что, подводя итог, я его сформулирую во всеуслышанье.

«Инженерная психология, — сказал я, — это только часть психологии труда, нацеленная на гуманизацию новой техники. И секция, которую вы мне предлагаете, так и должна была бы называться — секцией психологии труда. Иначе мы противоречим марксизму, рассматривающему процесс, орудия и продукт труда как единую систему, которую в своем аспекте призвана изучать психология труда. Науки различаются не по тому, кто ими занимается, а по своему предмету. На секции есть ряд докладов, выходящих за пределы инженерной психологии, изучающих не технику, а сам процесс труда».

Борис Герасимович согласился со мной, и я, закрывая 28 июня секцию, повторил мысли, высказанные ему и нашедшие его поддержку. Я и поныне считаю и, где можно, говорю и пишу, что инженерная психология, а точнее, психология техники — это важнейшая в эпоху научно-технической революции, но только лишь отрасль психологии труда. И меня всегда удивляло, что Борис Герасимович, соглашавшийся с этим, все же у себя на психологическом факультете организовал кафедру инженерной психологии, а не психологии труда. Дискуссию на эту тему, начатую на II съезде, я продолжал в ряде выступлений, а через 12 лет опубликовал статью «Взаимодействие наук, изучающих труд» в сборнике «Проблемы инженерной психоло-

гии» (Ярославль, 1975). Но Бориса Герасимовича тогда уже не было в живых.

Моя третья и, увы, последняя встреча с Борисом Герасимовичем оказалась довольно растянутой во времени. Началась она заочно, когда я прочитал его интереснейшую, со многими оригинальными мыслями книгу «Человек как предмет познания» (Л., 1968), присланную им мне. Психологам и педагогам было ясно, что этот заголовок перекликался с заголовком знаменитой книги педагога К. Д. Ушинского, сделавшей эру в отечественной педагогике, — «Человек как предмет воспитания» (М., 1860).

Читая монографию Бориса Герасимовича, мне очень хотелось не только поговорить с ним по многим поднятым там вопросам, но и поспорить по одному из них. Эта возможность мне вскоре представилась, поскольку журнал «Вопросы психологии» заказал мне рецензию на нее. В этом отзыве я изложил все мои согласия и несогласия с автором, написав для начала следующие слова: «Книга начинается с заголовка. Заголовок этой книги не только бросок, но и как нельзя более емко и точно соответствует ее замыслу. Эта книга — монография о человекознании»*.

Заместитель редактора журнала В. Н. Колбановский несколько «подправил» мою рецензию, сократив и сгладив острые углы. Но я уже послал Борису Герасимовичу копию первоначального экземпляра, отправленного в журнал, за что он меня очень тепло поблагодарил.

Здесь я позволю себе некоторое отклонение от темы. Дело в том, что издательства предпочитают, чтобы отзывы были «секретными», скрывая их от рецензируемого. Я же считаю безымянные рецензии аналогом анонимок и «подметных писем» времен бироновщины и бериевщины, не к ночи будь они помянуты! Ученый всегда должен критиковать «с открытым забралом» и видеть лицо критикуемого. Поэтому, когда меня просят дать рецензию, я предупреждаю, что копию обязательно пошлю автору.

Спорил я в своем отзыве с Борисом Герасимовичем о его понимании индивидуальности не как свойства и человека как организма,

* Вопросы психологии. 1976. № 3. С. 144.

и человека как личности, а как чего-то третьего и стоящего над тем и другим. Этому и была посвящена наша беседа при последней личной встрече в Тбилиси 24 июня 1971 г., в последний день IV Всесоюзного съезда Общества психологов.

Он попытался защищать свою позицию, но я поставил вопрос так:

— Как же согласовать ваше понимание индивидуальности, расположенной по вертикали над личностью, с пониманием ее В. И. Лениным, считавшим, что «“индивидуальности” существуют не только в духовном, но и в физическом мире»^{*}?

Оказалось, что Борис Герасимович этого положения Ленина не знал. Он крепко задумался и сказал:

— Действительно, в этом вопросе надо разобраться. Я это сделаю и опубликую свое мнение.

Я ждал этого. И когда Августа Викторовна Ярмоленко, мой многолетний ленинградский друг, писать о которой мне еще мешает горечь недавней ее утраты, как всегда, прислала мне очередной выпуск серии «Человек и общество» (Л., 1973, вып. XIII), я с особым вниманием прочитал последнюю, посмертную статью Бориса Герасимовича «Проблемы комплексного изучения развития интеллекта и личности». И я убедился, что теперь мы одинаково смотрели на процесс индивидуализации личности.

Более подробно и четко написать об изменении своего понимания индивидуальности Борис Герасимович не успел. Он скончался скоропостижно 18 мая 1972 г. Та же Августа Викторовна мне сообщила в письме, как она, подойдя к окну, увидела, что Борис Герасимович вышел из университета и вдруг рухнул на камни мостовой.

Но в его книге «О проблемах современного человекознания» (М., 1977), изданной уже после его кончины, это наше единопонимание индивидуальности опять оказалось нарушенным. Изменил ли он вновь свое мнение или не успел переделать ранее написанное? Не знаю. И не узнаю никогда.

* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 430.

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ТЕПЛОВ

Писать что-либо о Борисе Михайловиче Теплове сейчас, после выхода в свет подробных и прочувствованных воспоминаний о нем Анатолия Александровича Смирнова и Александра Владимировича Запорожца, на глазах которых прошел весь его научный путь, и после отличного психологического портрета его личности, данного Михаилом Григорьевичем Ярошевским*, очень нелегко.

Но и у меня встреч и бесед с Борисом Михайловичем было так много, что о них можно было бы написать книгу. Поэтому я постараюсь уложить их в несколько наиболее запомнившихся мне эпизодов. Но сначала немного о нем самом.

Родился Борис Михайлович Теплов 21 октября 1896 г. в Туле, в семье инженера. И по рождению, и по воспитанию он был интеллигент. Окончил Тульскую классическую гимназию, знал латынь, немецкий и французский, с детства учился музыке и очень ее любил. В 1914 г. поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, где со второго курса (как было положено) начал специализироваться у Г. И. Челпанова по психологии. Но шла война, и Борис Михайлович был призван в армию, попал на фронт, где после Октябрьской революции солдаты избрали его, как прапорщика, на командную должность. Демобилизовавшись, он успел в 1921 г. окончить университет, но вскоре был опять призван в армию и назначен начальником опытной научной станции Школы маскировки. В дальнейшем он как психолог организовал лабораторию зрительных восприятий маскировочного отдела Военно-инженерного научно-испытательного полигона РККА. Эта лаборатория помещалась в Малом Власьевском переулке, в сарае, бывшей конюшне, в которой будто бы когда-то Малюта Скуратов держал своих скакунов!

Об исследованиях Бориса Михайловича по теории и практике маскировки когда-нибудь (надеюсь, скоро!) будет написана специальная книга. Ценно, что вся эта работа велась не изолированно,

* См. вводные статьи в сборнике: Психология и психофизиология индивидуальных различий / Под ред. А. А. Смирнова. М., 1977.

а в тесной связи с другими московскими психологами — К. Н. Корниловым, А. А. Смирновым, П. А. Шеваревым, С. В. Кравковым. С тех пор вся жизнь Бориса Михайловича была связана с этим коллективом Института психологии, где он систематически был заместителем директора по научной работе (и у В. Н. Колбановского, и у А. А. Смирнова), являясь не только автором и редактором ряда пособий по психологии, но и «душой» этого института.

Всего этого я еще не знал, когда Лев Михайлович Шварц в 1937 г. познакомил меня с Борисом Михайловичем как с одним из редакторов, в числе которых был и он сам, учебника психологии для педагогических институтов.

Написанные нами с Л. М. Шварцем «Очерки психологии для летчиков» были задержаны и пока не издавались, и мы с ним договорились, что многие идеи нашей книги он включит как в свои главы о навыках и эмоциях, так и, воспользовавшись редакторской властью, в некоторые другие разделы учебника. Но это надо было согласовать и с третьим, кроме Б. М. Теплова, редактором — К. Н. Корниловым, что уже и было сделано.

Наша встреча с Борисом Михайловичем состоялась в Институте психологии, тогда единственном не только в Москве, но и в Советском Союзе. Помню, он меня восхитил своим удивительно вдумчивым и серьезным отношением к обсуждаемым мыслям. Это выдавало глубокую внутреннюю культуру. Не особенно правильные черты чуть скуластого, с крупными губами лица очень живо реагировали на его даже мимолетные чувства и настроения. Несмотря на привычную сдержанность ученого, лицо выдавало артистическую натуру. Оно было эмоционально-подвижным, если можно так выразиться, и запоминалось сразу и надолго. Поэтому каждый разговор с ним, помимо естественного научного интереса, доставлял мне художественное удовлетворение.

Борис Михайлович вполне одобрил наше с Шварцем определение эмоций (от которого я, впрочем, впоследствии отказался, поняв его ошибочность) и согласился вставить его в учебник.

Однако помню, что на мой вопрос: «Почему же в учебнике нет главы о способностях?» — он отвечал очень уклончиво, хотя в это

время уже занимался проблемой способностей. «Не будем дразнить гусей, — сказал он, — а работать над этим вопросом нужно, и эта глава появится в учебниках».

Дело в том, что тогда, в конце 1930-х годов, даже заикаться о каких бы то ни было способностях являлось ересью. Было твердо усвоено, что все люди рождаются одинаковыми и, следовательно, нет плохих учеников, а есть плохие учителя!

Работая в предвоенные годы с Львом Михайловичем Шварцем, я очень часто встречался в Институте психологии и тепло беседовал с Борисом Михайловичем.

Отечественная война, во время которой он активно занимался задачами маскировки, прервала наш контакт надолго.

Во вновь созданном Институте авиационной медицины мне была поручена организация отдела экспериментальной психологии. Одним из моих первых мероприятий был сделанный мною 9 декабря 1947 г. на ученом совете Института психологии доклад «О задачах и перспективах развития психологии в авиации». Борис Михайлович был тогда опять заместителем директора института.

На этом заседании он очень поддержал мои намерения и попытки опереться при изучении личности и способностей курсантов авиашкол на методы физической культуры. Помню его эмоциональную реплику со свойственной ему живостью реакции: «Это великолепно!»

Касаясь проблемы способностей, он очень настойчиво советовал усилить разработку понятия летных способностей, о чем я в докладе, по его мнению, говорил меньше, чем следовало. Вот его слова: «Чтобы разрабатывать проблему способностей, надо иметь не только способности, но и смелость! Вы же на фронте летали на боевые задания! Вам ли бояться?»

Доказательством того, что я не боялся, явилась моя многолетняя работа в этой области, итогом которой была моя монография*.

На последней странице ее я написал: «Проводя красной нитью принцип личностного подхода к рассмотрению способностей, как и всех психических реальностей, мы опирались на взгляды

* Платонов К. К. Проблемы способностей. М.: Наука, 1972. С. 310.

С. Л. Рубинштейна. Рассматривая же конкретные способности, мы исходили из положений Б. М. Теплова. Это не значит, что мы не дискутировали с ним как на страницах настоящей книги, так и в свое время в личных беседах, оставивших неизгладимый след в нашем сознании... И если в настоящей книге удалось хоть несколько уточнить этот путь, уже намеченный С. Л. Рубинштейном и Б. М. Тепловым, автор будет считать свой труд не напрасным».

Борис Михайлович вспомнил свои мысли, высказанные на том памятном заседании ученого совета в 1947 г., позже, когда я в 1960 г. делал в его присутствии доклад «История и теория отбора летчиков» на психологической конференции в Ереване, а он выступил с программным докладом «О некоторых общих вопросах разработки истории психологии».

Мне кажется, к тем же первым послевоенным годам я должен отнести и мою встречу с Борисом Михайловичем и его женой в театре Ленинского Комсомола. Шла модная тогда пьеса «Моль» с Гиацинтовой в заглавной роли. Оказалось, что мы сидим рядом в партере. Это было случайно, так как мы не были знакомы семьями и взять заранее эти совместные билеты не могли. Борис Михайлович, видимо, очень любил театр, и его живое лицо выражало истинное удовольствие от прекрасной игры актеров. Вместе с тем, я помню, он критиковал оттенки туалетов «Моли» и вообще гамму красок, избранную художником для постановки спектакля. Тут сказался его требовательный вкус и опыт работы по цветовому восприятию. Нас с женой, как неискушенных рядовых зрителей, работа художника удовлетворяла.

Наиболее патетические мои воспоминания о Б. М. Теплове связаны с летом 1950 г.

Всю Павловскую сессию, это тяжелое испытание для многих психологов, от ее первого до последнего заседания, мы с Борисом Михайловичем находились, как говорится, бок о бок. Это было не столько по моей, сколько по его инициативе. У меня создалось впечатление, что мои медицинские погоны создавали у него чувство определенности, которого так не хватало всем психологам в эти не совсем понятные для них дни.

Сессия проходила на Кропоткинской, в Доме ученых, и началась 28 июня 1950 г. После вступительных слов президента АН СССР С. И. Вавилова и президента АМН СССР (сессия была «двух академий») И. П. Разенкова, после докладов К. М. Быкова «Развитие идей И. П. Павлова (задачи и перспективы)» и А. Г. Иванова-Смоленского «Пути развития идей И. П. Павлова в области патофизиологии высшей нервной деятельности» начались прения.

Понимая, что слова мне не дадут, я написал свое выступление и, перед тем как передавать его в президиум, показал Борису Михайловичу. Он в целом одобрил написанное, но посоветовал уточнить формулировку о необходимости изучения способностей. (В этом мы были с ним всегда единодушны!)

Хотя было объявлено, что несостоявшиеся выступления будут опубликованы наравне с другими, доложенными, мое, как можно убедиться, прочтя изданные стенограммы, напечатано не было.

Борис Михайлович выступал последним в первый день прений (то было вечером 29 июня), но первым из психологов. Он очень перед этим волновался, но говорил четко и уверенно. Давая характеристику всех учебников психологии, он сказал: «В отношении книги С. Л. Рубинштейна достаточно сказать, что по точному подсчету общий объем всех кусков текста, в какой-либо мере затрагивающих вопросы, связанные с учением Павлова, составляет пять страниц на 685 страницах!»

Говоря о своем учебнике для средней школы, он отметил: «Лишь в четырех местах учебника имеет место деловое использование учения Павлова».

А несколько позже, разбирая ряд других учебников и давая «всем сестрам по серьгам», прибавил: «В книге А. Н. Леонтьева “Очерк развития психики” (1947), посвященной развитию психики от ее возникновения у низших животных до сознания человека социалистического общества, имя Павлова упоминается лишь два раза, и притом по частным поводам».

Слушая Бориса Михайловича, я не мог не вспомнить слов, которыми меня встретил заведующий отделом науки ЦК партии Юрий Андреевич Жданов, вызвавший меня к себе 14 февраля 1950 г., за несколько месяцев до сессии.

— В этой книге, — сказал он мне, указывая на лежавший у него на столе экземпляр моих «Очерков психологии для летчиков», — Павлова многим больше, чем во всех других учебниках психологии вместе взятых! И потому вам должно быть особенно стыдно, что его здесь все-таки так мало!

— Если бы я мог показать вам мою рукопись с сокращениями научного редактора — А. Н. Леонтьева, вы должны были бы ваш упрек адресовать не мне, а ему, — ответил тогда я.

В перерыве между заседаниями предпоследнего дня сессии мы с Борисом Михайловичем стояли в фойе Дома ученых у окна. И я сказал:

— Ну как же так? Это же несовместимо с классическими словами Энгельса! — и я процитировал их на память: «Мы, несомненно, сведем когда-нибудь экспериментальным путем мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу, но разве этим исчерпывается сущность мышления?»*

И тут произошло нечто невероятное и запомнившееся на всю жизнь. Борис Михайлович схватился за голову и закричал, но тихим и звенящим голосом:

— Я тридцать лет пытался не сводить! Попробую свести!

Думаю, что эту минуту надо считать началом работы «школы Теплова» над проблемой «типа нервной системы — темперамента тоже», как говорил И. П. Павлов, назвав так один из своих докладов.

Уже через год среди психологов ходила фраза: «Только Теплов может развернуть и удерживать фронт психологии от зрачкового рефлекса до Лейтеса!»

Натан Семенович Лейтес, ученик Бориса Михайловича, в то время (как и впоследствии) занимался изучением личностей вундеркиндов.

Еще в 1949 г. Борис Михайлович, заведывая тогда кафедрой психологии философского факультета Московского университета, предложил мне руководить дипломной работой бывшего летчика Владимира Яковлевича Дымерского. Борис Михайлович с интересом отнесся к предложенной мною работе, по его совету осторожно

* Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1941. С. 199.

названной «Психологический анализ разрушения летных навыков под влиянием перерыва». А по существу, нам с Владимиром Яковлевым удалось доказать, что один-два воображаемых полета в день (и то не ежедневно) не только сохраняют, но и восстанавливают летные навыки. Эта работа продолжалась и после дипломной, и в результате появилась статья В. Я. Дымерского «О применении воображаемых действий в процессе восстановления и сохранения навыков» («Вопросы психологии», 1956, № 6).

Пользуюсь случаем отметить, что, к сожалению, «метод воображаемых действий» в практике используется еще крайне мало, значительно меньше, чем он того заслуживает.

Тогда же, в начале 1950 г., Борис Михайлович предложил мне читать у него на кафедре 36-часовой курс психологии труда. Это был первый вузовский курс по этой дисциплине, читанный в СССР, и опыта ни у кого не было.

Года через два, когда этот курс себя уже вполне оправдал, вызвав большой интерес студентов, Борис Михайлович как-то мне сказал: «А я должен покаяться. Боясь, что вы откажетесь читать, я вам не сказал, что этот курс до вас был поручен С. Г. Геллерштейну. Но он прочел только три часа, посвятив их апологетике психотехники и попыткам доказательства, что ее нужно восстановить. Это вызвало протест студентов, демонстративно ушедших с перерыва его второй лекции и не явившихся на третью».

Я читал психологию труда в МГУ с 1950 г. до болезни в 1958 г. В результате в 1956 г. в университете был издан «Конспект лекций по психологии труда», а впоследствии — моя монография, о которой я уже говорил.

Не сразу после Павловской сессии (людям нужно было привыкнуть ко всему новому и собраться с мыслями!), через два года, в июле 1952 г., в Москве в Институте психологии состоялось совещание. На нем присутствовало большинство советских психологов, и его с полным правом можно было бы назвать всесоюзным съездом!

Анатолий Александрович Смирнов — старейшина советских психологов, работавший еще с Челпановым, и с 1945 г. директор Института психологии, а с 1950 г. член президиума АПН — сделал

обстоятельный, уверенный доклад «Состояние психологии и ее перспективы на основе учения И. П. Павлова». Как говорится, река успокоилась и постепенно вошла в свое русло!

Но доклад Бориса Михайловича «Об объективном методе в психологии» был одновременно и фейерверком по форме, восхитившим всех, и бомбой замедленного действия.

Ведь это было время, при котором было возможным и даже типичным, например, такое весьма резкое замечание, полученное в моем присутствии уже немолодым, опытным отоларингологом от одного из «учеников Павлова» — главного военного физиолога А. И. Смирнова: «Почему вы применяете субъективный метод, заставляя свидетелеваемого говорить “слышу” или “не слышу”?! Надо применять объективный метод, чтобы он, когда слышит, зажигал красную лампочку, а когда не слышит, — зеленую!»

Вскоре после выступления Бориса Михайловича такие указания стали невозможными. Он сумел в этой проблеме все поставить на свое место. Вот три выдержки из его доклада.

«Никакой здравомыслящий человек не скажет, что военный наблюдатель, дающий такое, например, показание: “около опушки леса появился неприятельский танк”, занимается интроспекцией и дает показание самонаблюдения».

«Самонаблюдение не может рассматриваться как один из методов научной психологии, хотя показания самонаблюдения... являются важным объектом изучения в психологии (как и в ряде других наук)».

«Не означает ли это иногда, что, обращаясь к самонаблюдению испытуемых, экспериментатор, в сущности, перекладывает на них свою задачу? Они, испытуемые, как бы командируются “на место происшествия”, недоступное для самого исследователя»*.

День, когда я слушал этот доклад, на всю жизнь научил меня скептически относиться к различного рода социологическим опросникам, которыми опрашиваемые «командируются на место происшествия»!

* Материалы совещания по психологии // Известия АПН РСФСР. М., 1953. № 45. С. 63, 66, 67.

На этом же совещании 1952 г. я в своем выступлении впервые подробно и публично остановился на разрабатываемой мною концепции динамической функциональной структуры личности. Борис Михайлович готовил стенограммы к печати. Из-за них у нас получилась первая в жизни и единственная размолвка.

Когда я приехал к нему домой после его телефонного звонка, моя стенограмма была сильно сокращена. Он не захотел восстанавливать сокращенного, хотя видел, что я обиделся. Тогда же я отчетливо уразумел, что мои идеи о жизненных показателях темперамента и других свойств личности ему не по душе. Но я так и не понял, почему же он в тот вечер был «совсем другим», не из-за расхождения же наших мнений! Зато я узнал, что Борис Михайлович мог быть «совсем другим», чем обычно.

Примерно через полгода эта его непонятная непоследовательность и неровность подтвердилась, когда 26 февраля 1953 г. он дал мне блестящий отзыв на рукопись сборника «Вопросы психологии в авиации», в котором развивалась эта же концепция.

«Сборник представляет несомненную научную ценность. Трудно сомневаться также в его практической ценности... Сборник в высшей степени желательно опубликовать возможно скорее», — писал он в этой рецензии и был позже искренне огорчен, когда узнал, что сборник остался в архиве неизданным.

Из биографии Конан Дойля известно, что, когда в старости с ним заговаривали о Шерлоке Холмсе, он сердился: «Я же написал не только рассказы о Шерлоке Холмсе!»

Ученый, как и писатель, никогда не знает, что из его произведений его прославит. Имя Бориса Михайловича Теплова не было бы так широко известно, если бы он написал только свою докторскую диссертацию «Психология музыкальных способностей», защищенную весной 1941 г. и изданную отдельной монографией в 1947 г., знакомую с тех пор каждому студенту консерватории, или только статью «Ум и воля военачальника» (1943), изучавшуюся военными и в тылу, и на всех фронтах.

Но, когда он написал учебник для средней школы «Психология» (М., 1946), многократно переизданный на многих языках, его имя

в Советском Союзе узнали все. Это блестящая по стилю и глубоко научная по содержанию книга, прочитать которую весьма полезно каждому культурному человеку, а литератору — и подавно!

К сожалению, из-за учебной перегрузки школьников сами психологи поставили в конце 1950-х годов вопрос об исключении курса психологии из программы средней школы. Мне стало ясно, что ни один школьник больше не прочтет замечательного учебника Бориса Михайловича. А между тем пропаганда нашей науки среди молодежи настоятельно требовалась. Как я уже писал раньше, в апреле 1958 г. у меня был инсульт (как в старину выражались, «удар»), сделавший меня физически неполноценным человеком. Поняв, что жизненный путь мне придется изменить, я, не желая расставаться с психологией и вообще «поддаваться болезни», на пятый день начал обдумывать и писать «Занимательную психологию». Благо, времени было предостаточно, и парализована была, к счастью, левая половина тела! Эта работа и увлекла меня, и отвлекла, и предохранила от отчаянья! Ведь мне было всего 52 года!

Писал я ее, неприкрыто подражая «Занимательной физике» Перельмана, превзойти которую пока никому, и мне в том числе, не удалось. Но я хотел написать ее так, чтобы книга о психологии, столь мало популярной в 1950-х годах, с интересом читалась молодежью. Сейчас психология вошла в моду, и конкурс на психологический факультет — один из самых высоких в университете. Лыщу себя надеждой, что в этом есть крупица и этого моего труда!

Когда «Занимательная психология» в 1962 г. вышла в свет (потом было второе, лучшее издание в 1964 г., и она была переведена на ряд иностранных языков), я получил от Бориса Михайловича письмо, состоявшее из одной фразы: «Прочел не отрываясь Вашу “Занимательную психологию” и благодарю Вас за нее». Я получил от читателей несколько сот писем (и все еще продолжаю их получать), но это было самое дорогое и ценное для меня письмо!

С 17 по 28 апреля 1962 г. я, тогда уже сотрудник Института философии, проверял как член комиссии, назначенной ЦК КПСС,

работу Института психологии. И это давало мне право более активно, чем в предыдущих беседах, спросить Бориса Михайловича (это было 20 апреля):

— Когда же вы и ваши сотрудники займетесь жизненными показателями определения типа нервной системы? Я знаю, что вы этого еще не начали, но хочу знать, — тут я перешел с официального тона на интимный, пользуясь своей миссией, позволяющей поставить вопрос ребром: — Почему вы, Борис Михайлович, ограничиваетесь лабораторными экспериментами?

Сердце у меня замерло: опять рассердится! Но он ответил более спокойно, чем я ожидал:

— Еще не время. Мы еще не готовы сравнивать жизненные показатели с лабораторными. Очень уж много противоречий возникает в результате лабораторных исследований.

С 10 декабря того же 1962 г. по 24 января 1963 г. я опять проверял работу Института психологии уже в качестве председателя комиссии райкома КПСС.

На аналогичный мой вопрос я опять получил аналогичный ответ.

Весной 1965 г. я вновь участил свои встречи с Борисом Михайловичем. Я в это время как раз начал работать над своей монографией «Проблемы способностей». В один из вечеров я более осторожно задал тот же вопрос, что и в январе 1962 г. И он ответил неожиданно радостно и весело:

— Скоро, очень скоро теперь. Ведь сейчас у нас есть проверенные лабораторные методы в виде так называемых «непроизвольных тестов», результаты которых не зависят от желания человека. И с ними можно сравнивать жизненные показатели.

И потом, помолчав, более медленно и задумчиво добавил:

— Скоро, очень скоро.

Это был наш последний личный разговор в неофициальной обстановке.

20 сентября 1965 г. Артур Владимирович Петровский, ныне вице-президент АПН, тогда же профессор кафедры психологии Московского пединститута им. Ленина, защищал докторскую диссертацию «Пути формирования основ советской психологии». Первым

оппонентом у него был Борис Михайлович Теплов. А я писал отзыв на диссертацию от Института философии.

Вскоре после этого, 27 сентября, Артур Владимирович, отмечая свой день рождения, собрал в кабинете «Метрополя» всех историков психологии. Он уже думал о своей будущей монографии «История советской психологии», вышедшей в 1967 г., и хотел узнать их мнения по ряду вопросов. Тем более он интересовался тем, что Б. М. Теплов активно занимался темой истории учений о личности. Был там и я. Почетное кресло для Бориса Михайловича долго пустовало рядом со мной. Он задерживался. Потом стало ясно, что он не приедет.

В эту ночь на 28 сентября 1965 г. его не стало.

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОЛБАНОВСКИЙ

Об этом своеобразном и интересном человеке, с которым я неоднократно встречался с 1930-х годов до последнего периода его жизни и который однажды чуть не погубил меня в самом прямом смысле этого слова, наиболее кратко можно сказать так: он был барометром состояния психологической науки, быстро, четко и безотказно реагирующим на все ее новации, прагматически улавливая в них прогрессивное, но далеко не всегда правильно видя их перспективы. Покажу это на нескольких страницах наших «этапных» встреч. Но сначала немного слов о его биографии.

Родился Виктор Николаевич Колбановский 5 января 1902 г. в Ярославле в семье служащего. Едва успев окончить Ярославскую же гимназию, ушел в Красную Армию, на фронт, став в 1919 г. членом РКП(б). В 1925 г. он уже врач, выпускник I Московского медицинского института. Он всегда этим званием гордился и в дальнейшем постоянно подчеркивал, что он не только психолог, но и невропатолог. В 1931—1932 гг. он учился в Институте красной профессуры и по окончании его был направлен в Институт психологии на пост директора, где и проработал в этой должности до 1936 г. В 1920—1930-х годах он часто бывал в семье Луначарского, поскольку его брат Арнольд был секретарем у Анатолия Васильевича.

Общение с таким блестящим эрудитом и культурнейшем человеком не могло не отразиться на знаниях и интересах и даже на речи Виктора Николаевича.

В 1933 г. я, приехав в Москву в командировку с Нижегородского автозавода, попал на годовой отчет директора в Институте психологии. Размещался институт все в том же «Челпановском» здании, где и сейчас, но назывался он тогда Институтом психологии, педологии и психотехники, а сокращенно, несколько иронически на психологическом жаргоне тех лет «Институтом трех “П”». Мне кажется, тут я впервые и увидел Виктора Николаевича на кафедре, в «Челпановской аудитории». Во внешности его не было ничего особенного. Волосы, расчесанные на пробор, фигура пикнического сложения; весь он был какой-то округлый, и речь тоже лилась округлыми предложениями. Впрочем, помню, что доклад его был красочен и интересен. Но наиболее точно у меня запечатлелась его первая фраза, легшая в основу всего его выступления:

— Когда я как директор прошу у вышестоящих органов средств для исследований по психологии, мне почти ничего не дают; когда я прошу их для исследований по педологии, мне их дают почти столько, сколько я прошу; но когда я прошу их для исследований по психотехнике — их дают даже больше, чем я прошу. Моя задача, соблюдая финансовую дисциплину, удовлетворить научную потребность всех наших «трех “П”». Об этом и пойдет речь.

Я хорошо запомнил эти его слова, так как подобная ситуация была знакома и мне при составлении смет на исследования на горьковском, а позже на челябинском заводах. Но с тем, что он считал в порядке вещей, я активно боролся.

Следующая моя встреча с В. Н. Колбановским была заочной. 23 октября 1936 г. я, как и все читатели газеты «Известия», прочитал на ее четвертой странице подписанный им подвал «Так называемая психотехника». Вот некоторые ее фрагменты, дающие представление о ее направленности и стиле. Начиналась она так: «История психотехники — этой сравнительно молодой “науки” — несложна, но поучительна. Ее основоположником и виднейшим теоретиком был крупный буржуазный психолог, идеалист Вильям Штерн. Исходя

из глубоко реакционной установки, что между интересами капиталистов и рабочих существует “гармония”, Штерн попытался создать новую науку, которая позволяла бы капиталистам возможно “рациональнее” производить профессиональный отбор рабочих, соответствующий требованиям определенной отрасли производства или нуждам отдельного предприятия... Трудно найти еще одну такую “науку”, которая с такой чрезмерной угодливостью и старанием подыскивала бы “научные” обоснования для реакционнейших проявлений капиталистической практики, как это делает психотехника... Так было с педологией. Так обстоит дело с психотехникой. История, теория, методы и практика одной псевдонауки поразительно совпадают с таким же существом у другой. Естественно напрашиваются и те же выводы».

Кончалась статья словами: «Но прежде всего нужно покончить с психотехнической “практикой”. Существующие психотехнические лаборатории и станции нужно ликвидировать, а их работников вернуть к полезному труду».

Термина «психология труда» в статье вообще не было.

Напомню, что этот материал в «Известиях» появился вскоре (через 3,5 месяца) после постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов».

Я, как и подавляющее большинство других читателей, конечно, ничего не знал тогда о приведенном выше разговоре Соломона Григорьевича Геллерштейна в отделе науки ЦК о судьбах психотехники. Он происходил в Москве, я же находился в Крыму, на Каче. И я, как и все другие, понял эту статью В. Н. Колбановского как директивное указание.

Тогда меня это не огорчило. Скорее даже обрадовало. Я ведь все-таки сам, по собственной инициативе повернул две психотехнические лаборатории двух крупнейших заводов на комплексное изучение условий труда!

Но вскоре, когда начали закрывать все подряд психологические заводские лаборатории, в том числе и мною организованные, я понял, какую медвежью услугу оказал В. Н. Колбановский психологам труда!

Когда в мае 1945 г. мы встретились с Виктором Николаевичем в Берлине — оба в должностях армейских невропатологов (он — наземной, я — воздушной армии), я завел разговор после всех «фронтовых тем» об этой его статье в «Известиях». Он смог сказать только одно:

— Я никак не ожидал, что моя статья получит такую трактовку!

— Перечитайте ее на досуге, — сказал я, — и вы поймете, что так писать ее тогда было нельзя!

Но вернемся к довоенному периоду, к концу 1930-х годов.

16 августа 1937 г. я срочно был отозван из Качи в Москву. На сборы и отъезд из авиаучилища мне с семьей были даны сутки. Качинский филиал Института авиамедицины был закрыт несмотря на то, что там к этому времени уже успешно развернулась работа по летным тренажерам⁸⁸ и напряженности в полете, не говоря уже о нескольких курсах психологии, прочтенных мною как всему личному составу школы, так и слушателям курсов усовершенствования инструкторов.

Через несколько дней по моем приезде в Москву командование Института авиамедицины поставило меня в известность, что я представлен к демобилизации «по невозможности использования». Нужно ли сейчас говорить, чем это мне тогда грозило?

Но через некоторое время моя демобилизация была отменена. У меня есть основания считать, что в мою судьбу вмешался Владимир Викторович Адоратский, первый директор Института Маркса-Энгельса-Ленина.

Член коммунистической партии с 1904 г., В. В. Адоратский пользовался большим уважением Ленина как один из лучших знатоков и популяризаторов марксизма в России. После Октябрьской революции он принимал активное участие в создании новых научных учреждений: Коммунистического университета им. Свердлова, Истпарта, Социалистической академии, Института красной профессуры, Института философии АН. В 1932 г. он был избран действительным членом Академии наук СССР.

Вот с этим замечательным человеком устроил мне встречу у себя дома мой бывший начальник по Уровскому институту Николай

Иванович Дамперов, с которым у нас и после Забайкалья сохранялись самые близкие отношения до самой его смерти 30 апреля 1947 г. Н. И. Дамперов хорошо знал В. В. Адоратского еще по казанскому революционному подполью и дружил с ним. Оба они были казанцы. Владимиру Викторовичу в это время было уже под шестьдесят, но глаза его, внимательные и пронизательные, были живыми, как у юноши. Весь вечер он подробно и очень заинтересованно расспрашивал меня о моей работе по психологии труда и о применении ее в авиации.

Это было в субботу в последних числах августа. А в понедельник начальник Института авиамедицины сообщил мне, что моя демобилизация отменяется и что я назначаюсь начальником учебного отдела института. При этом с трудно скрываемым смущением он сказал: «Если вы хотите и найдете время, то можете продолжать работать над своей докторской диссертацией и организовать психологическую лабораторию в комгоспитале, но не в порядке плановой работы».

Ученую степень кандидата медицинских наук я уже получил ранее, 28 июня 1936 г. (то есть вскоре после того, как они были введены) без защиты, по совокупности работ по психологии труда и уральной болезни, а на Каче начал собирать материал для докторской.

Возможно, что беседа с В. В. Адоратским и отмена моей демобилизации — только совпадение. Но я не могу забыть ни его интереса к психологии летного труда, ни того, как он насторожился и переспросил меня, услышав случайно оброненную мной фразу: «Все дело в том, что главный врач ВВС Леонид Германович Ратгауз, хоть он и племянник Землячки, но недостаточно культурный человек, и он никак не может понять различия между психотехникой, психологией труда и общей психологией!»

Почему же я об этом рассказываю здесь, и какое все это имеет отношение к В. Н. Колбановскому?

Дело в том, что, как выяснилось в дальнейшем, Виктор Николаевич тогда тоже нечетко понимал различие между психотехникой и психологией труда. Хотя и руководил перед тем четыре года «Институтом трех “П”»! Он даже не уяснил, хотя бы для себя, неудачные формулировки своей статьи в «Известиях» в 1936 г.

Как я узнал позже, на следующий же день после моего срочного отъезда из Качинской летной школы он приехал туда вместе с моим бывшим помощником по Качинскому филиалу военврачом Ювеналием Михайловичем Волинкиным, всегда крайне отрицательно относившимся к психологии. Я догадывался, что Ювеналий Михайлович сумел как-то явно во вред психологии, а следовательно, и мне использовать Виктора Николаевича, признанного методолога этой науки.

И я не ошибся. Через год, 5 ноября 1938 г., я опять приехал на Качу за имуществом Института авиамедицины для использования его потом в психологической лаборатории клинической части института, размещавшейся в комгоспитале в Лефортове. Друзья-летчики авиашколы передали мне копию стенограмм лекций, прочитанных В. Н. Колбановским 19, 21 и 25 августа 1937 г.

Вот некоторые выдержки из этих стенограмм, теперь полностью включенных в «Архив истории отечественной авиационной психологии». Свою лекцию 19 августа он начал словами: «Уважаемые товарищи, насколько я осведомлен, я имею дело с командным составом летчиков-инструкторов... Мне известно, что у вас работал один из психологов, который читал лекции по психологии, даже составил книжку очерков по психологии для инструкторов летного обучения, составил конспект курса психологии, которым пользуются некоторые товарищи, и имел какие-то соображения, что именно этот курс, этот конспект являются выражением того, что приемлемо для нашей марксистской науки. Но при внимательном изучении этих материалов мы пришли к выводу, что эта его претензия ни на чем не основана и что, наоборот, в ней содержатся идеологические ошибки, ничего общего с марксизмом не имеющие, более того, глубоко враждебные марксизму...»

В. Н. Колбановский далее, пользуясь чьей-то недобросовестной информацией, неоднократно возвращался к тому, что я якобы говорил. Так, в лекции 21 августа он сказал: «Я отвечу на вопрос, который мне был задан: “В чем отличие от того, что читал Платонов?” Это отличие таково: между чтением курса с материалистической и идеалистической позиций... Мы трактуем психику как явление отражения объективного

мира... Когда Платонов излагает, он дает такое определение памяти: «Память — это запоминание и восприятие психологического процесса...» Это есть грубейшая ошибка».

Но и в рукописи книги, и в конспекте у меня было написано: «Памятью называется свойство закрепления, сохранения и воспроизведения психических процессов». Кто-то, читая ему это определение, вместо слова «воспроизведения» сказал «восприятия», что вызвало законный протест. Проверить же прочитанное ему он не счел нужным.

Подобным же образом были искажены и другие мои определения, что дало повод упрекать меня в идеализме.

Когда я уже в 1960-х годах как-то завел разговор с Виктором Николаевичем об этой его поездке на Качу в 1937 г., он ее вспомнил, но никакой острой критики в мой адрес в его памяти не осталось. «Это была обыкновенная популярная лекция, — сказал он. — А дело вы с Шварцем делали полезное!»

Еще об одной запомнившейся мне встрече с Виктором Николаевичем — совсем коротко. В середине мая 1945 г. в Берлине на Унтер ден Линден я встретил В. Н. Колбановского. Мы оба, как армейские невропатологи, интересовались Институтом мозга Фогта и решили вместе поехать туда. Помню, что при этом посещении меня удивило глубокое знание им истории и задач этого прославленного научного учреждения.

В октябре 1947 г. я получил задание организовать отдел психологии в Институте авиационной медицины и вообще всю психологическую работу в авиации. Я подготовил соответствующий план (своего рода credo) и решил обсудить его с рядом ученых. Начал я с Виктора Николаевича, проведя несколько часов у него на квартире.

Было это 25 ноября 1947 г. Все события 1937 г., хотя и отодвинутые войной, были еще живы в моей памяти. Не говоря ему ничего о наличии у меня стенограмм его трех лекций на Каче, я нарочно заострил спорные вопросы, которых он в них касался, сказав: «Меня интересует ваше мнение как методолога».

И тут я получил полное одобрение всех своих установок и планов. Теперь, собирая архив авиационной психологии и заботясь о достоверности каждого документа, я жалею, что не показал ему в тот вечер

этих стенограмм. Ведь они им подписаны не были, а правил их кто-то с Ю. М. Вольнкиным, задержавшимся на Каче на несколько дней после отъезда Виктора Николаевича.

Отгремела Великая Отечественная война. Прошло еще несколько лет. В 1950 г. в историю советской науки вошла Павловская сессия, о которой я уже писал, так по-разному принятая психологами. О том, как ее воспринял В. Н. Колбановский, я понял, слушая его выступление вечером 3 июля, когда он говорил первым: «На сессии поставлены коренные вопросы передового мировоззрения марксистско-ленинской партии... Ненормальные и мало благоприятные взаимоотношения между физиологами и психологами объясняются различием исторического развития обеих областей знания... Лишь спустя несколько лет после победы Великой Октябрьской социалистической революции группа передовых советских психологов во главе с профессором К. Н. Корниловым порвала с идеалистической философией и стала на путь перестройки советской психологической науки на основе диалектического материализма», — так начал он.

А кончил он мыслью, не потерявшей значение и поныне: «В заключение мне хотелось бы остановиться на одной задаче огромного политического и практического значения, о которой, к сожалению, было мало сказано на данной сессии. Учение И. П. Павлова... имеет огромное значение для педагогики... Между тем педагогическая теория до последнего времени пренебрегала учением И. П. Павлова... В учебниках педагогики не делается даже малейших попыток использовать богатство учения И. П. Павлова в применении к педагогике».

В этих последних словах сказалось большое внимание, всегда уделявшееся В. Н. Колбановским теории коммунистического воспитания, и в частности всеми забываемой проблеме полового воспитания молодежи.

Наступили 1960-е годы, я, вышедший в отставку после инсульта, вынужден был расстаться с авиацией и работал уже в секторе философских проблем психологии Института философии. Е. В. Шороховой был сделан в Таврическом дворце в Ленинграде на II съезде психологов и опубликован наш общий с ней доклад «Проблемы общественной психологии».

Социальная психология вышла, по общему мнению, на передний край психологической науки. Мы готовили в ее русле сборники «О чертах личности нового рабочего» (1963) и «Труд и личность» (1965, перевод на французский — 1970, на португальский — 1977). И тут, явно опережая нас и несколько для нас неожиданно, на прилавках магазинов появилась книга «Проблемы общественной психологии» (М., 1965). На титульном листе стояло: «Под редакцией В. Н. Колбановского и Б. Ф. Поршнева».

Спорным в этом сборнике было применение и в заголовке, и в тексте термина «общественная», а не «социальная» психология. Вначале применяли его и мы, но потом отказались, тем более после статьи второго редактора обсуждаемой книги Бориса Федоровича Поршнева в журнале «Коммунист», где он написал о «пустопорожном» споре о том, назвать ли ее «социальной» или «общественной»*.

После этого общепризнанным стало название «социальная психология». Бесспорным же сразу оказалось, что эта книга надолго будет настольной для всех интересующихся социальной психологией. Особенно же статья В. Н. Колбановского «В. И. Ленин и проблемы социальной психологии».

Так Виктор Николаевич стал одним из лидеров социальной психологии, этой относительно молодой отрасли нашей науки.

Следующие наши встречи с Виктором Николаевичем связаны с работой по психологии религии.

В 1964 г. мне было сказано директорами Института философии Петром Николаевичем Федосеевым, в кабинете которого это и происходило, и только что созданного Института научного атеизма — Александром Федоровичем Окуловым:

— Все пишут книги по научному атеизму так, что их читают только атеисты. Напишите такую, как ваша «Занимательная психология», чтобы ее читали и верующие!

* Поршнева Б. Ф. Общественная психология и формирование нового человека // Коммунист. 1963. № 8. С. 94–95.

— Но для этого мне надо получить второй инсульт или хотя бы легонький инфаркт, чтобы выкроить для этого время, — попробовал я отшутиться.

Тогда четвертый наш собеседник неожиданно строго спросил:

— Вы коммунист или нет?

И я, поняв, что шутки неуместны, несколько лет работал, готовя книгу «Психология религии. Мысли и факты» (Политиздат, 1967). Я перечитал все «священные книги», «Журнал Московской епархии» за 1960-е годы и вообще прочел все, что только было можно.

Но первым, что я прочел, была книжка Виктора Николаевича Колбановского «Роль научной психологии в атеистической пропаганде» (М., 1963), потому что она была единственной уже написанной советским психологом работой, посвященной этому вопросу.

Так наши пути вновь пересеклись на этом неожиданном участке. Позже, в 1969 г., мы оба приняли участие в организации и проведении конференции по психологии религии, а в 1970 г. — в редактировании 11-го выпуска сборника «Вопросы научного атеизма», специально посвященного психологии религии (М., 1971).

До 1966 г. ученых степеней кандидата и доктора психологических наук не было. Были — «педагогических наук (по психологии)». Когда наконец эти степени были созданы, я был включен в состав экспертной комиссии по психологии (приказ ВАК № 85 Э.К. от 27 октября 1966 г.). На одном из первых заседаний ее председатель А. А. Смирнов сказал: «Товарищи, давайте подумаем, как оформить докторскую степень бесспорно заслужившему ее Виктору Николаевичу Колбановскому. Он уже много лет имеет звание профессора, не будучи доктором наук. Это, право же, неудобно!»

Мы много думали, как это сделать. Я в конце концов предложил Виктору Николаевичу обобщить свои многочисленные статьи и брошюры в один общий доклад, подведя его под одну из десяти принятых тогда ВАК специальностей по психологическим наукам.

«Это сделать невозможно, столь они разнообразны по тематике», — сказал он сам. И возразить ему нам было нечего. Он был прав.

Когда же ходатайство нашей экспертной комиссии было доложено А. А. Смирновым на пленуме ВАК, оно было отклонено лично председателем ВАК В. П. Елютиным.

6 сентября 1970 г. перед отъездом на VII конгресс социологов в Варну я позвонил домой Виктору Николаевичу. Хотел узнать, не поедет ли он туда же.

— Как здоровье? Говорят, вы хвораете? Переутомились? — спросил я его. И услышал медленный, тяжелый голос:

— Наши с вами коллеги либо пытаются меня обмануть, либо сами не могут разобраться. Но я-то не только психолог, но и невропатолог. У меня быстро прогрессирующая опухоль мозга. Не надо слов сочувствия. Вы ведь тоже врач... — и повесил трубку.

Виктор Николаевич не ошибся в диагнозе.

13 октября 1970 г. он скончался.

ГРИГОРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ ЛУКОВ

Не каждому дано судьбой быть пионером создания новой отрасли науки, Григорию Демьяновичу Лукову это выпало на долю, что и дает мне основание включить очерк о нем в этот раздел моих воспоминаний. До него в советской военной психологии, правда, уже было несколько имен. Его занимался военный педагог Г. Ф. Гирс, затем военачальник Г. Д. Хаханьян и ученик К. Н. Корнилова А. А. Таланкин выпустили даже по книге. Но их труды были больше посвящены частным вопросам психологии для военных, чем военной психологии как таковой.

Поэтому небольшая книжка Г. Д. Лукова в изящном черном переплете с золотыми буквами «Психология»*, переведенная в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, ГДР и Польше, а перед этим другая** были первыми советскими книгами по военной психологии, написанными специалистом-психологом.

* См.: Луков Г. Д. Психология. М., 1960.

** См.: Луков Г. Д. Очерки по вопросам психологии обучения и воспитания воинов. М., 1956.

Почти все современные военные психологи либо его ученики, например профессора М. П. Коробейников, Н. Ф. Дьяченко, Н. Ф. Феденко, либо ученики его учеников! Каждый раз, когда я вхожу в кабинет начальника кафедры военной педагогики и психологии Военно-политической академии им. Ленина, я неизменно думаю, что висеть бы в этом кабинете над столом большому портрету Григория Демьяновича!

А маленький портрет пусть бы и висел, где он сейчас висит, — в методкабинете рядом с портретами К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко и других гражданских педагогов и психологов, отошедших уже в область истории!

Биография Григория Демьяновича типична для советского ученого. Родился он 22 января 1910 г. в г. Бендеры, в Бессарабии, в семье железнодорожника — помощника машиниста, вскоре переведенного в Одессу. У Григория Демьяновича было трудное детство: старший ребенок в многодетной семье, отец в постоянных разъездах. В период гражданской войны он был фактически беспризорником. В 1922 г. отец, потеряв трудоспособность, переехал с семьей в село Лысогорка (тогда Французское) Одесской области, и Григорий Демьянович с 12 лет пошел в батраки, а с 1923 г. по 1927 г. работал сезонным рабочим по ремонту путей. В семилетке учился вечером. Но все же с 1928 г. он основное внимание обращает на образование и в 1931 г. заканчивает историко-экономический факультет педагогического института в Херсоне.

В 1932—1935 гг. Григорий Демьянович — аспирант по психологии в Харькове, в Украинской психоневрологической академии (бывший УПНИ, где до него работал и я). Живя с 1931 г. в Харькове, он одновременно с учебой в академии занимается преподавательской работой: в 1931—1933 гг. читает курс диалектического и исторического материализма в медицинском институте; в 1933—1940 гг. ведет курс психологии в Харьковском педагогическом институте. В 1939 г. он защищает диссертацию и становится кандидатом педагогических наук, в 1940 г. получает звание доцента.

Но в январе того же 1940 г. Григорий Демьянович был призван в армию для прохождения срочной службы, где его и застала война.

В первых числах июля 1941 г. его полк уже вел под Смоленском боевые действия. С этих дней и до конца войны Г. Д. Луков был на передовой, сначала выносил раненых с поля боя, затем командовал санитарной работой. Молва об умном и образованном старшине Лукове дошла до начальства, и его перевели в политотдел 178-й стрелковой дивизии Калининского фронта. 13 сентября 1942 г. он уже политрук, войну кончил в звании майора. Его боевой начальник полковник П. М. Шапкин чрезвычайно тепло вспоминает о своем помощнике по агитационно-массовой работе, о том, как он, несмотря на тяжелую сердечную болезнь, не желал переводиться в тыл, говоря: «Я считаю, что я только тогда выполню свой долг перед Родиной, когда я всю войну пройду вместе с солдатами и сержантами. Мне претит мысль уйти куда-то подальше от переднего края борьбы с врагом».

В этих словах был весь Луков! Стоит только вспомнить прямой, честный взгляд его глаз, чтобы понять, что это была не поза, а его истинное лицо!

После войны Григорий Демьянович жил в Ленинграде и работал с 1946 по 1957 г. старшим преподавателем и заместителем начальника кафедры военной педагогики и психологии Высшего военного педагогического института им. М. И. Калинина.

В этот период его жизни я с ним и познакомился. В мае 1950 г. в ленинградском Калининском институте, где Григорий Демьянович читал свой курс, состоялась I научная конференция по военной психологии, и на ней он сделал доклад «Предмет советской военной психологии, ее задачи и методы». Эта конференция подвела итог сделанному и наметила пути дальнейшей работы*, поскольку на ней встретилась с военной психологической и педагогической молодежью наша «троица»:

- подполковник Т. Г. Егоров, профессор, начальник кафедры военной психологии Военно-педагогического института, размещавшегося в Хлебникове, на канале,

* См. сборник: Материалы 1-й научной конференции по советской военной психологии. Л., 1951.

- под Москвой, разрабатывавший со своими адъюнктами вопросы психологии учебно-боевой подготовки,
- подполковник Г. Д. Луков, доцент, занимавшийся со своими адъюнктами психологическими вопросами в русле политической подготовки,
 - и я, тогда доцент и полковник медицинской службы, руководивший разработкой авиационной психологии.

Четвертого в то время не было. Но здесь уместно хоть несколько слов сказать о Тихоне Георгиевиче Егорове. В дни конференции ему было уже около 60 лет. (Он родился 29 июня 1891 г. и в 1922 г. окончил педагогический факультет Смоленского института.) Его основная работа протекала в Москве, в Институте психологии, и он был крупным специалистом по психологии чтения, в частности по букварям. Его книги «Очерки психологии обучения детей грамоте» (М., 1950, 1953) и «Психология овладения навыком чтения» (М., 1953) были подлинно настольными в нашем коллективе, когда в 1950-х годах мы работали над навыками чтения авиационных приборов. Они прочно вошли в число классических работ советской психологии. Пока Тихон Георгиевич был жив, ни один букварь не выходил без его участия. Это была его коронная роль в нашей науке.

Война еще не была закончена, когда начальник Управления военными учебными заведениями Министерства обороны привлек его к работе в только что организованном Военно-педагогическом институте, доверив ему там кафедру и дав ему сразу погоны подполковника.

Тихон Георгиевич не только подготовил ряд адъюнктов по военной психологии, но и издал учебник по психологии специально для военных*, выдержавший два издания, причем второе издание включало в себя результаты нескольких работ, выполненных его адъюнктами. Это была первая книга по военной психологии, опирающаяся на эксперименты, проведенные под руководством автора. Тихон Георгиевич заведовал кафедрой в Хлебниковском военно-педагогическом институте с 1945 по 1953 г. Умер он 18 марта 1959 г.

* См.: Егоров Т. Г. Психология. М.: Воениздат, 1952. (2-е изд. — 1955.)

Но вернусь к Г. Д. Лукову.

После ленинградской конференции 1950 г. мы вновь встретились с Григорием Демьяновичем на расширенном совещании при начальнике ГУВУЗ Министерства обороны 29 марта 1952 г. Оно проходило в Москве в помещении Военно-политической академии, и в нем приняли участие представители всех военных академий Советского Союза.

Тихон Георгиевич и Григорий Демьянович делали совместный доклад «Состояние и задачи дальнейшего развития военной психологии», я — одноименный доклад о психологии в авиации.

Но это была еще смутная пора для психологии в целом. Только в 1957 г. курс психологии был включен в программу Военно-политической академии и поручен Григорию Демьяновичу. Там он и проработал до октября 1959 г., когда по состоянию здоровья уволился в запас в чине полковника и вернулся в Ленинград.

В начале 1960-х годов, когда Григорий Демьянович был уже демобилизован, а я, тоже расставшийся с армией после инсульта, был с ноября 1960 г. членом ученого совета Военно-политической академии, мы с ним решили написать совместный капитальный учебник по военной психологии. Последней главой его должна была стать несколько переделанная основная книга Григория Демьяновича. Для сохранения «преемственности поколений» мы предложили Н. Ф. Феденко и И. Ф. Дьяченко, как его ученикам, написать в учебник по одной главе.

Как мы с Г. Д. Луковым писали эту книгу?

Вначале, поделив между собой главы, работали над ними каждый у себя, он в Ленинграде, я — в Москве. Потом переслали друг другу эти первые варианты глав и думали над ними и, конечно, «проклинали» друг друга! А потом он в первой половине мая 1962 г. на 10 дней приехал ко мне для доработки этой книги.

Григорий Демьянович был в это время уже тяжело болен. Давняя болезнь сердца прогрессировала, усложненная неправильным обменом веществ, утяжелявшим его и без того массивную фигуру и постепенно искажавшим правильные черты его красивого, умного лица. Он быстро уставал и часто говорил: «Я сник!» Это было его любимое выражение.

После этого он становился сговорчивым, торопясь закончить очередной этап нашей дискуссии, и мы шли на кухню и «пропускали по рюмочке». Я быстро ориентировался и старался подогнать под это «сник» наиболее спорные вопросы.

Милый он был, скромный и на редкость непритязательный человек! Моих «дам» — жену и тещу — он совершенно покорила своей нетребовательностью и мягкостью!

Для нас обоих это были нелегкие дни! У каждого была «своя концепция», но 240 часов работы (жена уверяла, что мы препираемся друг с другом даже во сне!) позволили все же создать цельную книгу*. После получения рецензии на нее Григорий Демьянович вторично приезжал на несколько дней ко мне в середине ноября того же года.

Консультируя часто молодых военных психологов, я убеждаюсь, что учебником этим пользуются до сих пор и что имя Г. Д. Лукова не забыто.

Книга эта, в которую Григорий Демьянович вложил весь свой фронтовой опыт, всю свою «плоть и кровь», была его лебединой песней. 29 мая 1968 г. его не стало.

ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ ГОЛУБЕВ

Я не могу не вставить в свои воспоминания хоть несколько строк о Григории Гавриловиче Голубеве, моем соавторе по ряду работ и старинном друге. Причем с полным убеждением включаю встречи с ним в главу о психологах, хотя психологического образования он не имел. Более того, кроме трех классов церковно-приходского училища, Одесской школы пилотов да нескольких случайных, кратковременных курсов, он вообще ничего не «кончил». Будучи широко образованным человеком, он смолоду до последних дней жизни углублял свои знания, опираясь только на самообразование. Педагогику и психологию он изучил лучше многих известных мне

* См.: Луков Г. Д., Платонов К. К. Психология. М., 1964.

кандидатов и даже докторов наук, а использовать психологические знания на практике умел еще лучше.

Биография Григория Гавриловича началом своим подобна биографии Г. Д. Лукова. Бедная многодетная семья ткачей, кочевавших по Владимирской губернии с одной текстильной фабрики на другую. Крайняя нужда, полуголодное существование. Григорий Гаврилович всегда тепло вспоминал своего деда-крестьянина, в чьей избе в деревне Ерофеево Вязниковского района он и родился 22 января 1907 г. В этой же дедовской избе прошло его раннее босоное детство. Дед же, видимо, талантливый деревенский самоучка (он, например, сам изобрел и сделал деревянный велосипед и ездил на нем по селу), научил внука читать. С 12 лет Григорий Гаврилович начал свою трудовую жизнь: сначала батрак у кулака, пастух, затем с 1922 по 1925 г. чернорабочий на текстильной фабрике «Победа» недалеко от родной деревни.

В комсомол Григорий Гаврилович вступил официально в 1921 г., в 14 лет, но, собственно, еще до этого он был организатором комсомольской ячейки у себя в селе. С 1925 по 1929 г. он на постоянной комсомольской работе в Никологорах и Вязниковском уезде комсомола на Владимирщине. С 1925 г. он кандидат в члены ВКП(б), с 1927 г. уже член партии.

И все эти годы Григорий Гаврилович занимается самообразованием: в 1928 г. кончает заочно рабфак, поступает на первый курс заочного отделения университета, мечтает об Институте журналистики. Но тут его призывают в армию, и, таким образом, он оканчивается курсантом Одесской военной школы пилотов, которую и оканчивает в 1931 г. С этого времени его жизненный путь посвящен военной авиации — долгий путь от командира звена до командира эскадрильи и от летчика-инструктора до начальника Военного авиационного училища летчиков.

Только во время войны, командуя истребительным авиационным полком, он подготовил две с половиной тысячи воздушных бойцов. Сам совершал боевые вылеты.

Летчик он был великолепный, серьезный, спокойный, хладнокровный, без тени лихачества или позерства. И вообще он был

постоянно думающий человек. Я не помню в его жизни каких-нибудь случайных, неосмысленных действий. Все, что совершалось, было глубоко и обстоятельно для себя решено. Об этих чертах его характера говорила и вся его очень интеллигентная внешность: среднего роста, пропорционально сложенный, он был хорош какой-то умной, ненавязчивой мужской привлекательностью.

Встретились мы с Григорием Гавриловичем в 1936 г. на Каче, где он на курсах инструкторов впервые читал методику летного обучения, а по существу, вел первый в ВВС курс авиационной педагогики. Уже тогда мы «согласовали» не только содержание наших лекций, но и всю нашу совместную работу. В наших с Л. М. Шварцем «Очерках психологии для летчиков» немало мыслей Григория Гавриловича. Написанное им на Каче методическое (а точнее, психолого-методическое) пособие было с его согласия в несколько переделанном виде издано его сослуживцем М. Ф. Пешковским, переведенным в Москву, как книга «Основы методики летного обучения» (М., 1945). В ней много результатов наших споров.

Вообще, когда после военного перерыва мы опять начали встречаться в процессе нашей авиационной работы, мой остроумный сотрудник-психолог и математик Юлий Иосифович Шпигель прозвал нас с Григорием Гавриловичем «заклятыми друзьями». Ни с кем я так горячо, но вместе с тем и так продуктивно и интересно не спорил, как с моим «Г³»!

В 1953 г. вышла лучшая для того времени и не устаревшая и поныне его книга «Вопросы методики летного обучения». На подаренном мне экземпляре он написал: «Моему научному руководителю». Но я, право, не знаю, кто кого больше учил. Уверен лишь, что, если бы не «Г³», я очень многого не сумел бы сделать из выполненного мною в авиационной психологии!

Немало летчиков до сих пор с благодарностью вспоминают эту книгу и лекции Г. Г. Голубева, считая его, как, например, один из руководителей нашей современной авиации генерал-лейтенант Виктор Иванович Новиков, своим учителем.

С 1950 по 1954 г. Григорий Гаврилович работал начальником авиационного училища в Чугуеве под Харьковом. Справедливый,

благожелательный и расположенный к людям человек, он пользовался непререкаемым авторитетом у курсантов. «Гонял» он их, правда, без снисхождения, но всегда учитывая их реальные возможности. И если начальник сам летает и работает «от зари до зари», то оправданна и его требовательность к другим.

Помню, вызывает Голубев к себе курсанта. Тот, трепеща, входит в заветный кабинет, Григорий Гаврилович сидит за письменным столом и приглашает юношу тоже сесть. Поскольку он смущен и мнется, Голубев повторяет: «Садитесь. Я не привык смотреть на своих подчиненных снизу вверх!»

Лед сломан, и начинается нормальный разговор.

Чугуевское авиационное училище было основной летной базой моего психологического отдела НИИАМ. Именно там эксплуатировался оборудованный в Ленинграде мой первый самолет-лаборатория ЯК-11. (Позже в других местах были самолеты-лаборатории УТИ-МИГ-15, МИГ-17, УИЛ-28.) В Чугуеве мы с Григорием Гавриловичем впервые в 1951 г. отработали методику «радиорепортажа» и исследовали навыки посадки самолета.

Потом совместно с ним организовали в ряде летных училищ работу по чтению приборных досок и тренировку этого навыка с помощью фотомакета и тренировочных (именно тренировочных, а не просто учебных!) кинофильмов. В результате появилась наша совместная статья «К теории обучения ориентировке в полетах по приборам»*.

Когда в сентябре 1955 г. Григорий Гаврилович был признан негодным по здоровью к летной службе и демобилизован, я, понимая, что он без творческой работы жить не сможет, «сосватал» его в систему Госпрофобра. Он тогда уже жил в Грозном. И здесь в качестве методиста Чечено-Ингушского управления профтехобразования началась, как он говорил, его «третья жизнь» (после комсомольской и летной).

Итог этому периоду подвела его книга «Секреты воспитания» (Грозный, 1973). Этот маленький томик, с обложки которого,

* Вопросы авиационной медицины. М., 1958.

нахмурившись, смотрит веснушчатый паренек, а содержание пронизано теплотой к «оступившейся» молодежи, я ставлю на полке в один ряд с трудами Макаренко, Сухомлинского, Корчака и Бенджамин Спок! Я горжусь, что, даря его мне, он на нем написал: «С благодарностью за “Карты” личности и метод обобщения независимых характеристик, давших возможность написать эту книгу».

«Секреты воспитания» принесли ему членство в Союзе советских писателей!

Когда в 1971 г. Госпрофобр заказал мне учебник психологии для мастеров ПТУ, я предложил Григорию Гавриловичу сделать его вместе, и он согласился. Я дал ему несколько моих уже изданных книг и сказал: «Возьми, Гриша, мои определения психических явлений и напиши, зачем они нужны твоим педагогам».

А потом август 1971 г. мы провели с ним в его «дедовской избе» в Ерофеево под Никологорамы и весь месяц опять ругались, как «закрытые друзья». Мы спорили, бродя по лесам, знакомым ему с детства; мы препирались, сидя у речной запруды, сделанной его руками, и за столом, врытым в землю в гуще старого терновника! Но в конце концов книга вышла и была одобрена в качестве учебного пособия для индустриально-педагогических техникумов.

Оценить ее позволит следующая непредвиденно возникшая ситуация: его вскоре стали пользоваться инженерно-педагогические факультеты политехнических вузов! На ученом совете Госпрофобра было, однако, сказано: «Давать студенту вуза пособие, рекомендованное для техникума, не только непедagogично, но и неприлично!»

И тогда Госпрофобр заказал нам учебник психологии для институтов повышения квалификации своей системы.

И мы опять провели август уже 1974 г. в «дедовской избе». Перед нами стояла задача, несколько сложно, но точно сформулированная в предисловии вышедшей затем книги: «Все психологические положения этой книги как можно более педагогизированы, для того чтобы в дальнейшем все освоившие ее могли бы психологизировать свою педагогическую работу»*.

* Платонов К. К., Голубев Г. Г. Психология. М.: Высшая школа, 1977. С. 4.

Отзывы и студентов, и педагогов, дошедшие до меня, говорили, что с этой задачей мы справились. А что может выше оценить учебник, чем признание, что он удовлетворяет требованиям практики учащихся по нему?!

Я употребил выражение «мы справились». Но заслуга тут не моя, а Григория Гавриловича. Это его работа и его мысли материализовались в этой книге. Как же мне не включить воспоминания о нем в главу о советских психологах?!

Но, увы, услышать похвал он уже не смог. Он умер 21 февраля 1976 г.

VII. СОВЕТСКИЕ ПСИХИАТРЫ

Мое «промежуточное» положение между психологией и медициной определило ряд знакомств с крупнейшими советскими психиатрами, о которых я также хочу рассказать. Первое место здесь, конечно, принадлежит В. М. Бехтереву. Встреча с ним, собственно, и определила в дальнейшем это мое «промежуточное» положение.

Владимир Михайлович БЕХТЕРЕВ

Заочно профессора Бехтерева я знал с раннего детства, так как в кабинете отца на самом почетном месте висел его портрет. Правда, я, бывало, путал его с Львом Толстым, висевшим у него в спальне: оба, на мой взгляд, были старыми и «бородатыми», с устрашающими кустистыми бровями. Хотя на фотографии у папы Владимир Михайлович был снят еще довольно молодым, но уже заросшим своей, как он сам говорил, «мужицкой» бородой. Русская наука всегда была богата колоритными фигурами, но и среди них Бехтерев выделялся силой и яркостью.

Родился он 2 февраля 1857 г. в семье мелкого служащего (коллежского секретаря) в селе Сорали (теперь Бехтерево) в нескольких километрах от Елабуги Вятской губернии. Владимир Михайлович, вспоминая родителей, говорил о той любви к природе и особенно к птицам, которую ему успел на всю жизнь привить отец, умерший, когда Бехтереву было восемь лет.

В «Большой советской энциклопедии» о Владимире Михайловиче справедливо сказано как о «выдающемся русском невропатологе, психиатре, психологе, морфологе и физиологе нервной системы». Уже в 1893 г. его книга «Проводящие пути спинного и головного мозга» обеспечила ему мировое имя, а всего им было опубликовано более 600 научных работ. Плодовитость и разносторонность Владимира Михайловича столь велики, что в 1930-х годах

была с успехом защищена кандидатская диссертация, посвященная только библиографии его работ.

Я не останавливаюсь подробнее на его биографии, поскольку она широко освещена в целом ряде очерков*.

Для психологии имела большое значение его работа 1886 г., в которой он доказал, что все двигательные навыки, приобретенные собакой, связаны с двигательной зоной коры головного мозга, так как исчезают при разрушении последней. В то время это открытие имело большое философское значение.

Им была организована в 1885 г. первая в России экспериментально-психологическая лаборатория при медицинском факультете Казанского университета, что явилось толчком к возникновению подобных же лабораторий в Петербурге, Москве, Харькове, Юрьеве. Он был создателем «объективной психологии, или рефлексологии», которую рассматривал как развитие взглядов И. М. Сеченова.

«Неправильно было бы противопоставлять В. М. Бехтерева И. П. Павлову... Хотя в некоторых вопросах В. М. Бехтерев первоначально расходился с И. П. Павловым, — пишет его ученик В. Н. Мясищев, разбирая дальше эти расхождения и заканчивая так: — Однако их свободная, столь же принципиальная, сколь и страстная дискуссия содействовала дальнейшему развитию науки»**.

Далеко не все в рефлексологии было верно, причем ее «грехи» механицизма, вскрытые и понятые на рефлексологической дискуссии, начавшейся в 1928 г. и закончившейся на «поведенческом» съезде, исходили больше от молодых «рефлексологов», чем от самого ее создателя. Наиболее ошибочной была его книга «Коллективная рефлексология» (1921), но она была и одной из первых работ,

* См.: Бехтерев В. М. Автобиография (посмертная). М., 1928; Хижняков В. В. В. М. Бехтерев. М., 1946; Осипов В. П. Бехтерев. М., 1947 (серия «Выдающиеся деятели русской медицины»); Мясищев В. Н. Выдающийся русский ученый В. М. Бехтерев. М., 1953; Дмитриев В. Д. Выдающийся русский ученый В. М. Бехтерев. Чебоксары, 1960; Губерман И. М. Бехтерев. Страницы жизни. М.: Знание, 1947.

** Мясищев В. Н. В. М. Бехтерев — замечательный ученый, врач, педагог, общественный деятель. Киров, 1956. С. 28, 30.

посвященных объективному изучению коллективов. Неправильным же в этой книге был механистический подход к коллективу с попыткой понять его с позиций закона сохранения энергии, в духе энергетизма В. Освальда.

Бехтерев нередко ошибался. Но нельзя забывать, что автобиографию он закончил такими своими стихами:

И пусть на месте масс поработанных
В веках живет и крепнет, и цветет
Союз всех стран объединенных,
Забывших старый тяжкий гнет.

Это он писал, правда, уже при советской власти. Но вот в своем первом публичном выступлении в 1885 г. он доказывал, что все усилия в борьбе с психическими болезнями «должны быть направлены на устранение капиталистического режима». А на II съезде психиатров в Киеве в 1905 г., когда против съехавшихся врачей были мобилизованы не только полиция, но и войска, Владимир Михайлович произнес пламенную речь, назвав ее докладом «Личность в условиях ее развития и здоровья». Закончил он ее под гром аплодисментов стихами:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня!

Мой отец, присутствовавший на этом съезде, позже мне рассказывал, что после этих слов полиция и войска прикладами и нагайками вытесняли из зала съезда его членов и студентов и рабочих, пришедших «слушать Бехтерева».

Еще более смелым было его выступление на III съезде психиатров в 1910 г. в Петербурге. В своем докладе-речи «Вопросы нервно-психического здоровья в русском населении», останавливаясь на перечислении причин нервно-психических болезней, он не побоялся сказать такие слова: «Капиталистический строй — вот основное зло нашего времени... На место капитала мы должны выдвигать на первый план труд и служение истине и добру... Все наши усилия должны быть направлены к облегчению последствий существующего ныне

капиталистического строя, отягощающего современные условия жизни».

В 1907 г. он добился утверждения устава крамольного для того времени нового научно-исследовательского и учебного учреждения — Психоневрологического института, поставив его девизом слова, высеченные древнегреческими философами на стене Дельфийского храма: «Познай самого себя».

К работе в этом институте были привлечены лучшие научные силы того времени. Достаточно сказать, что четверо из них стали в советское время академиками: ботаник и географ В. Л. Комаров, историк Е. В. Тарле, физиолог А. А. Ухтомский и паразитолог Е. Н. Павловский. Я об этом институте пишу с особым чувством, так как он в дальнейшем разросся в два: учебный — Государственный институт медицинских знаний (ГИМЗ), который я закончил в 1930 г., и научно-исследовательский — Институт мозга, в котором я работал. Все — как бы «под флагом Бехтерева»!

Но, что бы я ни написал о Владимире Михайловиче, думаю, это будет хуже и беднее тех проникновенных слов, с которыми мой отец, его ученик и друг, отделенный от него почти полутора тысячами километров, но близкий ему по духу, обратился к нему в 40-летний юбилей его врачебной деятельности. В этом патетическом послании проглядывает столь любимый отцом слог, средний между гекзамером⁸⁹ и «белыми стихами», очень нравившийся и Бехтереву.

Высокоцитимый учитель!

В стремлении своем к познанию человека Вы долго, неустанно творите шествие вперед, с собою увлекая немало молодых умов, всегда Вас окружавших и в числе преумножавшихся из года в год...

И этому преумножению нет конца...

Научные заветы Ваши горят большим огнем, бросая яркий свет на путь грядущих поколений...

Мы, малая и скромная семья, собой являя малую частицу многих Ваших «поколений» от науки, Вам шлем с далекой Украины привет наш задушевный и от сердца благодарность за этот путеводный свет.

Вы призываете всех нас к познанию человека с его борьбой за жизнь, с его порывами к бессмертной истине, к добру и к несравненной красоте...

И, Вашим именем слитые, мы идем на этот зов, с благоговением неся в науку вложенное Вами.

Да крепнут Ваши силы, так нужные для общества и Вашей яркой жизни.

Это письмо в свое время отец прочитал мне, поэтому к встрече с Владимиром Михайловичем я был вполне эмоционально подготовлен!

Мое личное свидание с Владимиром Михайловичем произошло в начале 1925 г., когда он, приехав в Харьков, остановился у моего отца. Устав, очевидно, от утомительного дня, он, привыкший работать по 15 часов в сутки, может быть, хотел переключиться и стал расспрашивать меня о моих жизненных планах. Узнав, что я, студент-биолог, увлеченный «Системой природы» Линнея, уже написал «Краткий определитель амфибий и рептилий Украины» и собираюсь стать зоопсихологом, он помрачнел, помолчал, а потом спросил меня:

— Знаете ли вы слова Маркса: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны!»

Я сознался, что не знаю.

— Так вот, знайте. И запомните, что познать психику не то что ящерицы, но даже обезьяны, не зная психологии человека и не познав самого себя, нельзя.

И он стал убеждать меня, что только медицинский институт может обеспечить знание психологии человека, являющейся ключом к зоопсихологии.

В заключение он сказал слова, которые я записал, вернувшись домой (жил я не с отцом, а с четырех лет с матерью, а к тому времени уже самостоятельно): «Попробуйте когда-нибудь перенести опыт систематики животных и растений на классификацию психологических понятий. Ведь там еще долиннеевский хаос».

С того дня этот завет Владимира Михайловича я нес и несу в душе до сих пор. Он вдохновил меня на все мои книги начиная с «Очерков психологии для летчиков» (1936–1948) и наиболее полно был реализован в небольшой книжке «О системе психологии» (1972), а затем в монографии «Система психологии и теория отражения» (рукопись в данный момент в издательстве «Наука»).

Ту часть разговора с Бехтеревым, где он касался положения Маркса, я в тот вечер понял плохо и передаю ее в общих чертах. Вернулся я к ней, когда думал и работал над этими двумя моими книгами. Но вся эта беседа с Владимиром Михайловичем произвела на меня огромное впечатление и в сочетании с другими событиями, о которых я уже писал, побудила меня круто изменить свой жизненный путь. Я перешел с биологического факультета на первый курс Харьковского медицинского института.

24 декабря 1927 г. я поехал на зимние каникулы в Ленинград. В Москве в наш вагон сел молодой врач. Он с воодушевлением рассказывал, как вчера был в Малом театре на спектакле «Любовь Яровая», где видел Бехтерева и даже говорил с ним.

В Ленинграде я на следующий день утром позвонил на квартиру Владимиру Михайловичу, чтобы узнать, когда он вернется и сможет ли принять меня. Мне ответили, что, уехав несколько дней назад в Москву, Владимир Михайлович там 25-го скончался.

Я вернулся к мыслям о Бехтерева в 1950-х годах, работая над историей отечественной авиационной психологии и копаясь в архивах и библиотеках. Мне удалось установить, что первые психологические исследования летчиков (первые не только у нас, но и в мире!) были проведены в 1911 г. в клинике Бехтерева. Я вспомнил, как Владимир Михайлович, будучи в 1925 г. в Харькове, «подтолкнул» А. И. Геймановича изучать летчиков. Очевидно, авиация — завоевание воздуха человечеством — увлекала его кипучий ум! Более того, я узнал, что, интересуясь летной деятельностью, Владимир Михайлович в декабре 1922 г. (в 65 лет!) лично совершил полет на воздушном шаре.

Обратился я вновь к мыслям Бехтерева, уже работая в 1950-х годах в Институте философии АН над проблемой личностного подхода. Занялся я этим вопросом под влиянием трудов С. Л. Рубинштейна, о чем уже писал. И тут в моей памяти всплыли слова Владимира Михайловича, произнесенные им еще в 1907 г. на Международном съезде врачей в Амстердаме. «Если мы будем подвергать несколько лиц определенным экспериментам, — сказал Бехтерев, — то окажется, что каждое лицо даст свои особые результаты, *вытекающие*

из особенностей его личности» (выделено мною. — К. П.). Иначе говоря, при совершенно одинаковых внешних условиях различные лица будут испытывать неодинаковые переживания*.

Мне стало ясно, что приоритет открытия личностного подхода, хотя и без применения этого термина, ввести который мне казалось логичным, принадлежит Владимиру Михайловичу.

Этот опубликованный мною факт** ранее никем не был отмечен.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ОСИПОВ

Виктор Петрович Осипов был одновременно и директором Института мозга, и преемником Бехтерева на кафедре психиатрии Военно-медицинской академии, тогда как кафедрой невропатологии там же руководил М. И. Аствацатуров. Бехтерев в свое время возглавлял их обе как единую.

В период 1920—1930-х годов в медицине преобладал процесс ее дифференциации и модно было мнение, что психиатры и невропатологи — это специалисты разных наук, а психоневрологи — это плохие психиатры или плохие невропатологи! Против такого понимания психоневрологии активно восставал мой отец, говоря, что психоневрология — это третья самостоятельная наука, синоним которой — неврология. К слову сказать, положение неврозов в классификации болезней до сих пор не уяснено в мировой медицине. Несколько с иных позиций защищал психоневрологию Виктор Петрович, считая, что для армии нужны не «чистые» психиатры и невропатологи, а именно психоневрологи, то есть врачи более широкого профиля. Видимо, не случайно я, психолог и психиатр, во время войны был на должностях невропатолога врачебно-летных комиссий, а кончал ее в штатной

* Бехтерев В. М. Объективное исследование нервно-психической деятельности // Обозрение психиатрии и неврологии. 1907. № 9. С. 515. (Отдельная брошюра — СПб., 1908.)

** См.: Платонов К. К. Личностный подход как принцип психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1969. С. 194.

должности армейского невропатолога, как и В. Н. Колбановский, о чем я уже писал.

Пикник и циклоид⁹⁰ В. П. Осипов и астеник и шизоид М. И. Аставацатуров при явном несовпадении их «строения тела и характера», говоря словами Э. Кречмера — автора одноименной книги (М., 1924), безусловно, сходились в их отношении к эмоциям. Моим интересом к аффективной сфере личности я обязан именно общению с этими столь разными людьми. Я быстро «взял на вооружение» идеи М. И. Аставацатурова о принципиальном различии протолатических (таламических), локализованных в подкорке эмоций и эпикритических, локализованных в коре головного мозга. Дополнил я их утверждением В. П. Осипова о наличии безусловно- и условнорефлекторных эмоций. В дальнейшем я нашел, что эпикритические и обязательно условнорефлекторные эмоции в сочетании с соответствующими понятиями, приобретенными человеком в личном опыте, представляют собой более высокую, чем примитивные эмоции, самостоятельную форму психического отражения действительности — чувства. Ведь прежде чувства любви к Родине у человека должно сформироваться понятие «Родина», условнорефлекторно связанное с соответствующими эмоциями.

Хотя я все это и уяснил давно, начав изучать эмоции летчиков, но из-за программ, всегда отстающих от развития науки, принужден был излагать в своих учебниках эмоции и чувства в одной, общей главе. А против этого возразил еще и В. П. Осипов.

После моего переезда в Ленинград осенью 1929 г. я сразу пошел к Виктору Петровичу. Институт мозга помещался (как и сейчас) на Петроградской стороне, на набережной у Троицкого (теперь Кировского) моста, чуть выше его по течению Невы. Он занимал дворец бывшего великого князя Николая Николаевича — главнокомандующего русской армией в Первую Мировую войну и дяди царя Николая II. Интересно, что в соседнем доме находилось общежитие бывших политкаторжан с их продовольственным магазином (на тогдашнем языке — распределителем) в первом этаже. Как сейчас помню висевшее там в окне и поразившее меня объявление: «Отпускается повидло по полкилограмма, цареубийцам — по килограмму».

Но вернусь к тому моему первому приходу. Поднявшись по широкой мраморной дворцовой лестнице, я на верхней парадной площадке увидел в нише красивую вазу на постаменте в виде колонны. Это оказалась урна с прахом В. М. Бехтерева, простоявшая там несколько лет.

«Этот беспокойный человек, — говорила потом его бывшая ученица профессор А. В. Яроленко, — и после смерти не мог успокоиться. Его урну переносили несколько раз из одной могилы в другую, пока наконец она не была навечно захоронена в Троице-Сергиевой лавре!»

Дверь в кабинет директора была на этой же площадке. Я вошел и увидел в зеркальные окна Неву, особенно широкую в этом месте!

Виктор Петрович Осипов, хотя тогда он еще не был академиком и генерал-лейтенантом, как впоследствии, с достоинством вписывался в этот великокняжеский покой. Ему было уже под 60 (он родился в 1871 г.), и его несколько грузноватая фигура выдавала все же военную выправку, хотя в Институте мозга он обычно бывал в пиджаке. Внешность — профессорская: небольшая бородка, волосы на боковой пробор, очки. Внимательные, не без юмора глаза с готовностью устремлялись на собеседника. Вообще этот парадный дворцовый фон не мешал ему быть простым и доступным человеком. Сотрудники его очень любили.

В этом же первом разговоре Виктор Петрович, предупрежденный Л. Л. Васильевым, согласился принять меня в аспирантуру, которую в это время уже заканчивал Б. Г. Ананьев. Но потом, разобравшись, предложил мне, с хитрецей в прищуренном глазе, бросить для этого мединститут.

У меня сохранился следующий документ:

Выписка из протокола № 39 от 3/ХІІ—29 г.
заседания правления Института по изуч. мозга

Председательствовал — проф. В. П. Осипов
Секретарь — Г. Н. Добрякова

п.8 СЛУШАЛИ: Заявление К. К. Платонова о зачислении его штатным аспирантом Института по отд. физиологии.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить К. К. Платонова представить дополнительные сведения и выяснить вопрос о возможности одновременного учения К. К. Платонова в ГИМЗ и работы аспирантом Института мозга.

Подписал: Председатель *В. П. Осипов*

С подлин. верно: Секретарь *Г. Н. Добрякова*

Разговоры об этом продолжались несколько дней. Я чуть было не согласился оставить ГИМЗ, считая, что уже приобрел нужные по совету Бехтерева медицинские знания, а биологический диплом для аспирантуры у меня уже есть! Но моя жена категорически, со свойственной ей экспрессией, воспротивилась. И теперь я думаю, что она была права.

Но должен сознаться, что в группе служащих пятого курса ГИМЗ я плохо прижился. Все они знали друг друга с самого начала учебы. Я же перевелся из другого города на последний курс, к тому же имея уже вузовский диплом, давший мне возможность интересно работать в Институте мозга. В общем я как-то не сумел войти в их студенческую семью и чувствовал себя чужаком и «белой вороной». Особенно косо коллеги стали на меня смотреть, узнав о моем докладе на «поведенческом» съезде и о моих попытках уехать в Арктику. Тогда я думал, что они просто завидуют моему бесплатному проезду на трамвае по билету члена съезда, а главное, моей романтической дружбе с общей любимицей всего курса — Тасей Нецветай! Ее муж, с которым она, впрочем, скоро разошлась, студент, член профкома, люто ревновал ее, так как Тася бывала у меня дома, и, конечно, без него. Моя же жена относилась к этому вполне терпимо, и Тася иногда оставалась у нас ночевать.

Теперь, вспоминая мою учебу в ГИМЗ, я сам удивляюсь моей плохой совместимости с этим студенческим коллективом.

В одном я оказался с ними вполне солидарен: мы все подписали обязательство не оставаться после получения врачебного диплома в Ленинграде, а уехать на глубокую периферию. Правда, я понимал это по-своему, мечтая о поездке в Арктику! А пока, до окончания ГИМЗ, я продолжал работать в Институте мозга, постоянно встречаясь с Виктором Петровичем и его женой В. Н. Осиповой, которая была психологом и работала над проблемой восприятия.

Запомнился мне рассказ Виктора Петровича о том, как после Февральской революции он принимал участие во Всероссийском авиационном съезде, состоявшемся в Петрограде в августе 1917 г. А буквально в первые недели после установления советской власти, в конце 1917 г., при Военно-медицинском ученом совете была под его председательством организована специальная комиссия по изучению труда летчиков. Помню его слова: «Как психиатру мне в ней нечего было делать, но как психологу — очень много. И на съезде, и в комиссии я активно ставил вопрос о необходимости создания специальной психофизиологической лаборатории, которая была организована многим позже».

Недавно мне с сотрудницей Е. Я. Серовой удалось найти в архиве резолюцию упомянутого съезда от 25 июля 1917 г., в которой речь шла о лаборатории (ЦГАСА, ф. 29, опись 4, ед. хр. 2).

Как я уже рассказывал, весной 1930 г. я, окончив медицинский институт (ГИМЗ), расстался с Институтом мозга и уехал в Забайкалье.

Последний раз я виделся с Виктором Петровичем 27 октября 1937 г. Но об этом лучше рассказать словами заметки Федора Николаевича Шемякина в стенную газету «Психолог» от 31 января 1963 г., посвященной 50-летию Института психологии, полная копия которой находится в моем архиве.

Ф. Н. Шемякин вспоминает о трудностях, «стоявших тогда на пути психологической науки»: «А такие трудности были. Вспоминается один эпизод, связанный с первыми шагами авиационной психологии. Зачинателем ее был молодой тогда врач и психолог К. К. Платонов. У нас в институте над ней начал работать еще в 1936 г. Л. М. Шварц. Осенью 1937 г. я был делегирован от нашего института на совещание по вопросам авиационной психологии, созванное Институтом авиационной медицины. По каким-то причинам Л. М. Шварц на этом совещании присутствовать не мог.

Совещание проходило в здании бывшего ресторана “Мавритания”, в котором разместился Институт авиационной медицины. Под лепными карнизами и золочеными люстрами одного из залов, где некогда кутили московские купцы, стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном, а перпендикулярно к нему был расположен

громадный письменный стол начальника института. Мы собрались в его кабинете. В комнату вошел седой, тучный генерал. Все встали. Это был В. П. Осипов — начальник кафедры психиатрии Военно-медицинской академии и директор Института мозга им. Бехтерева в Ленинграде. Основная тема совещания была с современной точки зрения чудовищно нелепой — “Нужна ли в авиации психология?”.

К. К. Платонов обстоятельно доказывает, что она нужна. Он тогда, вероятно, не предвидел, что ему предстоит в течение почти двадцати лет отстаивать права психологии в авиации. К. К. Платонову возражает физиолог Д. Е. Розенблюм: «Авиации нужна не психология, а учение об условных рефлексах».

С безоговорочной защитой психологии авиационной выступает В. П. Осипов. Мне остается только поддержать его и добавить кое-что об ориентации в пространстве. Затем выступает Ю. М. Волынкин. У него на гимнастерке две “шпалы” (по-нынешнему он майор). Ему явно неудобно возражать генералу В. П. Осипову, но он все же категорически отвергает авиационную психологию. Напоминая о том, что педология встала между педагогом и учащимся, он предрекает, что подобным же образом психология встанет между инструктором и учетом и между летчиком и машиной. Его буквальные выражения: “Психологи только морочат нам голову”, “Платонов мешает нам работать”. И специально для меня: “Изучать ориентировку должны физиологи и отоларингологи, а психологи будут им только мешать...”».

Перед вышеописанным совещанием Виктор Петрович меня узнал, очень тепло и дружески говорил со мной.

А уходя, крепко пожал мне руку и сказал: «Трудная, но очень нужная у вас судьба. Ананьеву, видно, легче».

Эти его слова я принял с горечью.

Виктор Петрович умер через 10 лет, в 1947 г., и его ученик и мой большой друг главный психиатр Советской Армии Н. Н. Тимофеев описал его жизненный и научный путь*.

* Тимофеев Н. Н. Памяти Виктора Петровича Осипова // Военно-медицинский журнал. 1948. № 9.

МИХАИЛ ОСИПОВИЧ ГУРЕВИЧ

В 1930—1940-х годах на небе советской психиатрии сияло немало звезд: П. Б. Ганушкин, Т. А. Гейер, А. Ф. Гоцгеридзе, Ю. В. Каннабих, Е. К. Краснушкин, В. П. Осипов, Б. А. Попов, В. П. Протопопов, М. Я. Серейский, Т. Е. Сухарева, А. С. Чистович, А. С. Шмарьян, Т. И. Юдин, которых уже нет. Но среди них светилами первой величины и авторами основных учебников психиатрии были Василий Алексеевич Гиляровский и Михаил Осипович Гуревич.

Хотя я встречался со всеми названными врачами, слушал их лекции или доклады или консультировался по работе, но расскажу я здесь только о Михаиле Осиповиче Гуревиче, с которым судьба свела меня ближе, чем с другими. Да и его научный путь ближе, чем у других, связался с психологией.

Родился Михаил Осипович 18 сентября 1878 г. в селе Сосницы Черниговской губернии в семье землемера. В Чернигове окончил с золотой медалью классическую гимназию, видимо и давшую ему фундамент его языковой эрудиции, а в 1902 г. — медицинский факультет Московского университета. В качестве поощрения за успехи его посылают за границу, где он знакомится с организацией психиатрической помощи в разных странах. Это облегчалось тем, что Михаил Осипович свободно владел пятью языками. Тогда же он долго работал в психиатрической клинике Крепелина в Мюнхене. Вернувшись, он сочетает научную работу с практикой земского психиатра в Тверской и Саратовской губерниях. Во время русско-японской войны Михаил Осипович на фронте. И там он начинает интересоваться черепно-мозговыми травмами. Возвратившись с Дальнего Востока, он работает в клинике Военно-медицинской академии в Петербурге и в 1908 г. защищает диссертацию «О нейрофибриллах и их изменениях при некоторых патологических условиях» на звание доктора медицины. Уже эта тема показала его интерес к связи мозговой морфологии с психическими нарушениями.

Михаил Осипович — участник Первой империалистической войны. Работая в госпиталях, он по-прежнему уделяет особое внимание травмам головного мозга.

После Октябрьской революции деятельность М. О. Гуревича связана главным образом с I Московским медицинским институтом, где он был директором клиники им. Корсакова.

Им написано более 120 работ по различным вопросам психиатрии. В 1945 г. выходит его монография «Нервные и психические расстройства при закрытых травмах черепа», переизданная и у нас, и за границей.

С 1944 г. он действительный член Академии медицинских наук.

Интерес Михаила Осиповича к нейроморфологии никогда не мешал его связи с психологией, о чем я уже упоминал. Его совместная с В. И. Озерецким монография «Психомоторика» (М., 1930) привлекла большое внимание психологов, для меня же была настольной книгой.

Его многократно переиздававшиеся учебники психиатрии, сначала выходившие в соавторстве с М. Я. Серейским (М., 1928, 1932, 1937, 1940), начинались сведениями из области не только патопсихологии, но и общей нормальной психологии, даваемой с медицинским уклоном. Поэтому эти разделы его книг, сыгравшие огромную роль в формировании врачебного мышления многих «выпускников», надо рассматривать как одни из первых работ по медицинской психологии.

Я пользуюсь случаем подчеркнуть это здесь, так как роль Михаила Осиповича (как и Виктора Петровича Осипова) в развитии отечественной медицинской психологии из-за вынужденного сокращения объема моей книги «Методологические проблемы медицинской психологии» (М., 1977) в ней отражена не была.

Впервые я увидел, услышал Михаила Осиповича Гуревича и познакомился с ним на «поведенческом» съезде, где он делал доклад «Конституция и моторика». Но для меня он тогда промелькнул в «толпе» других, хотя его тема «Моторика» уже несколько выделяла его.

Близко и часто я встречался с ним в 1938—1941 гг., когда он был официальным консультантом психоневрологического отдела Института авиамедицины, базировавшегося в комгоспитале. Все москвичи знают в Лефортове этот старинный дом с множеством корпусов и парком, на фронтоне которого Петр I приказал вырубить название «Военная гошпиталя» и где теперь находится Главный военный

госпиталь им. Бурденко. В те годы мы там виделись с Михаилом Осиповичем не реже чем еженедельно.

В конце 1937 г. к нам в отдел из ВИЭМ пришел Николай Васильевич Самухин, имевший в то время (да, вероятно, и позже, до самой его смерти) самый большой среди всех авиационных врачей партийный стаж (с 1919 г., хотя он был всего на четыре года старше меня!). Михаил Осипович тогда первым «благословил» наши с Самухиным «докторские темы»: «Учение о старом травматическом неврозе, которому я в молодости отдал немало сил и которое так актуально в авиации, требует глубокого пересмотра. Разбейте его на два. Вы, Николай Васильевич, возьмите травмы черепа летчиков, а вы, Константин Константинович, — их психогенные состояния. Травматический невроз должен заново родиться в этих двух разделах».

Так мы и сделали. Выполняя этот завет, я, используя фронтовой материал, написал и защитил в 1953 г. докторскую диссертацию на тему «Вопросы экспертизы и профилактики психогенных состояний у летчиков». Н. В. Самухин много лет работал над проблемой травм черепа, диссертацию подготовил, но по ряду обстоятельств ее не защищал.

Сам Михаил Осипович в 1930-х годах занимался очень интересной проблемой право-леворукости. В беседах об этом он развивал новые мысли об асимметрии полушарий мозга, находящие теперь подтверждение в современных работах на эту тему. Он опубликовал соответствующие статьи — о проблеме «левого и правого» — в одном из первых сборников ИАМ «Вопросы медицинского обеспечения авиации» (М., 1939), в редакционную коллегию которого он входил вместе с В. П. Осиповым. В этом сборнике была и наша с Н. В. Самухиным статья «Врачебная экспертиза летного состава при реактивно-психогенных состояниях».

Михаил Осипович был блестящий эксперт, не только как психиатр, но и в целом, как специалист по врачебно-трудовой и военно-врачебной экспертизе. Тут сказывался его громадный опыт двух войн — русско-японской и Первой империалистической, к которому позже прибавился опыт Великой Отечественной.

С большим интересом он отнесся к двум фрагментам моей работы над диссертацией. Первый из них касался влияния на болезнь преморбидной личности (то есть личности больного до заболевания)⁹¹. Эта проблема не находила поддержки у, как тогда говорили, флагманского врача авиации — Леонида Германовича Ратгауза. Громадного роста, в долгополой шинели, с императивными жестами, он имел заглазное прозвище Галдероп. Запомнился мне такой эпизод на разборе больного в присутствии Л. Г. Ратгауза и его свиты, а также, конечно, и Михаила Осиповича.

— Опять вы, Константин Константинович, мудрите! Что это за «преморбидная личность»? Вот я — бригаврач, а такого слова в медицине не знаю, — говорит Л. Г. Ратгауз. Затем, обращаясь к своему помощнику С. И. Шевцову: — А вы, автор пособия по авиационной медицине, вы знаете?

— Никак нет, товарищ бригаврач, не знаю! — последовал ответ вскочившего в стойку смирно «автора».

И тут в разговор вступает М. О. Гуревич. Коренастый, плотный, невысокого роста и сутулый, он имел сугубо штатский вид рядом с величественной выправкой моего начальства. Помолчав, он поворачивает свой четкий профиль с удлинённым с горбинкой носом к группе военных и заключает:

— И стыдно, дорогие врачи, не знать.

Многословием он не отличался!

Остается добавить, что не одобренный тогда фрагмент диссертации был все-таки мной опубликован, правда, спустя 31 год, в виде статьи «Роль преморбидной личности в психогенных состояниях летчиков» в сборнике «Актуальные вопросы клинической и судебной психиатрии», посвященном 70-летию главного психиатра МО СССР профессора Н. Н. Тимофеева.

Другим фрагментом моей будущей диссертации, связанным для меня с Михаилом Осиповичем, была полная подборка всех документов, кодифицирующих военно-врачебную, а потом и врачебно-летную экспертизу.

Строго говоря, это была идея не М. О. Гуревича, а скорее Н. А. Молодцова — председателя Центральной военно-врачебной комиссии

(ЦВВК) и, по существу, создателя системы ВВЭ (военно-врачебной экспертизы). Я уже рассказывал о свидании с ним в 1931 г., когда я был в Москве в роли представителя Восточно-Сибирского крайздрава. Теперь же я с Молодцовым встречался как член Врачебно-лётной комиссии (ВЛК) Института авиамедицины (в дальнейшем она получила название Центральной — ЦВЛК) и как начальник учебного отдела ИАМ, приглашавший его на лекции для сборов авиаврачей.

Как-то, находясь у Н. А. Молодцова, я попытался узнать у него, какие приказы предшествовали действующему. Выяснилось, что ни он сам и никто другой не знают больше двух-трех! А в последовавшем затем разговоре с Михаилом Осиповичем я же оказался виноватым, что никому не известна эволюция приказов! Тогда я и задумал проследить всю цепь (вернее, две цепи — общевойсковую и лётную) до их истоков, со всеми ответвлениями. Для этого мне немало дней и вечеров пришлось провести в библиотеках и архивах!

Когда я наконец выполнил свою задачу, тут во второй раз вмешался Михаил Осипович. «А теперь попробуйте проанализировать эволюцию той статьи, по которой комиссуют функциональные заболевания нервной системы», — посоветовал он мне. Я сделал и это, «спутившись» до... Соборного уложения царя Алексея Михайловича 1664 г.

Во время Отечественной войны весь этот материал пропал и у меня, и у М. О. Гуревича, и у Н. А. Молодцова. Но восстановить его для включения в диссертацию было, разумеется, многим легче, чем собирать впервые!

В свое время и в Забайкалье, и на заводах мне систематически приходилось работать председателем Врачебно-трудоу экспертной комиссии (ВТЭК). На Горьковском автозаводе все материалы по нетрудоспособности пропускались через кабинет медицинской статистики, входившей в мой исследовательский отдел. Но именно Михаилу Осиповичу Гуревичу и Николаю Александровичу Молодцову, а также Ивану Кузьмичу Собенникову — председателю ВЛК ИАМ я обязан школой военно-врачебной экспертизы.

Хочется несколько теплых слов сказать об Иване Кузьмиче Собенникове. Он стал учеником В. В. Стрельцова на одном из первых

сборов авиационных врачей в 1925 г. После организации Института авиационной медицины в 1935 г. он работал в должности помощника С. Г. Геллерштейна, фактически же был председателем ВЛК института, ставшей в 1936 г. самостоятельным отделом врачебно-летной экспертизы. Когда во время войны, в 1943 г., был создан Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь (ЦНИАГ), он возглавлял там всю экспертизу.

Проведя после окончания войны еще пять месяцев в Берлине, я в октябре 1945 г. уже работал невропатологом комиссии, председателем которой был Иван Кузьмич, нередко его замещаая. Все приказы, «расписания болезней», инструкции по медицинскому освидетельствованию летного состава с середины 1930-х до конца 1950-х годов составлялись под руководством Ивана Кузьмича (и с моим участием по нервным и психическим болезням).

Иван Кузьмич получил степень кандидата медицинских наук вместе со мной, в начале 1936 г. Он был добродушный и ворчливый человек, потерявший на фронте единственного сына, а вскоре вслед за этим и жену. От докторской диссертации он отмахивался, а статьи публиковать не любил. Но его идеи о компенсации парциальной недостаточности, выявляемой у летного состава при переосвидетельствовании, живут во ВЛЭ и поныне.

Умер Иван Кузьмич в родном ему авиাগоспитале в 1976 г.

Я часто поминал добром и Собенникова, и Гуревича, и Молодцова, когда в первые два года войны был председателем окружной ВЛК в Новосибирске, а также комиссии, «подчищавшей всех белобилетников», осевших в Сибири. На фронте я работал председателем армейской комиссии, через которую за время войны трижды прошел весь летный состав армии. При этом вышло так, что я оказался единственным из всех председателей армейских комиссий, кто получил право (на уровне фронтовой комиссии) выносить заключение без утверждения следующей инстанцией. И в трудных случаях я всегда с благодарностью вспоминал этих трех моих учителей!

Михаил Осипович Гуревич был отличным патологоанатомом и гистологом. Недаром он 15 лет проработал прозектором⁹² в больнице им. Кащенко! Там им был собран при вскрытиях богатейший

материал. Творчески разрабатывая проблемы локализации психических нарушений, он в ряде случаев учитывал данные того направления зарубежной психиатрии, которое получило название психоморфологии.

Конечно, анатомия нервной системы связывается с психологией не непосредственно, а через физиологию. Но существует же сейчас в Институте психологии АН СССР сектор психофизики. А задача психофизики — поиск связей психических явлений с физическими в рецепторах и нервной системе. Этой отрасли психологической науки теперь предсказывают большое будущее! И никто не подвергает психофизику моральному избиению так, как это было сделано на Павловской сессии с двумя ведущими «советскими психоморфологами» — Александром Соломоновичем Шмарьяном и Михаилом Осиповичем Гуревичем!

Судьба А. С. Шмарьяна была печальна. Вскоре после Павловской сессии он скончался от инсульта.

Но доля Михаила Осиповича была еще трагичнее. Он до глубины души и безоговорочно поверил всему сказанному на Павловской сессии, тому, что «он тормозил развитие отечественной психиатрии». Эти слова были закреплены и подтверждены на специальном Объединенном заседании расширенного президиума АМН СССР и пленума правления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров 11–15 октября 1951 г. И там, кроме упреков в нанесении ущерба советской психиатрии, он ни одного доброго слова не услышал!

В результате, помимо заболевания сердца, у него развился бред самообвинения.

«Что я наделал! Ведь я погубил психиатрию и всех моих учеников, пошедших по моим стопам!» — он твердил эту навязчивую идею в десятках вариантов.

В августе 1952 г. Михаил Осипович лечился в Риге. Там наши пути опять пересеклись, и, хотя в это время он не склонен был делиться своими мрачными мыслями с другими, я узнал о них от его лечащих врачей.

Это был тяжелый период для психологии. Одна лаборатория закрывалась за другой, и этот давящий климат, установившийся в науке, как океан в капле воды, проявился в состоянии Михаила Осиповича.

Он так и не смог оправиться и скончался 16 ноября 1953 г.

VIII. СОВЕТСКИЕ ФИЗИОЛОГИ

Начав свой научный путь биологом и зоопсихологом и всегда понимая различие психологии и физиологии, я все же никогда не противопоставлял их, так же, впрочем, как и мои учителя — передовые советские физиологи. Рассказами о встречах с ними я и закончу свои воспоминания.

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДАНИЛЕВСКИЙ

В 1924 г. кто-то из пациентов подарил отцу двух ящериц агам, привезенных из Средней Азии. Это обременительное подношение он сразу же «передарил» мне. Агамы прожили у меня дома пару лет, переехав в конце концов в харьковский зоопарк. С них и начались мои работы по гипнозу животных и, конечно, знакомство с соответствующей литературой. Эксперименты с этими ящерицами, а также исследования, проведенные мною летом 1925 г. в Хосте, я подытожил в статье «Гипноз в мире животных» с фотографиями моих агам, вышедшей на украинском языке в журнале «Всесвіт» (1925, № 12, с. 14—15).

К сожалению, эта первая моя публикация по психологии появилась под смешным теперь псевдонимом — Генри Морган! Последнее сделано было по настоянию моего отца, не желавшего популярной журнальной статьи на близкую ему тематику под именем К. Платонов.

«Будут считать, что это я занялся вдруг лягушками и ящерицами!» — говорил он. По той же причине на титуле моей готовящейся к печати книги «Краткий определитель амфибий и рептилий Украины» было поставлено: «К. Платонов (младший)». Выбор же псевдонима статьи показывает наше всеобщее увлечение в то время романами Джека Лондона, в частности «Сердцами трех»!

Позже, в 1929 г., я свои эти опыты по гипнозу животных оформил и защитил в качестве дипломной работы по биофаку.

Она же была представлена мною как реферат для поступления в аспирантуру ленинградского Института мозга осенью 1929 г. и получила тогда хороший отзыв Л. Л. Васильева. В частности, в этой рецензии он писал: «В качестве оригинальных результатов автора следует указать на сопоставление гипнотизабельности различных видов амфибий, на опыты с крабом, на интересные замечания об индивидуальных различиях у некоторых видов и влиянии утомляемости на легкость вызова гипноидного состояния...»

Но это все было позже. А в 1924 г., когда я впервые встретился с Василием Яковлевичем Данилевским, мой контакт с ним начался с этих моих двух агам и с его публичной лекции на тему о гипнозе животных.

Ему в это время было уже 72 года. Тучный, с брюшком, типичный представитель медицинской интеллигенции XIX в., он неторопливо передвигался по аудитории, читая лекции всегда обстоятельно и доходчиво. Хорошая русская речь приятно ласкала слух, контрастируя с речью других профессоров мединститута и университета, излагавших свои мысли на каком-то смешанном жаргоне украинского с русским.

Воспитанник Харьковского университета, он в 1877 г. защитил там диссертацию «Исследования по физиологии головного мозга», а с 1882 г. стал в нем профессором. Так что, когда я, будучи студентом первого курса мединститута, слушал его лекции по физиологии человека, это был его 43-й курс!

В 1925 г. вышел в свет сборник, посвященный 50-летию его научной деятельности. В нем в приветствии от его учеников были приведены слова «седой, но юный!», ставшие популярными среди студенчества.

Перед тем как идти к Василию Яковлевичу со своими ящерицами, я познакомился с его трехтомным учебником «Физиология человека» (М., 1913–1915), с «Очерками из физиологии социальных недугов» (Харьков, 1919) и с «Исследованиями над физиологическим действием электричества на расстоянии» (Харьков, 1900–1901). В последнем труде я понял, конечно, очень мало, кроме того, что все это очень интересно и что Василий Яковлевич первым открыл

электрическую активность коры головного мозга! Позже, как только она вышла, я прочитал его книгу «Гипнотизм» (Харьков, 1925), в которой он большое место уделял гипнозу животных.

Когда я принес ему своих агам и говорил об опытах с другими животными, он слушал меня с большим вниманием, хотя вряд ли я мог открыть ему что-либо новое. От него первого я тогда услышал о значении психологии для физиологии.

«Ведь не случайно, — сказал он, — с тех пор, как я профессор физиологии, я член Московского психологического общества и сейчас поддерживаю с ними связь!»

Я, конечно, не слышал от В. Я. Данилевского слов Маркса, приведенных мне впоследствии В. М. Бехтеревым: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны». Не думаю, чтобы он их даже знал и читал Маркса. Но мысли, высказываемые им о сравнительной физиологии, и в частности о гипнозе животных, были созвучны этому тезису Маркса, не до конца еще понятому многими и сейчас.

Я эти и подобные идеи в общеэволюционном плане услышал впервые от В. В. Стаخورского, а вскоре (в сравнительно-психологическом) и от В. М. Бехтерева. Эти их представления достаточно полно совпадали с мыслями В. Я. Данилевского о сравнительной физиологии. Близки были и их мнения (каждого из них в своей области) о принципиально различных путях эволюции первично- и вторичноротых, а поэтому и о несравнимости как физиологии, так и особенно психологии насекомых и человека. На последнем особенно настаивал Г. В. Каховский.

Но в те годы и у этих ученых, и тем более у меня это были смутные, неоформившиеся мысли. Мне потребовался еще очень длительный путь и хорошее знакомство с социальной, криминальной психологией и патопсихологией, с психологией труда, а главное, с диалектическим материализмом и ленинской теорией отражения, чтобы я мог на закате моей жизни привести эти мысли в систему. Перейдя на первый курс мединститута, я старательнее, чем ряд других, слушал лекции Василия Яковлевича, излагавшего сложнейший материал в удивительно доступной форме.

Мне навсегда запомнились его любимые слова: «Только тот клиницист хорош, у которого вышколенные физиологически глаза». Они подтолкнули меня через несколько лет пойти работать в Институте мозга именно по физиологии к Л. Л. Васильеву.

В 1926 г. я возглавил группу студентов, лично поздравивших его с избранием в академики Украинской АН.

О смерти в 1939 г. Василия Яковлевича я узнал от А. Д. Сперанского, всегда связывавшего свое понимание нервизма⁹³ с развитием идей В. Я. Данилевского.

ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ

В последние дни «поведенческого» съезда состоялось посещение участниками съезда знаменитой лаборатории Ивана Петровича Павлова в Институте экспериментальной медицины. Этот институт помещался в конце проспекта Красных Зорь — так тогда назывался бывший Каменоостровский, а теперь Кировский проспект, поскольку он направлен точно с востока на запад. Во дворе этого института Павлов поставил известный всем физиологам памятник собаке, и там же находилась полукруглая пристройка с интригующим названием «Башня молчания» — первая отечественная камера абсолютной тишины (сурдокамера)⁹⁴.

Конечно, я воспользовался правом, данным мне билетом члена съезда (я его храню до сих пор!), — правом поговорить с «самим Павловым»! Сколько я ни напрягаю память, не могу вспомнить ни всех участников этого посещения, ни того, кто меня представил Ивану Петровичу как «молодого психофизиолога из Харькова». Думаю, что это был сотрудник И. П. Павлова Б. Н. Бирман. Хорошо помню, что так было договорено заранее, так как Иван Петрович, как известно, недолюбливал Бехтерева, а следовательно, распространял эту нелюбовь и на основанный им и носящий его имя Институт мозга! Поэтому и на его вопрос: «Работали ли вы с условными рефлексима?» — я не стал распространяться о двигательной (то есть в бехтеревском русле) методике, а с гордостью ответил,

ожидая дальнейших вопросов: «Работал со слюнными рефлексими у человека с капсулой профессора Чучмарева».

На это последовал резкий кивок головы и какое-то междометие, среднее между «ага» и «гм», вопросов же я больше не услышал. Вероятно, все ему было ясно!

Значительно более интересным был тогда разговор Константина Николаевича Корнилова с Иваном Петровичем. Он задал Павлову, как говорится, «в лоб» два вопроса. Один из них и ответ Ивана Петровича я понял сразу, а о втором позже пришлось спросить самого профессора Корнилова. Первый был об отношении Ивана Петровича к реактологии. Ответ был вежливый, в том смысле, что это «конечно, интересная методика», но и уклончивый: «Она более физиологическая, а психология должна ведь изучать содержание психической жизни».

Второй вопрос Корнилова был сформулирован примерно так: «Осталось ли ваше отношение к психологии как науке таким же, как вы писали в письме Челпанову при открытии Института психологии?» На это последовал положительный ответ.

Я не считаю возможным излагать эти вопросы и ответы в форме прямой речи. Записей у меня не осталось, а ранг собеседников слишком высок, чтобы в научных воспоминаниях допускать беллетристические вольности.

Через несколько лет Константин Николаевич, когда я ему напомнил об этом посещении Павлова, пояснил, что речь шла о поздравительном, но очень содержательном давнем письме Ивана Петровича к Георгию Ивановичу Челпанову. Я, наверное, так бы и не вспомнил об этом втором вопросе, если бы в 1950 г. Константин Николаевич, узнав во время одной из наших встреч о попытках закрыть мою психологическую лабораторию, не дал мне текст этого письма. Вот оно:

24 марта 1914 года

Очень огорчен, что не знал точно о дне открытия Психологического института, не послал вовремя приветствия.

Позвольте хоть этим запоздалым письмом поздравить Вас с рождением на нашей Родине такого выдающегося научного учреждения.

Что нам, русским, нужно сейчас в особенности — это пропаганда научных стремлений, обильные научные средства и страстная научная работа.

Очевидно, наука становится главнейшим рычагом жизни народов, без нее нельзя удержать ни самостоятельного, ни тем более достойного положения в мире.

После главных побед науки над мертвым миром, пришел черед разработки и живого мира, а в нем — венца земной природы — деятельности мозга.

Задача на этом последнем пункте так невыразимо велика, что требуются все ресурсы мысли, абсолютная свобода, полная отрешенность от шаблона, какое только возможно разнообразие точек зрения и способов действия и т. д., чтобы обеспечить успех. Все работники мысли, с какой бы стороны они ни подходили к предмету, все увидят нечто на свою долю, а доли всех рано или поздно сложатся в разрешении величайшей задачи человеческой мысли.

Вот почему я, исключаящий в своей лаборатории работ над мозгом малейшее упоминание о субъективных состояниях, от души приветствую Ваш Психологический институт и Вас как его творца и руководителя и горячо желаю Вам полного успеха.

Ив. Павлов

В 1950-х годах в силу ошибочного понимания не очень грамотными и не в меру ретивыми администраторами значения Павловской сессии было модно «именем Павлова» ликвидировать психологические лаборатории. Но сам Иван Петрович не только в приведенном письме, но и в ряде публикаций очень четко формулировал свое отношение к психологии. Вот несколько его высказываний:

«Конечно, психология, касающаяся субъективной части человека, имеет право на существование»*.

«Я — физиолог... Вы — невролог, психиатр, психолог. Казалось бы, что мы должны прислушиваться друг к другу и объединяться в нашей работе»**.

«Я хотел бы предупредить недоразумение в отношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека.

* Павлов И. П. Полн. собр. тр. М., 1949. Т. III. С. 326.

** Там же. С. 500 (письмо Пьеру Жане).

Тем не менее я склонен отрицать что-нибудь из глубочайших влечений человеческого духа»*.

«Благодаря психологии я могу себе представить сложность данного субъективного состояния»**.

Письмо Павлова Челпанову и составленная мною справка приведенных выше и ряда подобных высказываний Ивана Петровича о его отношении к психологии поколебали моих начальников в их решении закрыть мой психологический отдел как «антипавловский».

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ УХТОМСКИЙ

С Алексеем Алексеевичем Ухтомским у меня была только одна встреча с разговором, если не считать посещения нескольких его лекций, а также двух докладов — в 1930 г. на «поведенческом» съезде «Новое в учении о доминанте и парабiose» и в 1934 г. на V съезде физиологов «Возбуждение, утомление, торможение. Современное состояние проблемы утомления».

Беседа же его со мной была весьма интересной и памятной. Хотя он больше спрашивал и слушал, я все же всячески пытался узнать его мнение, и иногда это удавалось.

Как-то Леонид Леонидович Васильев (его ученик и последователь) сказал мне, что Ухтомский, прослышав о том, что я работал в УПНИ и лаборатории ЮЖД, хочет узнать некоторые подробности, встретившись со мной. В одно из зимних воскресений конца 1929 г. я пришел к нему на кафедру физиологии Ленинградского университета. Я увидел тучного, «дородного» человека лет за 50 с окладистой боярской бородой, в одиночестве копавшегося в каких-то томах. Если бы убрать его старомодные проволочные очки, то получился бы живой персонаж из «Бориса Годунова».

* Там же. С. 104.

** Павловские среды. Т. II. С. 416.

Он не спешил (ученые, видимо, во все времена не умели отдыхать), и разговор получился довольно продолжительный, хотя и свелся он, по существу, к двум темам.

Когда я упомянул об изучении слюнных рефлексов у хулиганов, Алексей Алексеевич, к моему удивлению, заинтересовался больше, чем я ожидал, и упрекнул меня, что я, работая затем по двигательной методике с телефонистками, одновременно не применял к ним и слюнной.

Второй и основной темой была связь психотехники, психогигиены и физиологии труда. Он всячески расспрашивал, что в этом отношении делается на Украине, и говорил, что признает психотехнику только в этом комплексном сочетании. В это время он по заданию «свыше» организовывал в Ленинградском университете подготовку небольших групп психотехников при своей кафедре, входившей тогда в биологическое отделение физико-математического факультета.

На одной из этих групп стоит остановиться. В ней учились лишь пять человек, из которых «стойко вошла в психологию» только Татьяна Васильевна Ендовицкая. Она работала потом с А. А. Толчинским в 1937 г. моей сотрудницей на Каче, а впоследствии с А. Н. Леонтьевым. С А. В. Запорожцем и Л. И. Божович она занялась детской психологией, чем занимается и поныне. Кроме нее, в эту группу входили Н. Богатов, Н. Филиппова, А. Мосенкова и Кизаринова. Обзорный курс психотехники Алексей Алексеевич в 1928–1929 учебном году поручил читать В. В. Васильеву, пригласив затем в 1929 г. из Москвы А. А. Толчинского. Дифференциальную психологию вел В. Н. Мясищев, физиологию труда — М. И. Виноградов. Алексей Алексеевич хотел организовать и курс гигиены труда, против чего возразило руководство университета. После окончания университета в 1931 г. вся эта группа была взята А. А. Толчинским в институт, возглавлявшийся гигиенистом Кайранским. Но об этом я уже говорил, вспоминая Толчинского и Мясищева.

Учение А. А. Ухтомского о доминанте общеизвестно. Положения же его о ритмах и усталости как чутьком «натуральном предупредителе о начинающемся утомлении» (так он говорил) менее известны. После

смерти своего учителя Н. Е. Введенского Алексей Алексеевич занял его кафедру физиологии, которой и руководил до конца жизни.

В конце 1930-х годов я услышал от Алексея Дмитриевича Сперанского интересные сведения о молодости Алексея Алексеевича Ухтомского. Разговор случайно коснулся того, почему последний так поздно (в 31 год!) закончил университет. Приведу слова самого Сперанского, прочтенные мною многим позже: «Один из немногих князей, как тогда говорили, “рюриковой крови”, получивший высшее духовное образование в Московской духовной академии, по природному складу человек “не от мира сего”, оказался крупнейшим русским и советским физиологом, завоевавшим себе для нас мировое имя».

Не всем, может быть, известно, что студент Ухтомский, окончивший духовную академию и занятый диссертацией, обратился за советом к нашему крупнейшему физиологу Н. Е. Введенскому.

Вопрос шел о некоторых положениях сирийских религиозных философов. Н. Е. Введенский предложил ему их проверить в условиях эксперимента. Первый эксперимент потребовал второго, второй — третьего и т. д. Когда Алексей Алексеевич оглянулся на свое прошлое, он понял, что и мысли, и деятельность его от прошлого уже оторваны...

Так началась переделка предполагаемого епископа в одного из крупнейших деятелей русского и советского естествознания*.

ПЕТР КУЗЬМИЧ АНОХИН

«Проблема “психики” и поведения представляет собой центральную проблему не только современной нам науки...» — этими словами Петр Кузьмич Анохин начал свою статью «Изучение динамики высшей нервной деятельности» в «Нижегородском медицинском журнале» (1932, № 78). Он работал над ней, завершая одновременно сборник «Проблемы центра и периферии в нервной деятельности» (Горький, 1935), который лег в основу всех его дальнейших

* Сперанский А. Д. Избранные труды. М., 1955. С. 573–574.

трудов и который я читал еще в рукописи. Мне посчастливилось быть одним из «стоявших у колыбели» теории функциональных систем.

Я встречался с Петром Кузьмичом еще в Ленинграде в Институте мозга в 1929 г. и на «поведенческом» съезде в 1930 г., но близко я познакомился с ним в 1932—1934 гг. в Нижнем Новгороде, тогда еще не переименованном в Горький. Он с 1930 г. руководил кафедрой физиологии Нижегородского медицинского института, а я — исследовательским сектором промсанитарии и техники безопасности (теперь бы сказали — эргономическим) на автозаводе. Он был молодой 34-летний профессор, прошедший бескомпромиссную школу у И. П. Павлова, я же — еще более молодой «хозяин» лабораторий на интересовавшем его заводе.

Если Серафим Михайлович Василейский входил в штат исследовательского сектора, то вторым, уже внештатным консультантом, и не сектора, а моим лично, был на автозаводе Петр Кузьмич Анохин. Его живой ум остро интересовался автозаводом, и поэтому он был у меня частым гостем, с немногими минутами в кабинете и с длительными обходами цехов. Как сейчас вижу его длинную фигуру, энергично вышагивающую по автозаводской кузнице! Я же не менее часто приезжал на заседания его кафедры.

Тогда же, в начале 1934 г., Петр Кузьмич познакомил меня с Линой Соломоновной Штерн. Лина Соломоновна была блестящим физиологом-экспериментатором, создательницей учения о гематоэнцефалическом барьере как физиологической защите организма. Появилась она в Нижнем Новгороде, можно сказать, по «блатному» поводу. Она должна была, как академик АН СССР, получить легковую автомашину нашего недавно пущенного завода. Это были первые советские легковые машины с открытым кузовом. Запасное колесо у них крепилось сзади. Но Лина Соломоновна прослышала от кого-то, что на самом заводе можно договориться о креплении его сбоку, справа. Поэтому она и приехала с Анохиным прямо ко мне.

Несмотря на далеко не первую молодость, некрасивую внешность и расплывшуюся фигуру, Лина Соломоновна носила очень яркие туалеты, и все на заводе на нее оглядывались.

Я всячески старался извлечь из ее приезда пользу для моего исследовательского сектора.

— Лина Соломоновна, — убеждал я ее, — мне легче будет говорить с директором завода о вашем колесе, если я скажу, что вы шефствуете над какой-либо из наших тем, лучше бы по психологии, ну хотя бы по физиологии труда, опираясь на ваше учение о гематоэнцефалическом барьере!

— Нет, Константин Константинович, прямой связи моей теории с вашей практикой я не вижу, а сшивать их белыми нитками не хочу.

Автомашину с запаской, о которой мечтала, она все-таки получила и уехала довольной.

В дальнейшем, в 1939 г., я, будучи начальником учебного отдела ИАМ, приглашал ее прочитать лекции на командирской учебе сотрудников института и на сборах авиаврачей.

О своем детище — гематоэнцефалическом барьере — Лина Соломоновна говорила как поэт, с подлинным воодушевлением. Но хотя бы попытаться найти выход своего учения не только в авиационную психологию и физиологию, но и вообще в авиационную медицину она категорически отказывалась. Она начинала свои лекции так: «Как связать ту область теоретической физиологии, о которой я буду вам говорить, с вашей практической работой, я не знаю, и вряд ли вы придумаете. Но я уверена, что учение о гематоэнцефалическом барьере надо знать каждому врачу. О нем я и расскажу вам».

Я привожу Лину Соломоновну как пример физиолога, не видевшего связи физиологии с психологией, однако уважавшего ее, как и свою науку.

Но вернусь к Петру Кузьмичу Анохину и к нижегородскому периоду, от которого я отвлекся.

Петр Кузьмич был одним из тех, близость с кем убеждала, что способности человека, выраженные до уровня таланта, становятся его характером. Он был по характеру и убеждениям физиологом с большой буквы!

Его увлечение наукой было столь велико, что дошло до абсурда: он выбыл из рядов партии, перестав платить членские взносы, искренне считая, что партийная работа отвлекает его от научной.

Когда я в 1934 г. переехал на год в Челябинск для создания на тракторном заводе комплексной научно-исследовательской лаборатории организации и оздоровления труда, я сразу почувствовал, насколько труднее мне стало работать без С. М. Василейского и П. К. Анохина, хотя средств на договорные темы и там отпускалось достаточно.

Наше общение возобновилось в 1937—1941 гг. и в стенах ВИЭМ (я был там членом комиссии по уроровской болезни, привлекшей внимание Петра Кузьмича), и в стенах Института авиационной медицины им. И. П. Павлова, где велись совместные с ВИЭМ работы и где Петр Кузьмич бывал нередко. В его докладах и беседах четко звучали положения его теории. В июле 1942 г. мы встретились на сессии ВИЭМ в Новосибирске, где он с позиции своей функциональной теории поддержал мое выступление об учете компенсаторных механизмов при военно-врачебной экспертизе. В июне 1949 г. он как председатель проблемной комиссии по ВВД пригласил меня на совместное заседание с психиатрами, где тщетно пытался найти с ними общий язык. В сентябре 1949 г. мы говорили о «психологическом узоре и физиологической канве» применительно к задачам авиационной психологии на научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения И. П. Павлова.

Я слышал в 1950 г. его растерянное выступление на восьмом заседании Павловской сессии, в котором он все же отстаивал теорию функциональной системы, отмечая, что она выросла из учения Павлова о саморегулирующейся системе организма, и опираясь на слова Ленина: «Хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством». Об этом он говорил не только в выступлении, но и в кулуарах, настаивая на необходимости глубокого обсуждения и дальнейшей творческой разработки, помимо своей теории, еще и других линий развития рефлекторной теории.

Мы встречались с Петром Кузьмичом и во время его приездов из его «почетной ссылки» в Рязанский мединститут и в дальнейшем в 1955—1958 гг., когда я как член правления Московского общества физиологов пытался возражать против его «опалы».

С большим вниманием я слушал доклад Петра Кузьмича в июле 1955 г. на совещании по психологии, когда он наиболее полно говорил

о теории акцептора действий. Эта теория сразу привлекла внимание психологов. Более широкое обсуждение его выступления началось после опубликования этого доклада в журнале «Вопросы психологии» (1955, № 6).

Наши беседы стали более частыми в 1961—1962 гг. в связи с двумя обстоятельствами. Они начались в связи с тем, что П. Н. Федосеев поручил мне подготовку предложений по организации Института психологии труда АН СССР (на основании постановления президиума АН от 1 сентября 1961 г. № 709). Петр Кузьмич проявил к этому институту большой интерес и с удовольствием находил время для разговоров о нем. В составленных мною «Предложениях» много и его мыслей.

Эти разговоры продолжались и при встречах в конце 1961 — начале 1962 г. в период подготовки Всесоюзного совещания по философским проблемам высшей нервной деятельности и психологии, и на самом совещании в мае 1962 г. Он принимал в нем весьма активное участие и свой доклад считал наиболее отвечающим названию и задачам совещания, которое оценивал гораздо выше, чем многие другие его участники.

Следующий этап нашего общения с Петром Кузьмичом был связан с периодом работы под моим руководством над диссертацией (1963—1966) и монографией «Эмоции и чувства как формы отражения» (М., 1971) Г. Х. Шингарова. Тема заинтересовала Петра Кузьмича, и, несмотря на всю занятость в эти годы, он нашел время для нескольких бесед как с диссертантом, так и со мной. Беседы с ним были продолжены при работе А. В. Шмакова над темой «Воля как форма отражения» (1968—1972). В частности, потому, что его статья «Психические формы отражения действительности» и наша с Г. Х. Шингаровым и А. В. Шмаковым «Эмоции, чувства и воля как формы отражения действительности» в сборнике «Ленинская теория отражения и современность» (София, 1969) стояли почти рядом. Понятно, что я не мог допустить в своей статье противоречий с его работой по моему недосмотру.

Общались мы и в период подготовки и проведения симпозиума по проблемам личности, итоги которого он подводил перед закры-

тием, уделив внимание и моей концепции динамической функциональной структуры личности и составленной на ее основе «Карте личности», часто поминавшейся выступавшими. Имели место беседы и при подготовке совещания по философским вопросам современного естествознания (декабрь 1970 г.), и в связи с материалами сборника «Философские проблемы биологии» (М., 1972), где были опубликованы его доклад «Философские аспекты теории функциональных систем» и мое выступление «Значение аналогии в эволюции функциональных структур психики». Еще более частым стало наше общение, когда был создан Институт психологии АН СССР.

Последний раз Петр Кузьмич позвонил мне по телефону за сутки до болезни, потери сознания и своей кончины. Звонил он мне в связи с выдвижением В. Ф. Рубахина в члены-корреспонденты, а меня — в действительные члены Академии педагогических наук. Но говорили мы больше о намечаемой совместной работе над эмоциональной стороной личности и переходами в онтогенезе эмоций в чувства.

Я отнюдь не хочу сказанным создать впечатление, что все мое понимание эмоций было «согласовано с П. К. Анохиным». О чем бы ни шла речь, он, как правило, поворачивал разговор или даже короткий ответ на мой вопрос на связь этого вопроса со своей теорией. Я же, поддерживая эту тенденцию, всегда пытался «накладывать на физиологическую канву психологический узор», против чего я никогда не встречал возражения, а либо развитие мысли, либо осторожное «быть может», либо четкое «не знаю, надо еще изучать». Далеко не все написанное мною как психологом он знал, хотя мою книгу «О системе психологии» (М., 1972) он прочел и одобрил. Но для меня всегда было высоко ценно, что мои взгляды чаще получали поддержку, чем безразличное отношение или же принципиальные возражения.

Я не останавливаюсь на теории функциональных систем более подробно, так как недавно в сборнике, посвященном памяти П. К. Анохина, была опубликована моя специальная статья «Теория функциональных систем, теория отражения и психология» (М., 1978).

Я видел Петра Кузьмича очень много раз в самых различных ситуациях. И совсем молодым заведующим кафедрой в Нижнем

Новгороде, и одним из руководителей отдела физиологии во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ), и несправедливо униженным на Павловской сессии, и лауреатом Ленинской премии за его книгу «Биология и нейрофизиология условного рефлекса» (М., 1968), и членом ученого совета нашего Института психологии АН СССР.

Главное, что отличало высокий уровень его замечательной личности, — он всегда и неизменно оставался самим собой.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ

Со взглядами на теорию нервизма Алексея Дмитриевича Сперанского я познакомился на Ямкуне, где находилась Уровская станция, прочитав там его недавно вышедшую монографию «Нервная система в патологии» (М.; Л., 1930). На читанном и перечитанном мною экземпляре этой книги было написано: «Николаю Ивановичу Дамперову — орлу нездешних гор — автор».

Забайкальскими вечерами Николай Иванович мне много рассказывал о днях подпольных кружков, сплотивших группу казанского студенчества, в которую входили и он сам, и Алексей Дмитриевич, и Владимир Викторович Адоратский. Тогда я не подозревал, чем буду обязан последнему в недалеком будущем!

Познакомил меня с Алексеем Дмитриевичем Николай Иванович уже в Москве, когда они оба работали в ВИЭМ.

Здесь уместно сказать несколько слов о ВИЭМ. В 1932 г. Ленинградский институт экспериментальной медицины, тот самый, где я встретился с И. П. Павловым, был реорганизован во Всесоюзный институт экспериментальной медицины при СНК СССР. В 1933 г. был открыт его московский филиал, а в 1934 г. в Ленинграде остался его филиал, а ВИЭМ был переведен в Москву. Расположился он в Балтийском поселке (теперь на север от станции метро «Сокол») и объединял ряд институтов по всей Москве. Его директором и организатором был (при непосредственной помощи М. Горького) сотрудник И. П. Павлова Лев Николаевич Федоров.

Именно на базе все расширявшегося ВИЭМ была в 1944 г. создана Академия медицинских наук СССР.

Научный путь Алексея Дмитриевича от Казанского университета до академика АН и АМН был, как он сам говорил, «своеобразный». В студенческие годы он предполагал быть хирургом, но, помня завет Н. И. Пирогова, что «путь хирурга идет через анатомический театр», он уже с третьего курса начал работать прозектором — «вскрывателем трупов», по его же выражению. Первую Мировую войну он провел хирургом. Будучи уже профессором хирургии, он в 1923 г. перешел на должность ассистента в лабораторию И. П. Павлова. Для психологии представляет интерес его доклад «Трусость и торможение» на II Всесоюзном съезде физиологов в мае 1926 г. Когда в 1934 г. ВИЭМ переехал в Москву, он возглавил в нем отдел патологии.

А. Д. Сперанский значительно развил учение о нервизме, начатое в мировой науке трудами И. М. Сеченова и С. П. Боткина. Нервизм, по мнению Алексея Дмитриевича, — это неявное, но обязательное участие нервной системы в каждом процессе, протекающем в организме животного или человека. Особое значение он придавал нервному компоненту при любой, в том числе и инфекционной, болезни.

Понятая мною еще на Ямкуне теория нервизма, так же как и развиваемая А. Д. Сперанским «теория второго удара», была в дальнейшем положена мной в основу всей моей экспертной работы. Красной нитью обе эти теории прошли и через мою докторскую диссертацию.

Я не раз наблюдал, как у летчиков сильнейшее переживание (например, в аварийной ситуации) проходило, казалось бы, бесследно, тогда как второе, даже более легкое, вызывало длительное и тяжелое реактивно-психогенное состояние.

В период работы и А. Д. Сперанского, и Н. И. Дамперова в ВИЭМ, в конце 1930-х годов, я был начальником учебного отдела Института авиационной медицины, выполняя и функции, близкие к задачам ученого секретаря, должности которого там не было. Поэтому я близко контактировал со всеми руководящими работниками ВИЭМ: И. П. Разенковым — специалистом по физиологии питания, П. К. Анохиным и, конечно, с Алексеем Дмитриевичем.

Он создал и возглавил в ВИЭМ Уровскую комиссию и привлек в нее прежде всего Н. И. Дамперова, а также и меня. Эта комиссия собиралась несколько раз (был там и мой доклад), но все ее планы разбились о противодействие Иркутского медицинского института, о чем я уже выше писал, исходившее, в частности, от профессора Шипачева. Создаваемые им гипотезы об этиологии уровской болезни, одна нелепее другой, вызывали смех Алексея Дмитриевича, прекрасно знавшего иркутскую научную обстановку, поскольку он сам там в 1920-х годах профессорствовал.

Мне хорошо запомнился один из вечеров у Сперанских в их квартире на улице Чайковского (рядом с теперешним американским посольством). Комфортабельность этой квартиры, гармонизировавшей с элегантностью ее хозяина, меня не поразила. Его нельзя было представить иначе! А вот наличие в ней двух роялей — концертного и кабинетного — в соседних комнатах меня, жившего тогда в полуподвале с болотом под полом, потрясло!

Но этот вечер, на котором у них собралось «казанское землячество»: Н. И. Дамперов, И. П. Разенков, Л. Н. Федоров и др., — врезался мне в память острым, полушутливым, а в целом очень серьезным разговором. Речь зашла о необходимости науке для ее прогресса иметь людей в качестве объектов экспериментального исследования.

— Что бы мы делали, если бы не было болезней, ставящих на людях естественный эксперимент?! — кипятился Алексей Дмитриевич, резко потрясая стриженной бобриком головой с тонкими чертами лица. — Но ведь этого нам мало. Прогресс науки определяется целенаправленным экспериментом. Этот закон, от которого отмахиваются ханжи, относится и к медицине!

— Что же вы предлагаете? Быть может, я соглашусь и доложу правительству! — нельзя было понять, в шутку или серьезно, спросил Л. Н. Федоров, — ВИЭМ ведь оказывают всемерную помощь. Только давайте не будем говорить об опытах на пленных. Не это же вы, надеюсь, предлагаете?

— Зачем над пленными. Помимо них, есть преступники! — отрезал Алексей Дмитриевич. Острый носовой угол его респира-

торного лица, кажется, еще более заострился, на худых щеках выступил румянец.

— Значит, так, — тем же невозмутимым тоном продолжал Федоров. — Новый уголовный кодекс. За хулиганство и кражи — разные сроки всяких режимов питания у Разенкова; вместо 25 лет — года на два к фармакологам; ну а высшую меру — расстрел — по желанию осужденного (или не спрашивая его?) заменить передачей в ваше с Анохиным распоряжение для экспериментов по электрофизиологии. Так?

— Бррр, — поежился кто-то из присутствовавших виэмовцев. — А где же мораль?

— А разве морально расстреливать преступника за вред, причиненный им обществу, без всякой пользы для общества?! — трудно было понять, серьезно или шутя продолжал горячо говорить Алексей Дмитриевич. — Не будем отождествлять безвинных пленных и людей, осужденных за преступления! Не моральнее ли предложить преступнику самому выбрать между наказанием и искуплением вины за причиненный обществу вред? Сказать «вам будет не больно», а сделать больно — это аморально! Но почему же аморально предложить человеку: вы осуждены на 10 лет заключения, но, если хотите, это может быть заменено либо часовой болью, после чего вас будут год изучать, а затем выпустят, либо безболезненным экспериментом, с 50% шанса или погибнуть, или быть свободным. Выбирайте, мол, сами!

— Что ж, в такой постановке, быть может, вы и правы. Но человечество еще не доросло до такого «Кодекса искупления вины». Так что в правительство с вашим предложением я не пойду, — заключил Федоров.

Я всегда вспоминаю этот разговор, когда читаю об опытах врачей-фашистов на пленных, а американских врачей на осужденных без получения их согласия. Вспоминал я об этом споре и на фронте в период Великой Отечественной войны. Ведь мысли Алексея Дмитриевича Сперанского совпадали с практикой и теорией штрафных батальонов⁹⁵.

Эта дискуссия опять всплыла в моей памяти уже после войны, когда на одном из совещаний Института авиамедицины возник

вопрос: «Можно ли приглашать платных исследуемых (как правило, студентов) для экспериментов в барокамере, могущих оказаться небезопасными для их здоровья?» Я высказался категорически против этого, утверждая, что такая практика подходит под действие статьи уголовного кодекса, и прочел эту статью. Вот она в несколько измененной, современной редакции.

Ст. 140 УК РСФСР (изд. 1975 г.)

Нарушение должностным лицом правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, если это нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие случаи, наказывается лишением свободы на срок до 1 года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до 100 руб., или увольнением от должности.

Те же нарушения, повлекшие за собой причинение телесных повреждений или утрату трудоспособности, наказываются лишением свободы на срок до 3-х лет или исправительно-трудовыми работами на срок до одного года.

Нарушения, указанные в части первой настоящей статьи, повлекшие смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений нескольким лицам, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

— Значит, надо остановить работы по авиамедицине? — раздалась возгласы. — Задержать прогресс авиации?!

— Нет, — ответил я, — но надо «испытуемого» сделать «испытателем», «наемного кролика» превратить в сознательного участника коллективной и опасной работы, согласившегося на это, но и находящегося как на специальном режиме, так и под постоянным медицинским наблюдением.

Предложение было принято. А через ряд лет мы с моим старым учеником и другом написали об этом специальную статью*. Однако ее часть, посвященная изложенной остроте проблемы, редактором сборника из нее была изъята.

Но вернемся к А. Д. Сперанскому.

* Кузнец Е. И., Платонов К. К. К проблеме отбора испытателей // Медико-технические проблемы исследований защиты человека / Под ред. С. М. Гординского. М., 1972. С. 71–75.

Мне пришлось присутствовать в ВИЭМ при дискуссии Алексея Дмитриевича с Иваном Петровичем Разенковым, доказывавшим значение гуморального фактора (фактора крови) в любых заболеваниях. И я услышал от него положение, записанное затем в «итогах» его книги: «Гуморальный фактор есть один из видов отражения нервных влияний в периферических тканях, без чего ни одна нервная функция нам вообще не известна»*. Он выделил голосом то, что потом выделил шрифтом.

Еще более мне запомнилось в этом их обмене мнениями, как Алексей Дмитриевич неожиданно вспыхнул, когда И. П. Разенков сказал что-то о «теории нервизма». «Сколько раз повторяю: лучше говорить “теория о нервизме”! Ведь нервизм — это явление, а учение об этом явлении производно. Сказал как-то Павлов: “нервизм — это физиологическое направление”, — и все повторяют! А Сеченов и Боткин говорили о явлении, и я тоже говорю о нем. Нервизм — это роль нервной системы в любой более общей системе организма животного и человека».

Придя домой, я записал слова Алексея Дмитриевича, выделенные в этом уже по памяти приведенном его высказывании. Я знал, что в своих печатных работах Алексей Дмитриевич не употреблял слова «нервизм», но свое понимание нервизма как явления, не применяя этого термина, сформулировал в статье «Учение о нервной трофике как путь исследовательской работы в медицине», опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма» (1937, с. 114): «Само понятие об органе таким образом нельзя было отделить от его нервного режима. Ряд экспериментов и наблюдений привели нас также к убеждению, что нервная система не только вовлекается в разного рода патологические процессы, но и сама способна их организовывать».

Работая в дальнейшем над взаимовлиянием форм отражения, я опирался на это понимание Алексеем Дмитриевичем той особой формы отражения, которую теперь все называют нервизмом и выше которой не поднялись беспозвоночные животные.

* Сперанский А. Д. Элементы построения теории медицины. М.; Л., 1938. С. 330.

У меня не хватает слов описать образ А. Д. Сперанского, этого поразительного по культуре и активности человека. Скажу только, что, читая в «Новом мире» (1977, № 4, 5, 6) роман Александра Крона «Бессонница», я в Успенском все время видел Алексея Дмитриевича! Не знаю, согласится ли со мной автор?

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ СТРЕЛЬЦОВ

Есть три рода деятелей науки, оставляющих в ней след (о мелькнувших бесследно речь здесь не идет). Это, во-первых, ученые, которым довелось присутствовать при зарождении и развитии новой комплексной науки, сумевшие благодаря своей широкой научной культуре ранее других понять и показать другим перспективы этой молодой науки, становясь пламенными трибунами ее. Во-вторых, это крупные специалисты в уже сложившейся науке, применявшие ее к новой области и упорно и последовательно обогащавшие последнюю своими конкретными исследованиями. Наконец, в-третьих, это ученые-организаторы, строившие на пустом месте и часто вопреки «мнению начальства» и в борьбе с ним не только системы понятий, но и системы мероприятий.

Ученый-коммунист Владимир Владимирович Стрельцов объединил в себе все эти три типа. Владимир Владимирович был учеником И. П. Павлова и гордился этим. Он любил повторять его слова: «Факты — это воздух ученого!»

Передо мной ряд пожелтевших листков из моего архива, так или иначе связанных в моей памяти с В. В. Стрельцовым.

Вот первый из них.

В санитарный отдел Аэрофлота
Платонова Константина Константиновича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в конкурс на замещение должности начальника Центральной психофизиологической лаборатории ГУГВФ или ее научного руководителя. (Далее шла моя биография, оканчивающаяся словами: 1934—35 год руководил психофизиологической лабораторией

Челябинского тракторного завода и организовал на нем научно-исследовательскую лабораторию организации и оздоровления труда. В ближайшее время могу явиться ввиду истечения срока договора.)

28/IX—1935 года

Я начинаю с этой архивной страницы потому, что это было мое первое заочное соприкосновение с Владимиром Владимировичем, хотя я и не подозревал об этом. Я тогда не знал, что конкурс, о котором я прочел в газете, был формальностью, так как назначение В. В. Стрельцова и начальником, и научным руководителем этой лаборатории было уже решено, поскольку он уже был с ней тесно связан и считался ее консультантом. Я привожу этот факт и потому, что он позволил мне в дальнейшем лучше понять отношение Владимира Владимировича к своей работе в авиации. Дело в том, что он знал об этом моем заявлении и сам напомнил мне о нем, когда в начале 1938 г. мы с ним познакомились.

— А, «конкурент», помню! Что же у вас получилось с Качинским филиалом? — сказал он и стал расспрашивать о причинах ликвидации филиала ИАМ, которым я руководил в 1936—1937 гг. Хотя он проявил уже в этот давний разговор большой интерес к авиационной психологии (он первым поддержал этот термин), я почувствовал (потому и запомнил) некоторую неприязненность в слове «конкурент». Потом, уже будучи его сотрудником по кафедре авиационной медицины ЦИУ, я как-то вечером попробовал вернуться к этой теме, но он шуткой уклонился от разговора.

Но все же этот разговор состоялся в Шарлоттенбрунне 10 мая 1947 г. по его же инициативе.

— Я ненавижу проходимцев, пытающихся примазаться к ВВС, а таких немало. Авиации надо отдавать всю свою жизнь, а было бы две жизни, то и двух не хватило бы. Когда я прочел ваше заявление на конкурсе в ГВФ, я тогда решил, что и вы, наверно, такой, примазывающийся.

А потом он повторил то, что я не раз слышал от него и раньше:

— А я ведь рожден для авиации, ведь не случайно же я В. В. С.!

В этой его любимой шутке была скрыта неизбывная, романтическая, даже детски трогательная любовь к авиации. Она давала ему

мужество в борьбе с «чиновниками авиации», — этот термин я также впервые и часто потом слышал от него.

А вот сохранившиеся в архиве тезисы моего доклада, сделанного по инициативе Владимира Владимировича в Центральной лаборатории авиационной медицины ГВФ 27 мая 1938 г. Они начинались следующими словами, сформулированными с его участием:

«Цели моего доклада “Основные вопросы наземной тренировки при летном обучении”:

1. Привлечь внимание работников авиамедицины к практически полезному и теоретически интересному вопросу.
2. Попытаться уточнить с психологической точки зрения теоретические предпосылки и практические возможности в этой области.
3. Наметить пути дальнейшей работы по психологическому анализу вопроса».

Это было вскоре после нашего знакомства и разгрома психологии в ВВС. Владимир Владимирович знал, что 16 августа 1937 г. Качинский филиал, занимавшийся вопросами авиапсихологии, был закрыт в 24 часа. И все же он активно привлек меня для этого доклада в своей лаборатории.

Когда в клиническом отделе ИАМ на базе комгоспиталя мною была развернута клиничко-психологическая лаборатория, Владимир Владимирович организовал систематическое ознакомление с нею своих «Стрельцов» — студентов авиафака мединститута, организованного им, наряду с кафедрой авиамедицины ЦИУ, в 1936 г. Все они пребывали по инициативе Владимира Владимировича в клиничко-психологической лаборатории ИАМ. Так, только в ноябре 1939 г. их у меня было четыре группы.

Но и ранее, когда в конце 1938 г. (я тогда назывался начальником барокамеры) я начал в клиническом отделе впервые производить «ложные подъемы», Владимир Владимирович заинтересовался ими и приехал посмотреть. Он ведь не мог пропустить ничего нового в авиамедицине! В дальнейшем он начал сам ставить эти «ложные подъемы», опубликовав по ним две работы в «Бюллетене экспериментальной биологии и медицины» вместе с В. М. Тарасенко

в 1942 г. (№ 11–12) и с Е. И. Кузнецом в 1946 г. (№ 4), содержащие глубокое физиологическое и биохимическое их «обыгрывание».

А вот страничка, которая привела меня в действующую армию, куда я рвался:

«Я считаю целесообразным задерживать одного из наиболее эрудированных авиационных врачей, кандидата медицинских наук, военврача второго ранга К. К. Платонова в тылу. Им проделана очень большая работа по врачебно-лётной экспертизе, и он продолжает работу над книгой “Человек в полете” и первым учебником психологии для лётчиков. Практический опыт, который он сможет приобрести на фронте, может принести большую пользу авиамедицине и авиапсихологии».

Эти слова из своего отчета о проверке медицинской службы ВВС Восточно-Сибирского военного округа, где я тогда был начальником 2-го отделения окружной военно-врачебной комиссии, Владимир Владимирович зачитал мне 6 октября 1942 г. в Новосибирске. Был он там несколько дней, но отлично успел ознакомиться с состоянием дел. Перед этим я более года, вопреки своему желанию попасть на фронт, был по назначению Л. Г. Ратгауза начальником санслужбы Новосибирской авиашколы и одновременно исполняющим обязанности флагманского врача ВВС округа. Но к приезду Владимира Владимировича я сдал дела штатному флагманскому врачу — военврачу I ранга Брусникину. Владимир Владимирович быстро и точно понял его. «Нелегко вам будет с этим безграмотным чиновником, подхалимом и бюрократам», — сказал он мне и пообещал помочь попасть на фронт. Свое обещание мне, как всегда и всем, он выполнил. 18 января 1943 г. я уже был назначен начальником медицинской службы фронтового 16-го бомбардировочного авиакорпуса.

А вот ещё памятный для психологии документ.

«Утверждаю»:

Начальник управления кадров и подготовки

ГВСУ Красной Армии (Вольнкин)

15 февраля 1945 г.

Учебный план усовершенствования врачей ВВС Красной Армии по авиационной медицине

I. Общая учебная цель: подготовить начальников кабинетов авиационной медицины для частей и соединений ВВС Красной Армии. Срок

подготовки — 3 месяца = 468 учебных часов. Распределение учебного времени между дисциплинами:

Наименование дисциплин	Всего часов	Из них		Примечание
		Лекции	Практик и семинаров	
Авиационная психология	54	24	30	

Начальник кафедры авиамедицины
полковник Стрельцов

Отечественная война еще не закончилась, когда в единственном медицинском учебном заведении в Советском Союзе, на кафедре авиационной медицины военфака ЦИУВ, кафедре, организованной Владимиром Владимировичем и руководимой им, начала читаться психология согласно вышеприведенному учебному плану. Для ее преподавания был приглашен С. Г. Геллерштейн. Когда он был уволен из ВВС, Владимир Владимирович приютил его в своей ЦЛАМ ГВФ, где работа по психологии вообще не прекращалась. Стоит напомнить, что одним из пионеров инженерной психологии не только в Советском Союзе, но и в мире был Н. А. Эпле, выполнивший под руководством Владимира Владимировича в его лаборатории две работы, опубликованные в журнале «Гражданская авиация» в 1935 г. (№ 8) и в «Трудах ЦЛАМ ГВФ» в 1937 г. (т. 2).

Владимир Владимирович воинствующе для того времени доказывал необходимость «законного брака» физиологии и психологии. Эту теоретическую линию Владимир Владимирович организационно укрепил тем, что пригласил на кафедру одновременно и профессора С. Г. Геллерштейна, и профессора Эзраса Асратовича Асратяна. Лучшего синтеза психологии и физиологии нельзя было и придумать.

Передо мной лежит отзыв В. В. Стрельцова.

«Книга К. Платонова “Человек в полете”, вышедшая в свет некоторое время тому назад, написана вдумчиво и интересно. Автор ее — научный работник и педагог, пылкий и смелый экспериментатор, умело сочетающий научную работу с практической деятельностью. Еще в 1936 году К. Платонов научился летать. Во время Отечественной войны он неоднократно принимал участие в боевых вылетах.

К. Платонов поставил перед собой задачу рассказать летчикам и всем тем, кто интересуется летной профессией, об особенностях условий полета

и о тех требованиях, каким должен отвечать человек, избирающий летную профессию. С этой задачей автор справился отлично...

...Прав автор, когда говорит о том, что качества нашего советского летчика не ограничиваются одним безукоризненным здоровьем. Но именно в этой-то главе больше всего хотелось бы видеть отображенным опыт Великой Отечественной войны, дающей бесчисленное количество примеров бесстрашия, самоотверженности, преданности Родине и многих других качеств советского летчика».

Так начиналась и так кончалась рецензия Владимира Владимировича, напечатанная в газете «Сталинский Сокол» 23 июля 1946 г. Хваля или порицая другого, каждый человек видит в нем то, что сам имеет и ценит. И эта рецензия — в значительной мере его автопортрет.

Передо мной лежит старый газетный лист:

«Организация научного общества авиационных врачей. При Московском обществе физиологов на днях организована секция авиамедицины. Военные авиационные врачи Московского гарнизона получили возможность систематических встреч с авиационными врачами других ведомств для обсуждения текущих научных вопросов и достижений.

Организационное собрание избрало бюро секции и наметило пути ее работы. Почетным председателем секции избран генерал-полковник медицинской службы академик Л. А. Орбели. Председателем бюро избран организатор секции полковник медицинской службы профессор В. В. Стрельцов. В состав бюро вошли: генерал-лейтенант медицинской службы Л. Г. Ратгауз, генерал-майор медицинской службы А. П. Попов и другие старейшие работники отечественной авиационной медицины. Секретарь бюро секции подполковник медицинской службы К. К. Платонов. 17 апреля 1946 г.».

Эта заметка, посланная по указанию Владимира Владимировича в газету «Красная Звезда», говорила о новой странице в истории авиамедицины — о созданном им первом научном обществе советских авиаврачей. Секция эта сыграла очень большую роль, выводя авиационную медицину из существовавшей «келейности» и «искусственной грифованности», — эти термины я не раз слышал от Владимира Владимировича. Заседания секции авиамедицины традиционно проходили в маленьком, проходном «конференц-зале» лаборатории

авиационной медицины в Старо-Пименовском пер., 4 (теперь улица Медведева). В середине 1950-х годов, уже после смерти Владимира Владимировича, делалось немало попыток ликвидировать эту секцию, но именем В. В. Стрельцова мне удавалось всегда ее «отстоять».

Следующие слова скопированы мною из рукописи моей работы «Из прошлого отечественной авиационной медицины», которая с 1952 г. находится в архиве Военно-медицинского музея в Ленинграде.

«Еще не так давно многие авиационные врачи считали, что в старой отечественной литературе нет ничего интересного по авиационной медицине и что историю отечественной авиационной медицины нужно начинать только с конца двадцатых — начала тридцатых годов нашего столетия. По этому глубоко неверному мнению, отечественная авиационная медицина развивалась главным образом путем заимствования опыта зарубежных стран».

Эти мысли Владимир Владимирович высказал во время одного из вечерних разговоров на кафедре авиационной медицины военфака ЦИУ. Правда, он говорил не о многих, а о конкретном и в то время «главном авиационном враче» — А. П. Попове. Мне самому не раз приходилось слышать подобные высказывания последнего.

Именно от Владимира Владимировича в эти вечерние разговоры я услышал фразу: «Без истории нет теории», — созвучную и моему пониманию этого вопроса. Мне казалось, что любовь к архивным изысканиям была чем-то вроде моей личной страсти. Но Владимир Владимирович не раз выражал недовольство своей статьей «Авиационная медицина и физиология в СССР за 25 лет», напечатанной в «Бюллетене экспериментальной биологии и медицины» в 1942 г. (№ 5—6) за ее чисто библиографический стиль. Он всячески поощрял мои работы в архивах, сетовал, что время не позволяет самому «рыться» в них. И говорил, что подлинная история авиационной медицины не может быть написана только библиографом.

Вместе с тем Владимир Владимирович с большим интересом относился к этой работе и всячески помогал Зинаиде Николаевне Замковой — заведующей библиотекой ЦИУ и консультанту-библиографу Института авиационной медицины, составившей еще в 1939—1941 гг. достаточно полную «библиографию по отечест-

венной авиационной медицине». Но именно на примере этой работы Э. Н. Замковой (находившейся в те годы в моем подчинении в качестве начальника учебного отдела ИАМ) он и доказывал невозможность написать историю науки без опоры на архивные источники. Я не только вспомнил и оценил глубокую правоту этих слов, когда читал «Очерки по истории авиационной медицины» А. А. Сергеева (М.; Л., 1962), но и включил их в свои рецензии на эту книгу, оставшиеся только в архиве, за исключением сокращенной, опубликованной (совместно с Е. В. Шороховой) в газете «Медицинский работник» от 25 февраля 1964 г. Я глубоко убежден, что книга А. А. Сергеева, построенная лишь на использовании «Библиографии» Э. Н. Замковой (к сожалению, без ссылки на ее автора!) и личных, не всегда верных воспоминаниях, без опоры на архивные данные и потому часто искажающая историю, была бы осуждена Владимиром Владимировичем.

Почти с первых заседаний секции авиационной медицины Московского общества физиологов Владимир Владимирович включал в ее повестки свои и мои, хотя бы краткие, сообщения об исторических находках, хотя это и вызывало пререкания с А. П. Поповым. Не случайно, когда я в начале 1950-х годов оформил собранный материал в брошюру, последний активно препятствовал ее изданию, и мне пришлось издать ее в Военно-инженерной академии им. Н. Е. Жуковского в 1957 г. под названием «Материалы из прошлого отечественной авиационной медицины». В этой книге впервые был опубликован портрет В. В. Стрельцова. Можно выразить сожаление и удивление, что, пока еще живы соратники и ученики (которые могли бы быть полезны скульптору), бюст его не изваян и не стоит ни в учреждениях, где он работал, ни в Военно-медицинском музее.

Вот слова из моей записной книжки тех лет:

«22 апреля 1947 года три жены провожают на вокзале мужей: Владимира Владимировича, Гришу Грайфера и меня на подмосковный аэродром авиации дальнего действия и дальше в Германию-Польшу. 23-го отлет 6-20 — Шенефельде. 13-20. 24 лекции в ААГ в Кенигсвустерхаузене. Все по-старому. Ночуем в нашем санатории ВВС в домике С. И. Руденко. Ночной разговор о Руффе».

Это была замечательная, сказочная поездка по знакомым мне по фронту местам для проведения серии занятий с врачами 16-й и 4-й воздушных армий. Владимир Владимирович читал авиационную физиологию, Григорий Рувимович Грайфер — врачебно-летную экспертизу, я — авиационную психологию. Никогда я не видел Владимира Владимировича таким цветущим, приподнято-оживленным. Его благородное, с правильными, мужественными чертами лицо сияло! Лекции его всегда были блестящими импровизациями, насыщенными конкретной информацией, яркими примерами из практики и четко сформулированным руководством. Но в этих лекциях за границей он просто блистал. Думаю, что эти дни с 22 апреля по 16 мая с полным правом могут быть названы его лебединой песней. Я благодарен судьбе, что мне пришлось быть его спутником, потому что именно в этой поездке у нас окончательно окрепли внутренние нити полного взаимопонимания и единомыслия.

Вечера у нас были свободные, тихие, насыщенные душевными разговорами, на двух из которых я остановлюсь здесь. Первый начался во время вечерней прогулки у озера, на берегу которого в мае 1945 г. я выбрал место для армейского санатория (он там находится и поныне). Владимир Владимирович попросил подробнее рассказать об истории этого санатория.

«Санаторий ведь четырежды ваш — как замначмедарма, как армейского невропатолога, как председателя армейской ВЛК и, наконец, как психолога», — сказал он.

Увлеченно говорил он о значении фронтовых летных санаториев, о сеченовском феномене и эмоциональной разрядке. Когда я писал в последней главе своей докторской диссертации об истории и значении армейских санаториев, я вспомнил и использовал этот вечерний разговор.

Потом уже в домике командарма Владимир Владимирович начал расспрашивать о моих встречах с Руффом, об отданных мною М. П. Бресткину и В. В. Левашову его отчетах и материалах по катапультным креслам. Сетовал, что отправленные мною в первые послевоенные дни материалы Руффа и Штругхольда (директоров двух немецких авиационных медицинских институтов) были (кроме

материалов по катапультному креслу, по которому работа была сразу начата) плохо использованы. О переданных мною Л. Г. Ратгаузу согласии и даже просьбе Руффа «работать на Советский Союз» Владимир Владимирович знал, как и многие другие, и раньше из моего доклада на секции авиамедицины и из личных разговоров. Знал он и то, что Л. Г. Ратгауз прилетел в Берлин, когда Руфф был еще там, но «счел ниже своего достоинства» встретиться с ним. Но только здесь я рассказал Владимиру Владимировичу, что, сажая Леонида Германовича на самолет при его отлете из Берлина, я еще раз просил его зайти в «Смерш» ВВС и через них дать указание об интернировании Руффа до выяснения обстоятельств, на что получил ответ: «Надоели! Не приставайте! Кому такое г... нужно».

Я зафиксировал в записной книжке слова Владимира Владимировича, подытожившие и разговор, и ситуацию: «Как жаль, что я не смог поговорить с Руффом. А в этой фразе — весь культурный и научный уровень Ратгауза!»

Еще заметка в моей записной книжке:

«30 апреля 1947 года отлет из Шенефельде в Лигниц, на автобусе в Швейдниц к командарму В. В. Степичеву. В. В. С.: "Не будем тревожить врачей на праздники". Курорт Шарлоттенбруннен... 6-го лекции ... 9-го — курорт — Ландек на границе Чехословакии. Живем в домике Рокоссовского... Полуночный разговор о его прошлом».
(В. В. С. — сокращенно Владимир Владимирович Стрельцов.)

В этом многочасовом и затянувшемся далеко за полночь разговоре вдвоем в его комнате мы говорили о прошлом и будущем авиамедицины и авиапсихологии, о методе обобщения независимых характеристик, о самолетах-лабораториях. Владимир Владимирович говорил, что он мечтал научиться летать, но не позволяло время и здоровье. Тогда же он рассказал мне много о своем научном пути*.

Родился он в семье учителя в Нарве 24 июня 1902 г. Но с семи лет жил в Петербурге, где и кончил в 1919 г. среднюю школу, после

* Другие подробности его биографии можно узнать из статьи: Самтер Я. Ф. Жизнь, отданная авиационной медицине // Вопросы авиамедицины гражданской авиации. М., 1967. С. 303–310.

чего добровольно пошел в Красную Армию. В 1926 г. Владимир Владимирович уже врач, выпускник Военно-медицинской академии. Еще студентом он начал работать у И. П. Павлова, которого считал своим учителем, а затем был оставлен на кафедре Л. А. Орбели, учеником которого фактически и стал.

Когда в Ленинграде при Институте гражданского воздушного флота в 1930 г. был организован Научно-исследовательский аэроинститут, он с первых же дней начал там работать над вопросами физиологии высотного полета.

«Здесь впервые и на всю жизнь связал я свой путь с авиацией, — сказал он и в который раз повторил: — Иначе ведь не могло быть, я ведь В. В. С.!»

В конце 1931 г. он был переведен в Москву в качестве начальника авиационного (IV) сектора Научно-исследовательского санитарного института (НИСИ) РККА.

«Это назначение я оценил как назначение руководителем всех работ по авиамедицине в Советском Союзе и потому таковым считаю себя и поныне», — сказал он. Я же уверен, что он не только считал себя, но и действительно был таковым, несмотря на все последующие невзгоды.

А их было немало. С первых же недель он начал добиваться выделения IV сектора НИСИ в самостоятельный Институт авиационной медицины, как он хотел его назвать. И в мае 1935 г. такой институт, благодаря его кипучей энергии, был создан под названием Авиационный научно-исследовательский санитарный институт (АвиаНИСИ). Он, конечно, и мысли не допускал, что не будет начальником этого института. Однако начальником был назначен Федор Григорьевич Кротков, начальником же физиологического отдела — С. И. Прикладовитский. Владимиру Владимировичу не нашлось в созданном им институте другой должности, кроме помощника начальника института «по МТО», как он сам сказал, то есть по материально-технической части. Хотя многие участники событий того времени говорили, что это была должность «помощника по общим вопросам», но Владимир Владимирович, думаю, справедливо не видел существенного различия в этих двух должностях.

Тогда-то он, проработав на этой должности несколько месяцев, перешел в Центральную психофизиологическую лабораторию ГУГВФ, о которой шла речь в начале этих записок о нем.

Могли ли мы предполагать в ту ночь в Ландеке, ночь полную воспоминаний и планов на будущее, что меньше чем через два месяца Владимира Владимировича не станет?!

А вот еще сохранившаяся страничка. Самая грустная — из стенограмм речей, произнесенных в крематории:

Много у нас, учеников и помощников, с вами — учителем и руководителем — было бесед, — это последняя.

Вы умели и любили говорить. Ваши лекции были дружескими беседами; беседы были лекциями учителя. Вы были подлинным учителем. Учителем, который в авиационной медицине знал больше других, видел дальше других и делал лучше других.

Авиационная медицина для вас была не случайная сумма отдельных фактов, а сложная и единая система знаний. Я помню, с какой грустью вы говорили: «Не понимают!» Говорили тогда про учеников, чаще про руководителей. Вы понимали!.. Вы стремились создать не механизм, а организм авиационной медицины и тяжело переживали ее неполадки, затруднения, срывы, болезни...

Мы помним ваши повседневные заветы: «Не зазнаваться!» и «Не хныкать!» Зазнаваться нам не от чего, но и хныкать мы не будем, даже сейчас, прощаясь с вами.

Вы учили нас мудрому ленинскому принципу о примате практики, и мы обещаем его не забывать. Во главе теории вы ставили эксперимент и требовали его от нас во всем — в физиологии, в психологии, в эксперименте. И мы обещаем выполнять и этот завет. Прощай!

После этих моих слов больше никто не видел Владимира Владимировича. Я выступал последним. Он ушел из жизни всего в 45 лет 1 июля 1947 г. в 15 часов в результате нелепой медицинской ошибки — неразличения гипер- и гипогликемического шока⁹⁶.

«Владимир Владимирович не был кабинетным ученым: от своего учителя И. П. Павлова он перенял умение сочетать точный эксперимент с живым наблюдением за другими и за собой. Первым человеком, поднявшимся в барокамере в Советском Союзе, был профессор Стрельцов. С целью изучения парашютизма он сам совершил

10 парашютных прыжков. Он же лично принимал участие в первом высотном полете по маршруту Москва — Харьков — Москва».

Эти слова можно прочесть в № 3 (6) информационного бюллетеня «Авиационная медицина» за 1947 г., издававшемся РИО НИИ ВВС и организованном с участием Владимира Владимировича. Почти в каждом из предшествующих номеров этого бюллетеня была его статья. Но заголовок той, откуда скопированы приведенные слова, был «Памяти В. В. Стрельцова». В этом написанном мною некрологе предпоследняя в приведенном абзаце фраза кончалась иначе: «Он сам совершил парашютный прыжок, и его парашютный значок имел номер десятый». Отредактировал некролог А. П. Попов, тогда главный врач ВВС. Спорить с ним умел только Владимир Владимирович.

Когда первый врач-космонавт Борис Борисович Егоров 18 октября 1964 г. докладывал на Красной площади о своем полете, имена Владимира Владимировича Стрельцова и клинициста Василия Григорьевича Миролюбова как стоявших у колыбели космической медицины были произнесены им с Мавзолея Ленина.

Яков Федорович Самтер

Воспоминания о Якове Федоровиче Самтере должны быть поставлены вслед за очерком о В. В. Стрельцове не только по логике моих встреч с тем и другим, но еще более в силу их теснейшей связи друг с другом и длительной совместной работы.

Яков Федорович был одним из старейших авиационных врачей системы Гражданского воздушного флота, оставившим там наиболее глубокий след.

Родился он 14 июля 1894 г. в семье служащего в Ростове-на-Дону. В детстве он провел с родителями четыре года в Швейцарии (с 1905 по 1908 г.), учась там в средней школе, что обеспечило ему знание европейских языков. Завершив затем учебу в гимназии в родном Ростове, он в 1915 г. поступил на медицинский факультет Донского университета, который окончил в 1920 г. После этого Яков

Федорович 11 лет прослужил врачом в РККА, последние шесть лет — начальником психофизиологической лаборатории Северо-Кавказского военного округа (1925—1931).

В 1931 г. он организует такую же лабораторию в Батайской авиационной школе, и с этого времени его жизнь оказывается связанной с авиационной психологией и лечебно-лётной экспертизой. Это тем более определилось, когда он в 1933 г. был переведен в Москву заместителем начальника Центральной психофизиологической лаборатории ГВФ.

Яков Федорович был спокойным человеком, отличавшимся упорством в достижении своей цели, но добивавшимся этого без взрывов, мягко и исподволь. Он умел ладить и с подчиненными, и, что гораздо труднее, с начальством, не изменяя вместе с тем никогда своей основной линии.

Среднего роста, коренастый, он был по внешности типичный южанин, темноглазый, с волнистыми темными волосами, а в старости — совершенно седой.

Яков Федорович был авиационным физиологом широкого профиля, но все же главной его специальностью была лечебно-лётная экспертиза.

Я знал многих председателей ВЛК и в свое время прочитал по лечебно-трудоу экспертизе все, что только можно было достать! К сожалению, у подавляющего большинства известных мне председателей экспертных комиссий главным доводом их решения была перестраховка — «как бы чего не вышло!». В старой литературе по военно-лечебной экспертизе я нашел только нескольких экспертов, наиболее учитывавших интересы свидетельствуемых. Это Яков Виллие, автор первого «Наставления, служащего руководством врачам при наборе рекрут находящимся» (СПб., 1806, 1810). Это Роман Четыркин, написавший «Опыт военно-медицинской полиции, или Правила к сохранению здоровья русских солдат в сухопутной службе» (СПб., 1834), и Сергей Петрович Мундт, врач воздухоплавательного парка под Петербургом, оборудовавший там в 1897 г. с целью лётной экспертизы первый летательный аппарат (воздушный шар) — лабораторию.

Из лично мне известных экспертов по глубине подхода к свидетельствуемым я могу поставить в один ряд с Я. Ф. Самтером только Н. А. Молодцова, И. К. Собенникова и Г. Р. Грайфера — теоретика индивидуального подхода, «сделавшего» А. П. Маресьева и оставившего для последующих поколений врачей-экспертов книгу «Военно-врачебная экспертиза. Библиографический указатель» (М., 1972, ч. I и II).

Яков Федорович, бесспорно, принадлежал к этой славной и не столь уж многочисленной когорте творческих врачей-экспертов. Уже одни заголовки его первых статей, посвященных авиации, говорят о многом: «Психофизиология и учебное дело» (1932), «Значение скорости двигательной реакции» (1932), «Причины летной неупеваемости» (1933), «Профотбор в авиашколы» (1933), «Рационализация профотбора в авиашколы» (1934).

Когда В. В. Стрельцов в апреле 1946 г. организовал секцию авиамедицины Московского общества физиологов и стал председателем ее бюро, Яков Федорович был единогласно избран его заместителем. В 1947 г., после смерти В. В. Стрельцова, он занял его председательское место. При Стрельцове я был секретарем бюро, а при Якове Федоровиче — его заместителем, став с 3 апреля 1952 г., когда он ушел на пенсию, председателем бюро и войдя в правление Московского общества физиологов. Острая, подчас дискуссионная обстановка заседаний секции при В. В. Стрельцове сменилась в период руководства Якова Федоровича на спокойную и по-особому «уютную». «Старо-Пименовский, 4» стал своего рода клубом московских (а нередко и приезжих) авиаврачей. Я же в дальнейшем старался объединять эти оба стили работы моих предшественников.

Впервые наши пути с Яковом Федоровичем пересеклись в 1938 г., когда я как начальник учебного отдела Института авиамедицины, в подчинении которого были и библиотека, и библиограф З. Н. Замкова, занялся сначала библиографией, а потом историей авиамедицины. И тут я выяснил, что до прихода Якова Федоровича в авиацию в ней не существовало ни одной библиографической работы и ни одна библиотека не имела таких списков! Его книжка «Авиамедицина.

Библиография» (М., 1935) и дополняющие ее статьи* были первыми, пусть скромными и неполными, но все же первыми и широко использовались авиационными врачами. Изданные же В. В. Стрельцовым при непосредственном участии Якова Федоровича 12 томов трудов лаборатории авиационной медицины ГВФ и несколько сборников не утратили своего значения и до сих пор.

Яков Федорович был глубоким теоретиком врачебно-лётной экспертизы и отличным ее практиком. Его монография «Теория и практика врачебно-лётной экспертизы в Гражданском воздушном флоте» (М., 1944), несколько ранее, но в том же году принеся ему в рукописи ученую степень доктора медицинских наук и звание профессора, оставила в авиационной медицине неизгладимый след. В предисловии к этой монографии начальник Лечсанупра ГВФ, известный общественный и политический деятель Коларов писал: «Лично Я. Ф. Самтером и под его руководством проведено 28 тысяч переосвидетельствований лётного и прочего состава, разработаны все законоположения по врачебно-лётной экспертизе ГВФ».

Надо отметить, что Яков Федорович заинтересовался еще в 1932 г. возрастом лётчиков, показав, что оптимальным для начала лётной деятельности являются 18—22 года. Потом нижняя граница была снижена до 17 лет. А в монографии 1944 г. он сломал фатальную «теорию излета» лётного состава и практически сберег для нашей страны опытнейшие кадры пилотов!

То, что ему приходилось упорно отстаивать от не слишком грамотных и излишне осторожных чиновников, сейчас стало тривиальной истиной. И, как это часто бывает, пионер борьбы за нее забыт!

«А кто мог возражать? Это ведь так ясно!» — вот довод многих Иванов, родства не помнящих!

Я многому научился в теории и практике у Якова Федоровича, экспертные заключения которого были всегда смелыми, доброжелательными для свидетельствуемых и вместе с тем глубоко и всесторонне обоснованными. Помню наши беседы по истории военно-врачебной и врачебно-лётной экспертизы и о том, что я в период, когда не было

* См.: Гражданская авиация. 1935. № 6; Труды ЦЛАМ. 1937. Т. 2.

психологического отбора, называл «бездиагностной негодностью». Это были случаи полного здоровья при явном отсутствии летных способностей. Летчики их называли «летным несоответствием».

Я часто вспоминал наши с Яковом Федоровичем разговоры об этой проблеме, когда писал свою статью «Личностный подход как принцип психологии» (1969), а потом книгу «Проблемы способностей» (М., 1972). И в статье, и в книге есть мысли Якова Федоровича.

8 октября 1974 г. секция авиакосмической медицины Московского общества физиологов торжественно отметила 80-летний юбилей Якова Федоровича. Доклад о его жизненном пути в авиамедицине подготовил его многолетний помощник и друг Антон Васильевич Чапек, работавший с ним с 1940 г. Я в этот день был не в Москве и на заседании секции не смог быть, но мое дружеское письмо было Якову Федоровичу зачитано.

В последние годы я часто, чаще, чем кого бы то ни было другого, встречал Якова Федоровича в библиотеке им. Ленина. Он много читал, реферировал, записывал. Бывало, стоя в вестибюле или на лестнице библиотеки, я его уговаривал написать воспоминания о медицине и психологии, о Гражданском воздушном флоте. Он все собирался, но так и не успел.

Умер Яков Федорович 18 января 1976 г.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРНШТЕЙН

Когда в 1949 г. я стал начальником отдела экспериментальной психологии Института авиамедицины, начал я, как уже говорил, с подготовки доклада о задачах отдела и намечаемых методах их решения. Точнее, это был не один доклад, а несколько, прочитанных в разных местах, в том числе и в лаборатории Николая Александровича Бернштейна в НИИ физкультуры и спорта на улице Казакова.

Незадолго до этого Н. А. Бернштейн, подведя итог этапу своей работы, начатой еще в 1920-х годах, издал свою замечательную по новизне, глубине и широте исследований монографию «О построении движений» (М., 1947), принесшую ему Государственную

премию. Сам он ее называл сокращенно «О пэдэ», научив и меня также называть свои работы по первым буквам заголовка. Но я всегда, конечно, понимал разницу между моими книгами и его, сразу ставшей настольной у всех серьезно работающих по проблеме движений.

Она была настольной даже у тех, кто его после Павловской сессии всячески поносил! Делать это было нетрудно. В его адрес даже многим легче, чем по отношению к другим, так как он не скрывал своего несогласия с рядом положений И. П. Павлова. На Павловской сессии он не выступал, я даже не уверен, присутствовал ли он на ней, я, во всяком случае, там его не помню. Возражал он прежде всего против так называемой рефлекторной дуги, положенной И. П. Павловым в основу рефлекторной теории. Идее дуги он противопоставлял идею кольца, как и П. К. Анохин, хотя и независимо от него.

Сейчас идея рефлекторного кольца Анохина—Бернштейна (алфавитный порядок решает спор о приоритете!) является общепризнанной и общеизвестной. Но мало кто знает, что в середине 1930-х годов Николай Александрович подготовил к печати работу, в которой остро дискутировал с Павловым, однако, когда 27 февраля 1936 г. Иван Петрович скончался, он ее уничтожил. Об этом мне рассказал С. Г. Геллерштейн, близко его знавший, и, хотя я не считал возможным проверять это, отдельные высказывания Николая Александровича и весь его характер подтверждают это.

Познакомился я с Николаем Александровичем в 1932 г., приехав в Москву из Нижнего Новгорода. В общих чертах мне уже тогда была ясна связь между психологией и движениями (являющимися объектом изучения физиологов). Во-первых, как движения животных, так и те, которые И. М. Сеченов назвал у людей «рабочими движениями», представляют собой не просто «моторику», а, по его же выражению, «психомоторику». Во-вторых, психомоторика, не являясь особой формой психического отражения субъектом (будь то животное или человек), представляет собой объективизацию всех свойственных им форм психического отражения. Иначе говоря, все формы психического отражения действительности в конечном

счете объективно проявляются в движениях.

К этим формулировкам я пришел уже после того, как заинтересовался работами Н. А. Бернштейна. А тогда, в начале 1930-х годов, переводя ряд рабочих мест на автозаводе с работы стоя на работу сидя, я фотографировал из одной точки станок и рабочего на общую пластинку в двух (и даже в трех) позах так, чтобы кисти рук (и, конечно, станок) всегда строго совпадали. В первом случае это была поза при работе стоя, во втором — сидя. О третьем случае, названном мною «самопроизвольной посадкой», надо сказать особо.

Ведь можно было в приказном порядке «внедрять» стулья в цеха. Я же начинал с тех рабочих мест, где сами рабочие садились, очевидно испытывая в этом настоящую потребность, причем садились на что попало. Хорошо, если это были стулья, принесенные из конторок и столовых. Но это бывали и ящики, и детали или их отходы, это бывали урны, плевательницы и даже деревянные торцы, сложенные столбиками, тщательно подогнанными под нужную высоту. Помню, выставка этих фотографий, демонстрирующих различные примеры «самопроизвольной посадки», вызвала немалый фурор на V съезде Общества физиологов в московском Доме ученых в 1934 г., где я делал соответствующий доклад, получивший похвалу Николая Александровича.

Несколько слов о нем*. Николай Александрович был потомственный интеллигент — внук врача и сын врача, с отроческих лет знал языки, играл на рояле. Родился он в 1896 г. в семье известного психиатра Александра Николаевича Бернштейна, одним из первых применившего психологические исследования в психиатрической клинике. Молодой врач Николай Александрович был в 1922 г., после демобилизации из Красной Армии, рекомендован К. Х. Кекчевым (они вместе учились в медицинском институте) А. К. Гастеву — директору ЦИТ.

Стоило бы подвергнуть специальному исследованию, кем из них было впервые применено слово «биомеханика». Но так или иначе,

* См. подробнее биографию Н. А. Бернштейна в книге: Чхаидзе Л. В., Чумаков С. В. Формула шага. М.: Физкультура и спорт, 1972.

а в своей статье «Народная выправка» в газете «Правда» от 11 июля 1922 г. А. К. Гастев писал: «...В человеческом организме есть мотор, есть “передача”, есть амортизаторы, есть тончайшие регуляторы, даже есть манометры. Все это требует изучения и использования. Должна быть особая наука — биомеханика... Эта наука может и не быть узко “трудовой”, она должна граничить со спортом, где движения сильны, ловки и в то же время воздушно легки, механически артистичны...»

В 1926 г. уже вышла книга Николая Александровича «Биомеханика для инструкторов». Это был курс прочитанных им лекций, первую из которых он начинал словами: «Товарищи! Биомеханика в точном переводе значит механика жизни. В сущности, это есть наука о том, как построена живая машина, т. е. каждый из нас, о том, как устроены движущиеся части этой машины и как они работают».

Тогда же им был разработан и метод тончайшей регистрации и анализа движений человека — хроноциклография и изучены как локомоция ходьбы, так и основные производственные движения.

Казавшийся более высоким из-за своей худобы Николай Александрович всегда напоминал мне и обликом, и манерами, и чем-то в своем характере моего любимого героя — Дон Кихота. И он действительно был бескомпромиссно-преданным фанатиком своих идей. В средние века его, наверное, сожгли бы. В наш более гуманный век — только оплевывали! Трагичность его личности мною воспринималась более остро, чем многими, так как я знал о его тяжелой болезни больше других. Он о ней не говорил. Потому не говорю и я.

Он был высоко и разносторонне одарен, и гениальным его нельзя назвать только потому, что он не попал на волну времени, значительно ее опередив!

Он оставил человечеству две идеи, глубина которых будет признана, теперь надеюсь, не в столь уже отдаленном будущем.

Первая из них — это экспериментально строго обоснованное понимание уровневого построения движений, к чему я еще вернусь.

Вторая — учение о физиологической активности как общем свойстве жизни.

Беда Николая Александровича заключалась в том, что если за работы первого направления его упрекали в механицизме, то за второе направление — в идеализме. А он не был виновен ни в том, ни в другом. Он был диалектиком!

Многим позже, уже посмертно, вышла его вторая монография «Очерки по физиологии движений и физиологии активности» (М., 1966). В ней он развивал идею наличия в живом организме «модели потребного будущего».

Впервые эти идеи я, как и многие другие, прочел в его статье «Проблемы взаимоотношений координации и локализации» в «Архиве биологических наук» в выпуске 1 за 1935 г. Но ни я, ни остальные читатели не заметили тогда, что он на 10 лет опередил Винера в публикации основных положений кибернетики.

Еще одна его монография «Ловкость и ее развитие» так и не увидела свет. Судить о ней можно по фрагменту рукописи в виде статьи «О происхождении движений», опубликованной, также посмертно, в № 2—7 журнала «Наука и жизнь» за 1968 г.

Идеи Николая Александровича во многом развил и дополнил Алексей Николаевич Леонтьев в своей книге «Деятельность, сознание, личность» (Политиздат, 1976, 1977). Но феномен, справедливо рассматриваемый А. Н. Леонтьевым как субстанция, которой он наделяет не только человека, но и все живое и машины, был почему-то им назван деятельностью. Н. А. Бернштейн же, как и большинство других, называют его активностью. Деятельность как такое взаимодействие человека с миром, в котором первый сознательно изменяет второй, — это высшая форма активности, присущая только человеку. А активность — это субстанциональное свойство материи, имеющееся и у неживой природы (например, химическая активность), но в процессе эволюции как материи, так и этого ее свойства ставшее сущностью жизни.

Так, вспоминая беседы с Николаем Александровичем, я понял, принял и усвоил его представление об активности, ставшее и моим.

Николая Александровича иногда упрекали за попытку распространять уровни построения движений на всю психику. Но он был этому

чужд, что видно из следующего диалога, имевшего место у него в лаборатории, когда мы однажды разговаривали допоздна и я спросил:

— Считая, что автоматизация двигательного навыка (например, вождения автомашины или пилотирования) определяется его опусканием на более низкие уровни центральной нервной системы, признаете ли вы возможность автоматизации навыков других видов с сохранением их на высшем уровне, то есть уровне коры?

— Конечно, — незамедлительно ответил он, — навыку счета в уме, той же таблице умножения из коры спускаться некуда и незачем.

— Тогда как вы отнесетесь к моему пониманию интуиции как высокоавтоматизированного, строго определенного умственного навыка? — быстро, ловя его на слове опять спросил я. — Ведь такое определение снимает всю мистику понимания интуиции открытыми или неявными, даже замаскированными последователями Бергсона. Более того, оно дает путь к ее формированию.

— Что ж, теоретически вполне возможно. Но точнее я не знаю. Умственные навыки, мышление — не моя область. Спросите у Сергея Леонидовича Рубинштейна — это его епархия! — закончил он.

Это я и сделал. Но об этом я уже писал выше. Умер Николай Александрович Бернштейн, постепенно угасая, в 70 лет — 16 января 1966 г.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ БЫКОВ

Первое мое знакомство с Константином Михайловичем Быковым было заочным, когда вышло в 1947 г. и попало в мои руки второе издание его основной монографии «Кора головного мозга и внутренние органы». О ее первом издании, выпущенном в Кирове в 1942 г., я только слышал, будучи на фронте, а эту книгу не только прочитал, но и расчеркал.

Наиболее по душе мне пришлось приведенные в ней слова учителя К. М. Быкова И. Ф. Циона: «С помощью кардиографа умирающий богач мог бы точно узнать степени искренности печали его наследников».

Я в это время уделял много внимания объективизации эмоций летчиков в полете, и эта фраза как нельзя более отвечала моим интересам.

Содержание книги в целом меня не поразило, так как все, о чем Константин Михайлович писал, опираясь на экспериментально-физиологический материал, давно было показано отцом на клиническом материале и методом экспериментального гипноза.

Огорчило меня в этой монографии отсутствие должных упоминаний о работах отца и об оживленной переписке с ним в 1930-х годах по инициативе самого К. М. Быкова. Книга отца «Слово, как физиологический и лечебный фактор» не была даже упомянута в сносках, а в первой главе были только слова:

«Советский психиатр Платонов изучал действие вербальных раздражителей при гипнотическом состоянии и показал, что очень многие функции могут быть при этом изменены».

Фамилия отца стояла даже без инициалов!

В 1947 же г. я прочитал в «Физиологическом журнале» статью К. М. Быкова (написанную совместно с В. Н. Черниговским), в которой в первый раз увидел слова «третья сигнальная система». Они подразумевали сигналы, идущие в кору головного мозга от внутренних органов, через вегетативную нервную систему. Вскоре эту идею Константин Михайлович самостоятельно развил во «Врачебном сборнике», а я потом о ней услышал на Павловских чтениях. Она была несколько кощунственной в то время, так как Павлов говорил только о двух сигнальных системах. Видимо, поэтому никто, в том числе и Л. А. Орбели, этой мысли К. М. Быкова тогда не поддержал, и он сам быстро от нее отказался.

В дальнейшем на Павловской сессии ближайший помощник Константина Михайловича, его «методолог» Эрванд Шамирович Айрапетьянц пытался доказать, что греховность идеи сводилась только к неверно выбранному термину.

Термин действительно был неудачный, так как он ставил эту систему выше павловской второй, то есть сигнализации словом, — системы чисто человеческой. Место же этой «третьей системы»

в иерархии форм отражения ниже первой — свойственной и животным, и человеку. Эти три системы в свете иерархии форм отражения, сохранившихся у людей, следовало бы располагать так: вегетативная, выше которой не поднялись растения; анимальная, выше которой не поднялись животные; сознание, свойственное только человеку.

Но поспешный, я бы сказал, трусливый отказ надолго увел проблему этих трех систем от изучения ее в свете теории отражения.

Лично познакомился я с Константином Михайловичем на Павловских чтениях, которые проводились после смерти Павлова ежегодно и на которых я регулярно бывал. Помню его всегда впечатляющую, импозантную, в военно-морском генеральском мундире фигуру и красивое, улыбающееся, несколько самодовольное лицо с коротко постриженными усиками над верхней губой.

Но основная встреча с К. М. Быковым, как моя, так и многих других психологов, произошла на Павловской сессии. С подлинным восторгом воспринял я неожиданное начало его доклада, открывавшего сессию: «Важнейшей основой современной медицины является биология. Закономерности биологии поэтому и лежат в теоретическом обосновании всех кардинальных вопросов теории и практики медицины. Но, поскольку медицинские дисциплины всесторонне изучают организм человека, медицина как в ее теоретическом, так и практическом плане опирается и на так называемые гуманитарные дисциплины. Поэтому всякая попытка создать теоретическое обоснование медицинской науки на основе только биологии или на основе только психологии неизбежно приводила и приводит к грубому механистическому мировоззрению и в конце концов к беспочвенному идеализму и фидеизму...»

— Вот как хорошо и верно, — шепнул я сидевшему рядом Б. М. Теплову.

— Мягко стелет, — ответил тот, — посмотрим, как будет нам спать!

А спать нам оказалось жестко! Все дальнейшее как в его речи, так и в духе всей сессии не согласовывалось с этим многообещающим

началом. Потом я узнал, что это были не его слова, что они ему были специально добавлены, как шапка доклада. Но произнес он их с пафосом, казалось идущим от души. Но еще больший пафос звучал в его голосе, когда он «громил» Орбели: «К сожалению, мы должны констатировать, что Л. А. Орбели, который был поставлен во главе всех учреждений, где работал И. П. Павлов, не выполнил в полной мере возложенной на него задачи. Л. А. Орбели не направил имеющийся у него и созданный еще Павловым коллектив работников на развитие прямых павловских идей, на борьбу с влиянием западно-европейских и американских буржуазных теорий, с которыми вел беспрерывную борьбу Иван Петрович... В своих “Лекциях по вопросам высшей нервной деятельности” Л. А. Орбели игнорирует основной методологический принцип И. П. Павлова... Орбели... подвергает критике метод условных рефлексов и отдает предпочтение субъективным методам исследования...»

И дальше все в том же роде не менее двух часов!

Меня поразила его непоследовательность, когда в перерыве я увидел, как он спокойно, как ни в чем не бывало, даже дружелюбно, чем-то напоминая большого медведя, подошел к Леону Абгаровичу и заговорил с ним. Но потом я понял, что это была не непоследовательность, а маскировка.

Здесь нельзя не сказать кое-что о втором основном докладчике на Павловской сессии — об Анатолии Георгиевиче Иванове-Смоленском. Его имя мне, как и всем психологам 1920-х годов, было известно по модификации корректурного метода Бурдона, широко применявшегося как «тест Иванова-Смоленского». Представлен я ему был на «поведенческом» съезде моим отцом, хорошо знавшим его по клинике Бехтерева и по переписке. Узнав, что я делаю доклад по типам нервной системы, Анатолий Георгиевич тепло поздравил отца. «Второе поколение двигательных рефлексов!» — сказал он, зная диссертацию отца, им посвященную.

Много интересного о молодости этого яркого, фанатичного и противоречивого человека я слышал от главного психиатра Советской Армии генерал-майора медицинской службы профессора Николая Николаевича Тимофеева.

Да я и сам составил собственное представление о нем по его работам и по его выступлениям на Павловских чтениях. Но его поведение во время сессии превзошло все мои ожидания. Ему было тогда 55 лет, и он был только на девять лет моложе К. М. Быкова, но из-за своей резко выраженной эмоциональности казался многим моложе его. Его доклад — второй основной доклад на сессии, следовавший непосредственно за выступлением К. М. Быкова, — был остро направлен против психологии и против отождествляемого им с нею «субъективного метода». Поощренный лестными словами в свой адрес в речи К. М. Быкова, А. Г. Смоленский яростно обрушился с убийственной критикой на целый ряд крупнейших наших ученых: Л. А. Орбели, А. С. Шмарьяна, М. О. Гуревича, И. С. Беритова, П. К. Анохина и других. Эти два первых доклада послужили сигналом для ряда последующих выступлений в том же стиле.

Вместе с тем уже на сессии Б. М. Теплов обратил мое внимание на то, что Анатолий Георгиевич, своеобразно понимая теорию отражения, считает, что психическое — это отражение физиологических процессов мозга, а не реального мира! Эту методологическую ошибку А. Г. Иванова-Смоленского в дальнейшем подробно показал С. Л. Рубинштейн.

Наша встреча опять второе после 20-летнего перерыва произошла в последний день Павловской сессии у вешалки, в вестибюле Дома ученых. Анатолий Георгиевич оживленно беседовал с моим отцом и, когда я подошел, узнал меня.

— Почему я нигде не читал ваших работ по типам нервной системы? — спросил он, дружески пожав мне руку. Потом, увидев мои погоны, крайне настороженно: — Надеюсь, вы не в авиации?

— Уже много лет, — ответил я.

— Так это, значит, вы написали «Очерки психологии для летчиков»?! — уже не вопросительно, а с искренним удивлением воскликнул он и, помолчав, со скорбным выражением, тоном убитого горем произнес: — Как дошли вы до жизни такой?!

Сказал и отвернулся, всем своим подавленным видом показывая, что говорить нам больше не о чем!

Мы с отцом молча отошли.

Но, когда я примерно через полгода, 8 октября, позвонил ему, навзвася и сказал, что хотел бы с ним поговорить об экспериментальных работах в авиации, он приветливо ответил, назначив встречу на следующий день у себя в Институте охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП) в Замоскворечье. Дело в том, что в тот период его поддержка гарантировала успех любого дела, а мне необходимо было преодолеть инерцию моего начальства и решить вопрос об оборудовании моих заветных самолетов-лабораторий.

Приехав, я застал в приемной уйму людей. Анатолия Георгиевича еще не было, но, вскоре войдя, он сказал другим: «Армии предпочтение!» — и повел в кабинет, где, не дожидаясь моих слов, с которыми я приехал, сам жадно (это я не случайно, а точно написал — жадно) стал меня расспрашивать о том, что я делаю в авиации.

Я был ошарашен, так как ждал сухих и придирчивых вопросов в духе того времени. Ведь только за день до этого мой начальник полковник Алексей Васильевич Покровский сказал мне (в который раз за последние месяцы), на этот раз в таком варианте: «Константин Константинович, вы же не глупый человек, а упорно хотите заниматься такой чепухой, как психология! Давайте переименуем ваш отдел в отдел физиологии высшей нервной деятельности — я сразу в два, а то и в три раза увеличу ваш штат!»

Упомяну еще одну фразу А. В. Покровского, сказанную через много лет и отражающую волны отношений к психологии. 28 сентября 1965 г. мы встретились с ним на похоронах одного из основоположников авиационной гигиены профессора Владислава Акимовича Спасского, моего старого друга. Алексей Васильевич подвез меня на своей машине в Институт философии на Волхонку, 14, где я уже работал. Мы ехали по Большой Пироговской, по которой так часто с ним ездили в 1950-е годы в штаб ВВС. Проезжая мимо Дома ученых, где проходила памятная для нас обоих Павловская сессия, он обернулся ко мне с переднего места рядом с шофером и сказал слова, подводившие итог моей работы в авиации: «Эх, Константин Константинович! Били мы вас, били, и все нам казалось, что мало бьем! А теперь бы мы вас на руках носили!..»

Еще бы не били, если даже билета мне — начальнику отдела — на Павловскую сессию в институте тогда не нашлось! «Зачем он вам? Вы же психолог!» И я получил билет как член правления Московского общества физиологов!

Наш разговор с Анатолием Георгиевичем в его кабинете продолжался около двух часов. Не знаю, забыл ли он, что в приемной его ждет много людей. Я, конечно, не забыл, но не хотел торопить его, чтобы еще подробнее обсудить мои самолеты-лаборатории. И тогда он сказал следующую, также незабываемую фразу: «Все, что вы рассказываете о вашей работе, — крайне интересно, даже захватывающе. Но вы все время говорите это ужасное слово — “психология”! И я не могу, — он прижал эффектным жестом пальцы к виску, — у меня сшибка⁹⁷, и может получиться невроз! Дайте мне отдохнуть. Приходите завтра в это же время».

Но завтра его секретарша, позвонив мне, сказала: «Анатолия Георгиевича вызывают “наверх”. Сегодня он вас принять не сможет. Я вам позвоню, когда он сможет».

Больше она мне не звонила. Я ему тоже. Даже одного посещения его оказалось достаточно, чтобы протолкнуть нужное оборудование для самолетов-лабораторий.

Но вернемся к К. М. Быкову.

У меня нет никаких оснований не доверять следующей информации, полученной от Петра Львовича Романовича, одного из старейших авиаврачей. Вскоре после Павловской сессии он рассказал мне, как оказался случайным свидетелем возвращения из Москвы К. М. Быкова к себе на кафедру физиологии Военно-морской академии в Ленинграде.

«Он вошел в свой кабинет, пританцовывая и потирая руки, со словами “наконец-то я спихнул старика!”. Мы все обомлели...» Вот как сам Константин Михайлович понимал значение Павловской сессии!

Эти слова моего друга, скромного и безгранично преданного науке и авиации человека, звучали у меня в ушах, когда я в апреле 1951 г. входил в кабинет директора ФИИ (Физиологического института АН СССР) на Тучковой набережной, кабинет, в котором работал Иван

Петрович Павлов, а после его смерти и до Павловской сессии — Леон Абгарович Орбели, а теперь меня принимал Константин Михайлович Быков. Я привез ему на отзыв открытый вариант моей докторской диссертации.

Начал я над ней работать на Каче и в комгоспитале в 1936—1937 г. В 1949 г. она, готовая, была отправлена для защиты в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Но в первый же день Павловской сессии я телеграммой просил ее задержать, а затем и вернуть. Дело в том, что она вся опиралась на положения Л. А. Орбели и П. К. Анохина, и мне было ясно, что после докладов Быкова и Иванова-Смоленского она «пройти» не могла. Я в ней потом в сущности ничего не изменил, только значительно сократил ссылки на Леона Абгаровича и Петра Кузьмича. Кладя рукопись на стол К. М. Быкову, я шел на риск.

В результате в моем архиве находятся два отзыва, подписанных академиком Быковым. Первый на четырех «разносных» страницах с заключением: «Книга К. К. Платонова в ее физиологической части нуждается в переработке» — подписан 12 апреля 1952 г. И тот, и другой на одну и ту же рукопись, но в разных переплетах!

Передавая мне эту вторую рецензию, Константин Михайлович сказал:

«Я помню, что в прошлый раз подписал критичный отзыв, составленный Бирманом. Но вы хорошо поработали и исправили все ошибки».

Его референт К. А. Ланге потом шепнул мне, что на этот раз Константин Михайлович просмотрел рукопись сам и сказал ему написать хороший отзыв.

Больше с Константином Михайловичем я не встречался. Я мог идти на риск (в данном случае оправдавший себя: диссертацию я защитил 20 апреля 1953 г.), но не на дальнейший беспринципный контакт.

Он умер 15 мая 1959 г. в возрасте 73 лет, пережив Л. А. Орбели на полгода. Я в это время еще не оправился после инсульта и ждал демобилизации.

ЛЕОН АБГАРОВИЧ ОРБЕЛИ

Имя Леона Абгаровича Орбели — крупнейшего физиолога, ученика и последователя И. П. Павлова — в числе прочих областей его работы тесно связано с историей советской авиационной физиологии.

Для меня же оно неотрываемо и от авиационной психологии, поскольку я всегда чувствовал его благожелательную поддержку и помощь.

С его трудами я, конечно, был знаком и раньше, но как живой человек он прочно вошел в мою жизнь с 1938 г., когда я работал в Москве в Институте авиационной медицины.

Тогда в моем подчинении находилась барокамера, установленная в комгоспитале в Лефортове. Я производил в ней тренировочные, в том числе и «ложные», подъемы летчиков, когда, например, прибор в барокамере показывал 6 тысяч метров, а фактически было 3 тысячи, или, наоборот, прибор показывал 4 тысячи метров, а фактически было 6 тысяч. Я консультировался тогда с Леоном Абгаровичем по поводу замеченного мною факта, что при пользовании кислородными приборами открытого типа тренировка малоэффективна благодаря резкому повышению процента кислорода в камере. Леон Абгарович похвалил меня за это мое наблюдение и помог мне преодолеть косность начальства, не желавшего изменять такой безграмотный режим барокамеры.

В дальнейшем Леон Абгарович был единственным, кто согласился с моей идеей применения кислорода под избыточным давлением для обеспечения жизни на больших высотах и возможности повышения таким образом «потолка» летчика. Уже эта одна его поддержка в то время наполнила мое сердце чувством благодарности к нему на всю жизнь! Ведь я ставил этот вопрос и на совещаниях в институте, и лично перед А. П. Аполлоновым, бывшим тогда признанным «богом кислородного питания» и действительно крупным специалистом в этой области. А. П. Аполлонов постоянно высмеивал эту идею, говоря, что только психологу могла прийти в голову такая нелепица, и вкладывая в слово «психолог» самый нелестный смысл, характерный для того периода после закрытия филиала института на Каче.

Ведь это в мой адрес А. П. Аполлонов писал в опубликованном тогда учебнике «Авиационная медицина» (М., 1941, с. 193): «Попытки дать газ под более высоким давлением следует оставить, как опасные для жизни человека... Следствием этого может быть также разрыв легочной ткани».

С помощью Л. А. Орбели, хотя уже после войны, жизнь показала, что прав был я!

Леон Абгарович первым организовал в Ленинграде в Военно-медицинской академии термобаролабораторию и даже был в ней не только испытателем, но и испытуемым. Может быть, поэтому он прекрасно понял значение пропагандируемой мною психологической установки при «подъемах в барокамере».

Это были мои довоенные контакты с Леоном Абгаровичем.

В первый период Отечественной войны на оставшейся в Москве базе эвакуированного Института авиационной медицины была под руководством Л. А. Орбели создана лаборатория авиационной медицины как филиал Военно-медицинской академии, начальником которой он тогда являлся. Кроме того, он был назначен председателем ученого совета по авиационной медицине при Главном военном медицинском управлении.

Хорошо запомнилось мне расширенное заседание этого ученого совета, проходившего вскоре после победы 16 июля 1945 г. в клубе комгоспиталя в Лефортове. На него, кроме основных московских кадров, было вызвано много войсковых авиаврачей. В числе других докладов были также и мои: «О степенях переутомления летного состава» и «О влиянии алкоголя на летную деятельность», оба получившие на этом совещании одобрение Леона Абгаровича.

Леон Абгарович был в это время в расцвете сил и в зените своей деятельности, отметив за несколько дней перед этим свое 63-летие (он родился 7 июля 1882 г.). Его крупная, грузная фигура в мундире генерал-полковника, красивая голова с огромным лбом и правильными, точеными чертами лица, сочетание белой седины усов и бородки с черными южными глазами и бровями — все это производило эффектное впечатление. Живой герой древнего армянского эпоса!

Он сконцентрировал в своих руках «всю физиологическую власть», как говорили его подчиненные. Действительно, не было ни одного физиологического совета или другого учреждения, где он не играл бы руководящей роли. Надо отдать ему справедливость, что эта роль всегда была творческой и что его разносторонний обширный ум и неутомимая работоспособность успешно справлялись с этим руководством. Но нравилось оно, конечно, не всем. Потому его и поносили позже, в русле разгрома генетики после сессии ВАСХНИЛ и на Павловской сессии!

Поскольку Институт авиамедицины в ходе войны был закрыт, в проект резолюции совета в тот памятный день в комгоспитале был вставлен пункт о необходимости его восстановления, а вернее, создания заново. Когда эта резолюция зачитывалась, Леон Абгарович вдруг поднялся, как разгневанный Зевс, и, перебив докладчика, голосом Громовержца пророкотал: «Зачем институт, когда есть лаборатория? Кто писал резолюцию?» И в гробовой тишине замершего зала (слышно было, как щелкали зубы Л. Г. Ратгауза, главврача авиации), еще громче: «Я спрашиваю, кто писал эту резолюцию?..»

Поняв, что сейчас идея создания института, в котором, я знал, планируется и отдел экспериментальной психологии, провалится, я встал и постарался говорить возможно спокойнее, так сказать, психотерапевтическим тоном:

— Я (в числе других) писал эту резолюцию, не знаю, почему они все молчат! Я не понимаю, почему вы так рассердились, Леон Абгарович? Или вы считаете, что лаборатория, так много сделавшая во время войны, сможет справиться с новыми задачами и в послевоенное время? Если вы так считаете, тогда институт не нужен.

Опять тишина. Л. А. Орбели молчит и думает.

— Перерыв! — сдавленным голосом скомандовал Леонид Германович Ратгауз, хотя он и не председательствовал, а только сидел в президиуме.

Когда мы все вышли в фойе, вокруг меня образовался вакуум. Все отскакивали, как бузиновые заряженные шарики. Но знак заряда мгновенно переменялся, когда остывший Леон Абгарович неожиданно сзади подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, сказал:

— А вы правы, институт действительно нужен!

После перерыва резолюция была единогласно принята без поправок.

Позже мне товарищи говорили:

— О господи! Ты укротил его, как разъяренного льва!

В конце 1940-х годов я интенсивно, каждую свободную минуту работал над диссертацией и иногда полностью отключался от современных мне событий. Испытывая необходимость в консультации, я, бывало, обращался и к Л. А. Орбели, и он мне не отказывал. 27 сентября 1948 г., получив по телефону разрешение, я пришел к Леону Абгаровичу в его московскую квартиру (у него их было две, основная была в Ленинграде) в академическом доме на улице Чайковского.

Он работал за письменным столом в халате и туфлях. «Как Анатоль Франс», — подумал я.

Мой первый вопрос к нему был о субъективном как основном свойстве психического.

— Правильно ли я понимаю вас в этом важнейшем вопросе, и можно ли, цитируя вас, выделять слово «субъективное» курсивом? — спросил я, прочитав ему цитату из его книги: «...я буду стараться пользоваться понятием “чувствительность”... только в тех случаях, когда мы можем с уверенностью сказать, что раздражение данного рецептора и соответствующих ему высших образований сопровождается возникновением определенного субъективного ощущения... Во всех других случаях, где нет уверенности или не может быть уверенности в том, что данное раздражение сопровождается каким-либо субъективным ощущением, мы будем говорить о “явлениях раздражительности и возбудимости”»*.

— Бесспорно, можно, — ответил он, — пожалуй, я сам это должен был бы сделать. Там, где нет субъективного, еще нет и психического. И, наоборот, там, где есть субъективное, появляется психическое. Так в филогенезе и так же в онтогенезе.

Я запомнил эти его слова на всю жизнь, и с тех пор они лежат в основе моего понимания психики. Но на этом разговор еще не кончился.

* Орбели Л. А. Лекции по физиологии нервной системы. М.; Л., 1938. С. 32.

— Второй мой вопрос, Леон Абгарович, почему я тревожу вас, — это ваше отношение к патобиографическому методу Б. Н. Бирмана и вообще к роли жизненных показателей для определения типов нервной системы человека. Мне предстоит об этом говорить с Борисом Михайловичем Тепловым, и я хотел бы иметь возможность сослаться на ваше высокоавторитетное мнение.

Он вдруг сразу помрачнел.

— Вот на эту тему сегодня мне совсем не хотелось бы говорить, — и, заметив мое удивление: — Вы что, газет не читаете?

— Простите, но действительно два дня заработался дома. А в чем дело? — я был совершенно сбит с толку.

— Тогда слушайте!.. — и он спокойно, взяв со стола газету «Правда», с выражением выделяя некоторые слова, прочел мне передовую статью об освобождении его от должности академика-секретаря биологического отделения АН СССР, которым он был с 1939 г.

Ему ставились в вину ошибки в понимании генетики и поддержка книги С. Н. Давиденкова «Эволюционно-генетические проблемы неврологии» (Л., 1947).

— Так что мое мнение о типологических свойствах человека вряд ли можно сейчас считать высокоавторитетным, — в голосе его звучала горечь, — потому не будем сегодня больше об этом говорить...

Поступательное движение научной мысли в дальнейшем через десятилетия отмело все несправедливые упреки в адрес Леона Абгаровича. Когда мы в начале 1962–1970 гг. готовили в Институте философии Всесоюзное совещание по философским проблемам физиологии высшей нервной деятельности и психологии, Леона Абгаровича уже не было в живых. Он умер 9 декабря 1958 г.

На тему, близкую к первой части нашего с Леоном Абгаровичем разговора, готовил доклад другой ученик Ивана Петровича Павлова — Петр Степанович Купалов. Он был на шесть лет моложе Л. А. Орбели, но уже догонял его в науке. Пользуясь обстановкой творческих бесед, я рассказал ему о разговоре с Леоном Абгаровичем по вопросу о субъективном и спросил его мнение. В ответ он прочитал выдержку из своего будущего доклада: «На определенном этапе филогенетического и онтогенетического развития присущее живым

тканям общее свойство раздражимости обогащается свойством переживаемости. Это — величайший скачок, величайшее событие в ходе эволюции жизни. Возникает то, что мы называем субъективным, или в другом, более полном смысле — психическим. Для живых существ весь смысл возникновения и развития этого нового качества состоит в том, чтобы служить внешней деятельности организма, его сложному соотношению с окружающей средой»*.

— Значит, у вас нет расхождений в этом вопросе с Леоном Абгаровичем? — спросил я.

— Нет, — коротко и четко ответил он.

Мне это было чрезвычайно важно. Значит, я как психолог и философ видел основной атрибут психического, а следовательно, и основное различие между психической и физиологической формами отражения в том же, в чем его видели два крупнейших специалиста по эволюционной физиологии. Этого до сих пор не понимают многие физиологи, психологи и кибернетики. Но это поняли Орбели и Купалов.

А вот еще памятная встреча с Леоном Абгаровичем 22 декабря 1947 г. на расширенном заседании президиума Всесоюзного общества невропатологов и психиатров совместно с физиологами, посвященном учению И. П. Павлова в психиатрии. Ввиду остроты проблемы, чтобы не привлекать излишнего внимания нежелаемых участников, главным образом студентов, его провели в Институте судебной психиатрии им. Сербского, в проходной которого всегда стоит дежурный милиционер.

Леон Абгарович поставил перед психиатрами два основных вопроса: «Как можно применить учение Павлова к человеческому организму? Можно ли обоснованно перенести результаты физиологических экспериментов с животных на человека?»

Из всех его реплик явственно следовало: можно и нужно, но не огульно, не механически, помня о социальном своеобразии человека.

Еще отчетливее было видно, что более крайняя позиция А. Г. Иванова-Смоленского его не устраивала.

* Купалов П. С. Учение о рефлексе и рефлекторной деятельности и перспективы его развития // Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии. М., 1963. С. 146.

За это заседание и ему, и многим психиатрам, а М. О. Гуревичу больше других, пришлось нести ответ на Павловской сессии.

Я уже много рассказывал о ней. В отношении Л. А. Орбели можно сказать: несмотря на неудачный поворот колеса его судьбы и его административного положения, эта сессия явилась вершиной его морального величия, кульминацией его общественного признания.

На ней держали обличительные речи многие из тех, о которых лучше всего можно сказать словами басни Крылова: «...И он его лягнул...»

Выступая в первый раз в начале сессии, к слову сказать, после Б. М. Теплова и П. С. Купалова, Леон Абгарович держался внешне спокойно, что было, вероятно, нелегко, так как на нем скрестились сотни взглядов. Чувствовалось, что он натянут, как струна.

Но в конце сессии, на 10-м заседании, перед заключительными словами докладчиков он попросил слово и сумел показать всю ничтожность обвинений, еще раз направленных в его адрес, двумя ответами: «Меня упрекают, что я в своей диссертации не учел работы Владимира Ильича “Материализм и эмпириокритицизм”. Это верно, что не учел. Но диссертация написана в середине 1907 г., отпечатана в 1908 г. и защищена 15 мая 1908 г., то есть за несколько месяцев до подписания Владимиром Ильичом Лениным предисловия к его замечательной книге “Материализм и эмпириокритицизм” (сентябрь 1908 г.) и за год с лишним до появления ее в свет. Меня упрекают, что я поставил в Колтушах бюст Менделя. Но его поставил в торжественной обстановке сам Иван Петрович, спросите садовника! Я виноват, что не снял его, но идти против воли своего учителя я не смог».

Он стоял не на кафедре, как все другие, а сбоку, внизу и, несмотря на это, выглядел величественным. Его выступление многократно прерывалось бурей аплодисментов зала. Да и как ему было не аплодировать, когда он имел смелость публично сознаться, что «в силу отсутствия привычки выслушивания критики в отношении себя (меня в этом отношении испортили мои товарищи в предшествующие годы)... тяжело пережил доклады... отчего потерял нужное спокойствие и самокритичность».

И такое достоинство и величие духа явил 68-летний старик, из которого полвека успешной карьеры, славы и власти не смогли

вытравить способности посмотреть на себя со стороны! Вот уж действительно сумел человек пройти «испытание медными трубами»!

Президент академии С. И. Вавилов, при полном молчании зала зачитав резолюцию, без голосования за нее закрыл сессию.

С 1950 г. Л. А. Орбели было оставлено только руководство группами для индивидуальной работы в Академии наук и Академии медицинских наук.

В заключение воспоминаний о Леоне Абгаровиче я должен остановиться еще на одной ситуации.

В 1959 г. в Цюрихе вышла книга австрийского врача профессора Гуго Глезера «Драматическая медицина», изданная у нас в 1962 г. Это увлекательная книга об опытах врачей на себе. На странице 180 русского перевода в ней описываются эксперименты, полные драматизма, якобы проведенные Леоном Абгаровичем над собой в барокамере на «высоте» 12 тысяч метров и в подводной лодке в 1933 и 1938 гг. В эти годы Леону Абгаровичу было 51 и 56 лет. Я сам поднимался в барокамере без кислорода до 10—11 тысяч метров и знаю тяжесть и последствия этого. Но мне тогда было 32 года, а в 50 лет ни один здравомыслящий врач этого делать не будет! Но это еще не обоснование. А вот свидетельство генерала медицинской службы, профессора Михаила Павловича Бресткина, моего давнего друга, в прошлом непосредственного участника всех работ Орбели в области повышенного (их было больше) и пониженного давления. Он с возмущением говорил:

— Зачем эта романтическая «развесистая клюква!» Не было этого! Личность Леона Абгаровича совсем не нуждается в таких «приукрашениях».

И, помолчав, добавил:

— Медвежья это услуга памяти Леона Абгаровича!

Когда мы с Е. М. Крепсом прочли эту страницу, мы написали протест редактору русского издания профессору Б. Д. Петрову с просьбой уведомить профессора Глезера. Но он даже не ответил нам. А ведь мы знали каждый научный шаг Леона Абгаровича!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Читатель, хотя бы бегло просмотревший эти записки, мог убедиться, что это действительно не моя биография и не история психологии, как я и предупреждал вначале. Это — воспоминания о встречах с живыми людьми, участниками этой истории.

Когда я писал, перед моим мысленным взором проходила вся моя жизнь, нелегкая, но интересная. Прошли передо мной и люди, оставившие след на моей личности, постепенно формируя ее, как глину пальцы скульптора.

Спасибо им всем. Без них я не был бы тем, что я есть. Спасибо им не только за меня, но и за мою науку. Ведь большинство из них хоть что-то изменили в ходе становления современной психологии.

Мне хотелось показать на судьбах всех этих людей противоречивый, порой мучительный рост идей.

Наука движется неравномерно — то течет спокойным, могучим потоком, а то втягивается в узкие водовороты. Но закон один: она не течет обратно и всегда найдет свой путь сквозь любые заторы.

Познание, развиваясь по спирали, в своем поступательном движении постоянно и обязательно приближается к абсолютной истине.

А я, как сказал армянский поэт Возген Гарун, только хотел

Уже прошедшим долгий трудный путь,
В мою сокровищницу руки окунуть,
Цепями памяти бесценными играя.

10 февраля 1978 г.
Москва

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

- 1 Многие годы К. К. Платонов посвятил сбору материалов, отражающих историю развития отечественной авиационной и военной психологии, психологии труда. После смерти К. К. Платонова его научный архив, а также материалы, собранные в ходе поисковой работы, были переданы родственниками в научный архив Института психологии АН СССР. Часть архивных материалов опубликована в книгах: Платонов К. К., Лавников А. А. Материалы из прошлого отечественной авиационной медицины. М.: Изд-во Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, 1957; К истории отечественной авиационной психологии (документы и материалы) / Отв. ред. К. К. Платонов. М.: Наука, 1981; Карацан В. А., Платонов К. К. История развития отечественной авиационной психологии. Монино, 1986.
- 2 В харьковских газетах и журналах тех лет часто публиковалось рекламное объявление о «лечебнице доктора И. Я. Платонова для нервных и душевнобольных и алкоголиков» следующего содержания: «Помещение для нервных больных совершенно отдельно от помещения для душевнобольных. В нервное помещение принимаются нервно больные: неврастения, истерия, невралгия, функциональные страдания периферической и центральной нервной системы (параличи, сухотка спинного мозга и др.). Применяются: внушение, гипноз и другие виды психотерапии, массаж вибрационный и другой. Имеются водолечебница с углекислыми, кислородными, электрическими и др. ваннами, душами Шарко, восходящими, шотландскими и др. Гимнастический зал и электрический кабинет с приспособлениями для светолечения и рентгенотерапии. Больные принимаются на полный пансион, кроме постельного и носильного белья. Адрес: Харьков, психиатрическое отделение — Скобелевская ул., 14; нервное отделение — Нетеченская ул., 6» (опубликовано в 1916 г.).
- 3 Ковалевский Павел Иванович (1849–1923) — доктор медицины (1877), профессор (1884), крупный отечественный психиатр. Автор оригинальной концепции о роли кровообращения и обмена веществ в центральной нервной системе, первого отечественного руководства по психиатрии (1880), основатель первого русского психиатрического журнала «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» (1883), организатор при Киевском университете первой на Украине

самостоятельной кафедры психиатрии и одной из первых экспериментально-психологических лабораторий.

- 4 Анфимов Яков Афанасьевич (1852—1930) — русский и советский психиатр, с 1894 г.— профессор психиатрии в Харьковском университете, а с 1919 г.— заведующий кафедрой психологии в Тбилиси. Известен исследованиями в области психофизиологии речи, судебной психиатрии, изучением периодичности в течении ряда заболеваний. Ему принадлежит одно из первых описаний циклотимии.
- 5 Механотерапия — метод лечебной физкультуры, основанный на выполнении дозированных движений, осуществляемых с помощью механотерапевтических аппаратов, облегчающих движения или, наоборот, требующих дополнительных усилий для их выполнения.
- 6 Уровская болезнь, или Кашина—Бека болезнь, или остеоартроз деформирующий эндемический — болезнь опорно-двигательного аппарата, характеризующаяся дегенеративно-дистрофическим поражением суставов конечностей и позвоночника. Этиология окончательно не выяснена, относится к эндемиям, то есть характерна для определенных регионов и районов местности, что обусловлено соответствующими природными и социальными условиями этой местности. В частности, уровская болезнь распространена в Забайкалье и некоторых других районах Восточной Сибири. В книге К. К. Платонов подробно описывает события, связанные с его участием в изучении болезни.
- 7 Проблема социального и биологического в человеке касается вопроса о том, в какой степени и какие именно психологические процессы, свойства и состояния человека обусловлены природными, генетическими или социальными факторами. Проблема носит междисциплинарный характер — в ее разработке участвуют специалисты различных дисциплин. Ряд материалов, подробно освещающих эту проблему, ее историю и современный уровень разработки, можно найти в научной литературе.
- 8 Фребеличка — так называли выпускниц Фребелевских курсов (по имени Ф. Фребеля — немецкого педагога, теоретика дошкольного воспитания, автора трудов по дошкольной педагогике, обосновавшего идею детского сада и методику работы в нем). Курсы являлись платными педагогическими учебными заведениями для подготовки воспитательниц детей дошкольного возраста в семьях и детских садах. Существовали во многих городах России.
- 9 Других документов и свидетельств о пребывании В. М. Бехтерева в Харькове не обнаружено.

- 10 По другим данным, К. И. Платонов (1878—1969) заведовал кафедрой нервных и психических болезней Харьковского медицинского института с 1922 по 1928 г. См.: Блейхер В. М. Экономические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. Словарь. Киев, 1984. С. 401.
- 11 Метод гипнорепродукции является экспериментальным методом, который позволяет формировать заданные психические состояния, то есть создавать определенные психические модели эмоций, свойств и состояний человека применительно или к измененному ходу времени (как в данном, описанном К. К. Платоновым случае), или к определенным условиям деятельности (как это описано в книге: Гримак А. П. Моделирование состояний человека в гипнозе. М.: Наука, 1978).
- 12 Синельников Николай Николаевич (1855—1939) — русский и советский актер, режиссер, педагог, народный артист РСФСР (1934). Сценическую деятельность начал в 1873 г. С 1910 г. с перерывами возглавлял Харьковский русский драматический театр. Скорее всего, труппу этого театра и имел в виду К. К. Платонов.
- 13 II Всероссийский съезд по психоневрологии проходил в Петрограде с 3 по 10 января 1924 г. Председатели оргкомитета — В. М. Бехтерев и А. П. Нечаев. В его работе участвовало около 1500 человек, представляющих невропатологию, психиатрию, физиологию, педагогику. Центральной проблемой, обсуждавшейся на съезде, стали методологические вопросы психоневрологии. Съезд проходил на базе Петроградского государственного университета.
- 14 Секция, которой заведовал А. В. Гервер, называлась «секцией гипноза, внушения и психотерапии».
- 15 Вопрос о телепатических явлениях действительно мало исследован. И несмотря на то, что опубликован ряд работ советских исследователей по этой проблеме, в данном вопросе нет ясности и определенности. См.: Васильев Л. Л. Экспериментальные исследования мысленного внушения. Л., 1962; Его же. Внушение на расстоянии. Л., 1962; Его же. Тайственные явления человеческой психики. М., 1959, и др.
- 16 Официального посвящения К. И. Платонову в книге нет.
- 17 Свидетельств и материалов, подтверждающих данный факт жизни отца автора, пока не обнаружено.
- 18 Рымарская улица — название не изменилось. Кстати, в 1920 г. на Рымарской жил председатель ВЧК, народный комиссар внутренних дел

Ф. Э. Дзержинский, назначенный начальником тыла Юго-Западного фронта, штаб которого находился в Харькове. См.: Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова. Харьков: Прапор, 1977. С. 121.

- 19 Психогенный энурез — болезнь, характеризующаяся непроизвольным мочеиспусканием во время сна, обусловлена психической травмой.
- 20 В соответствии с работой по систематизации сведений об обществах и кружках по изучению местного края, музеев и других краеведческих организаций, проведенной Центральным бюро краеведения, по состоянию на 1 января 1925 г. об институте имелись следующие сведения до указанного срока: Институт распространения естествознания (бывшее Общество любителей природы, а затем Институт свободного научного творчества) был основан в 1919 г., располагался в Харькове по адресу: ул. К. Либкнехта, 39. Включал отделы: ботанический, зоологический, гибридологический, общебиологический, художественно-фотографический. Председателем института являлся И. К. Тарнани. См.: Краеведные учреждения СССР. Справочник. Л., 1925. С. 59, 118. Вместе с тем в подробном же указателе, составленном по состоянию на 1 декабря 1927 г., ИРЕ уже не указан. Это позволяет предположить, что ликвидация института и включение его в состав Всеукраинского социального музея им. тов. Артема произошли в течение 1925 г.
- 21 Сумская улица — название не изменилось. В 1884 г. на правой стороне улицы за Мироносицкой площадью, напротив Университетского сада, на пустыре было построено трехэтажное здание (первоначально предназначенное для студенческого общежития), в котором разместился медицинский факультет Харьковского университета (между площадью Дзержинского и проспектом «Правды»), самый крупный факультет университета (24 кафедры). На Сумской находились также кабинеты и лаборатории женского медицинского института (на углу улицы Сумской и площади Советской Украины). См.: Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова. Харьков: Прапор, 1977. С. 203, 125.
- 22 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — русский и советский естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположников отечественной научной школы физиологии растений. Являлся главным корреспондентом Российской АН и Петербургской АН. Избирался депутатом Моссовета (1920), ему принадлежит открытие энергетической закономерности фотосинтеза в растениях. Один из первых пропагандистов дарвинизма в России.

- 23 К. К. Платонов приводит фразу из авторского предисловия книги К. А. Тимирязева «Наука и демократия» (М., 1963). Полностью цитата звучит так: «С первых шагов своей умственной деятельности поставил себе две параллельных задачи: работать для науки и писать для народа, т. е. популярно (от *populus* — народ)».
- 24 Фитопсихология (синоним — психоботаника) — понятие, применявшееся в конце XIX — начале XX в. в связи с попытками создать науку о якобы свойственной и растениям психике. Развернутая критика фитопсихологии дана в работах К. А. Тимирязева.
- 25 Коржинский Сергей Иванович (1861—1900) — русский ботаник, академик Петербургской АН. Развил морфолого-географический метод в систематике. Ему принадлежит право создателя теории наступления леса на степь. Кроме этого, независимо от зарубежных исследователей обосновал в 1899 г. мутационную теорию эволюции, то есть теорию гетерогенеза.
- 26 Фаминицын Андрей Сергеевич (1835—1918) — русский физиолог растений, академик Петербургской АН (1884). Показал возможность осуществить фотосинтез при искусственном освещении. Доказал (совместно с О. В. Баранецким) симбиотическую (от слова «симбиоз» — форма сожительства двух организмов разных видов) природу лишайников.
- 27 Зоопсихология — раздел психологии, изучающий происхождение и развитие в процессе эволюции психики животных, предысторию и биологические предпосылки зарождения человеческого сознания. Благодаря работам отечественных ученых (К. Ф. Рулье, В. А. Вагнер и др.) в XIX — начале XX в. были заложены основы эволюционного направления в зоопсихологии, которое получило дальнейшее развитие в трудах советских ученых. Исследования по зоопсихологии имеют важное теоретическое значение для науки и большое прикладное значение для медицины и животноводства. Подробнее с зоопсихологией как наукой можно познакомиться в работах: Кашкаров Д. Н. Современные успехи зоопсихологии. М., 1928; Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. М., 1976, и др.
- 28 Жужелицы — семейство жуков подотряда плотоядных. Обитают в почве и на ее поверхности, реже на деревьях, в древесине, в муравейниках. В основном многоядные хищники, питающиеся почвенными беспозвоночными. На жужелицах проведены исследования по зоогеографии, географической изменчивости, жизненным формам.

- 29 Всеукраинский социальный музей им. тов. Артема основан в 1922 г., располагался в Харькове по адресу: ул. Свободной Академии, 6—8. Включал отделы искусства, производительности труда, охраны здоровья. См.: Краеведные учреждения СССР. Справочник. Л., 1925. С. 60; Краеведные учреждения СССР. Справочник. 2-е изд. Л., 1927. С. 122.
- 30 Фабр (Fabre) Жан Анри (1823—1915) — французский энтомолог (специалист по изучению насекомых), автор ряда учебников и научно-популярных трудов по биологии насекомых.
- 31 Вагнер Владимир Александрович (1849—1934) — русский и советский биолог и зоопсихолог (специалист по изучению психологии поведения животных), основоположник отечественной сравнительной психологии (область психологии, изучающая общность и различия в происхождении и развитии психики животных и человека). Автор фундаментальных работ по исследованию психики животных методами эволюционной биологии.
- 32 Блаватская Елена Петровна (1831—1891) — русская писательница, много путешествовавшая по Индии и Тибету и увлекавшаяся основными идеями индийской философии. Основала в США теософское общество, пропагандировавшее эклектичное соединение мистики буддизма и других восточных учений с элементами оккультизма и неортодоксального христианства.
- 33 Антропоморфизм — наделение человеческими свойствами и характеристиками (развитыми формами психики, сознанием) предметов и явлений неживой природы, животных, мифических существ и т. д. Антропоморфные воззрения следует отличать от научных представлений об элементарной рассудочной деятельности у животных.
- 34 Ламарк (Lamarck) Жан Батист (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создавший учение об эволюции живой природы и заложивший основы зоопсихологии. Одновременно с немецким ученым Г. Р. Треврапусом ввел в научный оборот термин «биология».
- 35 Дарвин (Darwin) Чарльз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, иностранный член Петербургской АН. В ряде фундаментальных работ вскрыл основные факторы эволюции органического мира и обосновал гипотезу происхождения человека от обезьяноподобного предка.
- 36 Этология — одно из направлений в изучении поведения животных. Занимается в основном изучением генетически обусловленных (инстинктивных) компонентов поведения и проблемами их эволюции. Оформилась

в самостоятельное научное направление в 30-е годы XX в. Основной метод — длительное наблюдение за животными в естественной среде, а также полевой и лабораторный эксперименты. Многие проблемы этологии находятся на стыке исследований по зоопсихологии, поэтому иногда ученые, особенно зарубежные, действительно не разделяют зоопсихологию и этологию на самостоятельные научные направления. Подробнее об этологии см.: Панов Е. Н. Этология — ее истоки, становление и место в исследовании поведения. М., 1975; Хайдн Р. Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психологии. М., 1975.

- 37 Личное уравнение, или личная ошибка, — термин, принятый в ряде научных дисциплин (астрономия, оптика, психология и др.) для обозначения погрешностей измерений, обусловленных физическими и психическими особенностями наблюдателя. Личная ошибка имеет систематический характер и лишь в незначительной мере изменяется в зависимости от изменений состояния наблюдателя, условий наблюдений, способа регистрации наблюдаемой величины и т. д. Существование личной ошибки обнаружено в конце XVIII в. Исследованиями личной ошибки занимались Ф. Бессель, В. Я. Струне, Н. Я. Цингер.
- 38 Психомоторика — совокупность любых двигательных действий, реакций, актов, служащих следствием, результатом сознательной и бессознательной психической активности (деятельности) человека.
- 39 В июне 1921 г. в Харькове состоялось III Всеукраинское совещание по просвещению. В числе других на нем обсуждались вопросы, касающиеся организации системы высшего образования на Украине, разработки учебных планов, программ и методов работы высшей школы. Во главу угла в связи с требованиями времени был поставлен вопрос о реорганизации старой высшей школы «в институты по производственному и функциональным признакам». Осуществляя принятое по этому вопросу решение, Наркомпрос УССР в 1921 г. ликвидировал на Украине все университеты, которые ошибочно рассматривались как наиболее консервативная форма старого высшего образования. Вместо университетов создавались институты народного образования (ИНО), готовившие учителей для школ профобразования. В то же время в РСФСР университеты как центры научной деятельности были сохранены в системе других высших учебных заведений. См.: Третье Всеукраинское совещание по просвещению. Выдержки из материалов работ пленума и секций. Резолюции. Харьков: Гориздат, 1922.
- 40 Харьковский университет в июне 1920 г. (на базе историко-филологического и физико-математического факультетов) был преобразован

во Временные высшие педагогические курсы, а еще через месяц — в Академию теоретических знаний. Малая коллегия Укрглавпрофобра в своем решении от 18 мая 1921 г. постановила: «В соответствии с системой педагогической подготовки работников просвещения Харьковскую академию теоретических знаний упразднить с 1 июня, используя все ее ресурсы и преподавательский персонал для организации Института народного образования с факультетами: социального воспитания, технико-педагогическим и политико-просветительным» (см.: ЦГАОР УССР, ф. 116, оп. 3, д. 276, л. 6.; цит. по: Харьковский государственный университет. 1805—1980. Исторический очерк. Харьков, 1980. С. 49). В 1929—1930 гг. на базе Харьковского ИНО были созданы четыре института: педагогический, Институт политического просвещения, педагогический институт профессионального образования и физико-математический институт. 1 сентября 1933 г. педагогический институт профессионального образования и физико-математический институт были слиты и преобразованы в Харьковский государственный университет, которому 19 августа 1936 г. было присвоено имя А. М. Горького. См.: Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова. Харьков: Прапор, 1977. С. 33.

41 В соответствии с приказом Укрглавпрофобра от 20 апреля 1921 г. был введен новый порядок приема в институты народного образования. В институты принимались лица не моложе 18 лет, командированные партийными, комсомольскими, профессиональными и общественными организациями и успешно сдавшие предварительный коллоквиум. В ходе коллоквиума предполагалось установить объем знаний абитуриентов в области языка, литературы, математических, естественных и исторических наук, «выяснить общественное развитие и ориентировку» в вопросах экономического и культурного строительства и культурной жизни. У лиц, окончивавших дореволюционные средние школы, рекомендовалось обратить особое внимание на выяснение общественного развития и политической сознательности. См.: Бюллетень Укрглавпрофобра. 1921. № 2. С. 5.

42 Герпетология — раздел зоологии, изучающий пресмыкающихся (ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы) и земноводных (лягушки, саламандры, жабы и т. д.).

43 Дрозофилы (*Drosophila*) — род мух семейства плодовых мушек. Короткий жизненный цикл, высокая плодовитость, возможность развития на агарсодержащих средах, разнообразие естественных рас и мутантов, малое число хромосом делают их удобными животными для

проведения экспериментальных исследований по генетике, физиологии, цитологии, экологии и т. д.

- 44 **Евгеника** — учение о наследственном здоровье и путях его улучшения. Основные принципы разработаны Ф. Гальтоном во второй половине XIX в. Наиболее бурно развивалась в первой половине XX в. на основе достижений генетики. Прогрессивные ученые ставили перед евгеникой гуманные собственно научные цели, однако использование евгенических идей для оправдания расизма в ряде реакционных теорий (например, фашистская расовая теория) дискредитировало евгенику как научную дисциплину, а самому термину «евгеника» придало антинаучное значение. В современной науке многие проблемы евгеники рассматриваются в рамках генетики человека, в том числе медицинской генетики. Подробнее см.: Дитль Г.-М., Газе Г., Кранхольд Г.-Г. Генетика человека в социалистическом обществе (Философско-этические и социальные проблемы). М., 1984.
- 45 **Первичноротые (Protostomia) и вторичноротые (Deuterostomia)** — два подраздела двусторонне-симметричных многоклеточных животных. Первичноротые характеризуются превращением бластопора (первичного рта) в ротовое отверстие, а дефинитивный рот появляется впереди независимо. К первичноротым относится большинство типов беспозвоночных животных, а к вторичноротым — полухордовые, иглокожие и хордовые. Однозначно вопрос о происхождении первично- и вторичноротых на сегодня в науке не решен. В соответствии с одними гипотезами они произошли от настоящих многоклеточных животных, по другим — имеют общих предков среди низших червей (сколецид).
- 46 **Импринтинг** — запечатление, формирование в раннем периоде развития особи устойчивой индивидуальной избирательности к внешним стимулам. Различают несколько типов импринтинга: половой, реакция следования, запоминание животным места своего рождения, карты звездного неба и т. д. Возможен лишь на определенном этапе раннего онтогенеза, в так называемый критический или чувствительный период. Импринтинг представляет собой особую форму обучения, происходящего в период созревания сенсорных систем организма.
- 47 **Описывая историю создания заповедника Аскания-Нова, К. К. Платонов допускает неточность: Ангальт-Кетенский Фердинанд** — первый владелец земельных угодий, на которых ныне расположен заповедник, — был герцогом. Необходимо отметить одну из важнейших особенностей заповедника в Аскании: этот заповедник является одним из очень немногочисленных акклиматизационных парков. Аскания-Но-

ва является первым в России частным заповедником. Вопрос же о том, каким по счету этот заповедник был в Советской России, остается на сегодня неизвестным.

- 48 Найти материалы о награждении К. Е. Сиянко не удалось.
- 49 Лысенко Трофим Денисович (1898—1976) — советский биолог и агроном, президент (с 1938 по 1956 и в 1961—1962 гг.) ВАСХНИЛ, автор трудов в области агробиологии, Герой социалистического труда. В силу целого ряда обстоятельств на протяжении десятков лет фактически владел монопольно биологической наукой и в силу этого поддерживал и продвигал ряд антинаучных разработок и вместе с тем вел активную борьбу с таким важным направлением научного познания, как генетика. Это привело к практическому сворачиванию генетических исследований в нашей стране.
- 50 Филипченко Юрий Александрович (1882—1930) — советский биолог и автор монографий по проблемам наследования человеческих качеств, генетическим основам селекции, проблемам эволюции. Пионер применения вариационной статистики в биологии и один из основоположников отечественной генетики человека.
- 51 В данном случае явная ошибка автора: Ю. А. Филипченко умер в 1930 г. (см. БСЭ), и поэтому К. К. Платонов не мог встретить его в 1945 г. в Берлине. В данном эпизоде, скорее всего, упоминается книга Ю. А. Филипченко «Генетика», выдержавшая в последующем несколько изданий.
- 52 Вавилов Николай Иванович (1887—1943) — советский генетик, академик АН СССР. С 1929 по 1935 г. являлся первым президентом ВАСХНИЛ, лауреат премии им. В. И. Ленина (1926). Основатель современного учения о центрах происхождения культурных растений. Совершая путешествия в различные страны, собрал огромную коллекцию семян злаковых культур, которая является сегодня уникальной.
- 53 «Персей» — первое советское экспериментально-исследовательское судно. Представлял собой двухмачтовую деревянную шхуну, приспособленную для плавания во льдах. Построен в 1922 г. в Архангельске. Вот что пишет об этом С. В. Обручев: «В Архангельске нашли корпус недостроенной деревянной шхуны, машины и котел были взяты с затонувшего в 1916 г. близ Архангельска морского буксира, а все остальное, вплоть до последней чайки, было отыскано сотрудниками института по бесконечным пристаням... на судах, предназначавшихся на слом... “Персей” невелик — всего сорок один метр длины, пятьсот пятьдесят

тонн водоизмещения, но зато какое изящество форм, как гармонично заострены профили носа и кормы, как плавно округлены борта, которые смогут выдержать удары льдин!» См.: Обручев С. В. В неизведанные края. Путешествия на Север. 1917—1930 г. М.: Молодая гвардия, 1954. С. 239—240.

- 54 Плавающий морской институт (Плавморнин) был создан в целях всестороннего и планомерного изучения северных морей, их островов, побережий, имеющих государственно-важное значение. Институт находился в ведении народного комиссариата просвещения и включал следующие отделения: гидрологическое, метеорологическое, биологическое и геолого-минералогическое. См. Декрет СНК от 10 марта 1921 г.
- 55 В морях Северного Ледовитого океана в период с 1923 по 1941 г. на «Персее» было совершено 84 научные экспедиции, преодолено в общей сложности более 100 тысяч морских миль. В целом шхуна пробыла в море почти шесть лет. Корабль затонул после атаки фашистских самолетов в 1941 г. На «Персее» плавали выдающиеся представители отечественного мореведения И. И. Месяцев, Н. Н. Зубов, В. В. Шулейкин, А. А. Зенкевич, В. Г. Богаров, М. В. Кленова, А. А. Шарыгин, А. Д. Добровольский и др. Первая полярная экспедиция была проведена на «Персее» в июне 1923 г. под руководством И. И. Месяцева.
- 56 Краснов Андрей Николаевич (1862—1914) — русский ботаник и географ, автор трудов по истории растительного мира Средней Азии, степей северного полушария. Активно способствовал разведению в России цитрусовых и чая. Основатель Батумского ботанического сада в 1912 г.
- 57 Гидробиология — комплексная биологическая наука, изучающая водные экосистемы и их компоненты. Имеет большое практическое значение. Основная прикладная задача — разработка научных основ рационального использования и охраны ресурсов пресных и морских вод, расширение аквакультуры, изучение последствий регулирования и переброски стока рек, проблемы чистой воды. Подробнее см.: Константинов А. С. Общая гидробиология. М., 1979; Зернов С. А. Общая гидробиология. М.; Л., 1949.
- 58 В архиве К. К. Платонова указанной переписки не обнаружено.
- 59 Остеология — раздел морфологии позвоночных, изучающий костный скелет в целом, отдельные кости и костную ткань. Данные остеологии имеют важное значение для медицины, а также используются при изучении животных и растений прошлых геологических эпох.

- 60 Ангиология — отдел анатомии, посвященный кровеносным сосудам.
- 61 Матрикул — устаревшее название зачетной книжки студентов.
- 62 УПНИ (Украинский психоневрологический институт) — научно-исследовательское учреждение, созданное в 1920 г. в г. Харькове Наркомздравом УССР. Создан согласно решению съезда по медицинскому образованию, проходившего в июле 1920 г. Начало реальной научной работы сотрудников института относится к весне 1922 г. Первое время УПНИ числился как часть I Украинского института научной медицины (образованного главным образом из учреждений Харьковского медицинского общества), и лишь весной 1922 г. распоряжением Наркомздрава он был выделен в самостоятельное учреждение с отдельным бюджетом. УПНИ не только ставил своей задачей изучение психоневрологии и невробиологии, но также занимался и общими вопросами изучения и воспитания личности, индивидуальности человека. В институте психической проблематикой занимался ряд структурных подразделений: отделение психофизиологии с экспериментальной фонетикой и учением о реакциях человека (зав. Л. А. Квинт), педологический (научный руководитель Л. А. Квинт) и психотерапевтический (научный руководитель К. И. Платонов) отделы, отделения диспансера, а также психологический кабинет (руководитель Л. А. Квинт). Основной особенностью отечественных психоневрологических институтов (первый из которых создал В. М. Бехтерев в Санкт-Петербурге) было их большее или меньшее стремление к комплектности. УПНИ был тем новым советским научным учреждением, которое в последующие годы достигло успеха в деле комплексирования наук психоневрологического круга. Инициатором создания института и его директором в течение первых 12 лет был А. И. Гейманович.
- 63 ДОПР — дом принудительных работ.
- 64 Психотехника — направление в психологии, разрабатывавшее различные аспекты практической деятельности людей, в основном в плане изучения проблем научной организации труда. Основными задачами психотехники являлись следующие: проведение профессионального отбора и профессиональной ориентации, рационализация трудовых приемов, техники и условий труда, разработка путей снижения аварийности и травматизма в производстве, исследование утомления и упрямости психических процессов и др. В нашей стране психотехника стала интенсивно развиваться с начала 20-х годов XX в. Однако, несмотря на целый ряд достижений в решении некоторых проблем, связанных с психологическим фактором в производстве, к концу 1930-х годов

психотехнические исследования в СССР фактически сворачиваются. Это было связано с теми ошибками, которые были допущены на разных этапах развития психотехники: понимание ее как науки, нейтральной по отношению к философии и теории психологии, отсутствие научно-теоретического обоснования большинства практических рекомендаций за счет фактически существовавшего отрыва психотехнической практики от психологической теории, эмпиризм и ряд механистических ошибок (рассмотрение отдельными психотехниками человека как «живой машины», абсолютизация значения количественных показателей в ущерб качественным), широкое использование практикующими психотехниками не всегда надежных тестологических испытаний. И хотя с начала 1930-х годов психотехники начинают преодолевать некоторые из них, тем не менее к началу 1940-х годов психотехнические учреждения либо закрываются, либо переориентируются на медико-биологическую или санитарно-гигиеническую проблематику. В настоящее время проблемы, связанные с различными аспектами трудовой деятельности человека изучаются в рамках таких научно-психологических направлений, как психология труда и промышленная психология.

- 65 Коэффициент корреляции — численный показатель статистической оценки связи двух признаков (переменных); широко применяется в психологических, психофизиологических исследованиях.
- 66 Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском и других исследованиях путем опроса самого обследуемого и знающих его лиц. В зависимости от направленности и основной тематики получаемых сведений выделяются различные виды анамнезов (анамнез болезни, анамнез жизни, анамнез наследственный и т. д.).
- 67 Профессиография — метод психологии и физиологии труда, заключающийся в детальном описании состава и организации трудовых процессов, лежащих в основе конкретных видов труда, а также факторов производственной среды, влияющих на работоспособность и состояние здоровья человека.
- 68 Профессиограмма — описанием методом профессиографии (см. выше) какого-либо вида профессиональной деятельности в конкретных производственных условиях.
- 69 Диагноз дифференциальный — этап диагностики, устанавливающий отличие данной болезни от других, сходных по клиническим проявлениям.
- 70 Гистология — раздел морфологии, изучающий ткани многоклеточных животных. Ее становление как самостоятельной научной дисциплины

относится к 20-м годам XX в. Методологическую основу составляет клеточная теория. Основные задачи гистологии — исследование причин развития и эволюции тканей, строения и функций отдельных клеток, клеточных сред, выяснение механизмов взаимодействия между клетками и различными тканями, обеспечивающих целостность и совместную деятельность тканей. Подробнее см.: Хэм А., Кормак Д. Гистология. Т. 15. М., 1982—1983; Хлопин Н. Г. Общепатологические и экспериментальные основы гистологии. Л., 1946.

- 71 Теория парабиоза — теория, разработанная русским физиологом Н. Е. Веденским. Посвящена объяснению механизма и описанию стадий (фаз) развития парабиоза — особой формы активности (реакции) живой ткани, прежде всего нервной, возникающей при приложении к ней разнообразных внешних воздействий достаточной силы и длительности. При определенной силе и длительности их действий в нервной ткани парабиоз приводит к торможению волновой активности, приходящей к соответствующему участку нерва.
- 72 Французский врач Клод Сиго в 20-е годы XX столетия создал типологию типов телосложения у человека. В ее основе лежала концепция, согласно которой существует связь между телосложением и свойствами темперамента, а также представление о том, что организм человека и его расстройства зависят от среды и врожденных предрасположенностей. Каждой системе организма соответствует определенная внешняя среда, воздействующая на эту систему. Так, воздух — источник дыхательных реакций, пища — источник пищевых реакций, моторные реакции протекают в физической среде, социальная среда вызывает различные мозговые реакции. В связи с доминированием в организме одной из систем К. Сиго выделял четыре основных типа телосложения: дыхательный, пищеварительный, мускульный и мозговой, каждому из которых соответствуют специфическая реакция организма на изменения окружающей среды и определенные особенности темперамента. Типология К. Сиго оказала значительное влияние на формирование современных конституционных концепций.
- 73 Эндемия — постоянное существование на какой-либо территории определенного (чаще инфекционного) заболевания.
- 74 Нацменка — встречающееся в быденном языке некорректное название женщины, принадлежащей к какому-нибудь национальному меньшинству (составлено из сокращенных слов «национальный» и «меньшинство»).
- 75 Военно-врачебная комиссия — высший орган военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах СССР, занимающийся вопросами

руководства, контроля, организации, анализа и оценки деятельности всех военно-врачебных комиссий в ВС.

- 76 Эргономика (от греч. *εργον* — работа и *νόμος* — закон) — наука, изучающая допустимые физические и психические нагрузки на человека в процессе труда, проблемы оптимального приспособления окружающих условий производства для эффективного труда.
- 77 Психологический профиль — один из первых психодиагностических методов, примененных в клинике. Разработан русским психоневрологом Г. И. Россолом в 1910 г. Состоит в получении на основе определенных процедур количественных оценок (по 10-балльной шкале) 11 психологических функций и процессов. Результаты представляются в графической форме и называются психологическим профилем личности. В современной психодиагностической практике используется в силу неверных теоретических положений, на основе которых он разработан.
- 78 Коллизия (от лат. *collisio* — столкновение) — столкновение противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов.
- 79 Пикнический (от греч. *крепкий, мощный*) — тип строения тела, для которого характерна крепкая фигура, короткая шея, большой живот.
- 80 Концепция функциональной структуры личности (полное название «концепция динамической функциональной структуры личности») — концепция, на протяжении ряда лет развивавшаяся К. К. Платоновым. Основными ее положениями являются следующие: определение личности в предельно широком смысле — человек как носитель сознания; выделение двух структур личности (динамической и функциональной), тесно между собой связанных и, по сути, являющихся двумя сторонами динамического процесса формирования личности; определение на основе нескольких критериев четырех подструктур личности: направленность личности (убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, желания), опыт (привычки, умения, навыки, знания), особенности психологических процессов (воля, чувство, восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память), биопсихические свойства (темперамент, половые и возрастные свойства) — с разной степенью детерминации каждой из подструктур биологическими и социальными факторами. Эта концепция структуры личности получила определенное признание психологов. На основе концепции разработан один из методов изучения личности — так называемый метод обобщения независимых характеристик (МОНХ). Подробно концепция динамической функциональной структуры личности изложена в одной из последних книг К. К. Пла-

тонова: Платонов К. К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. С. 131–141.

- 81 Эргология — понятие, введенное В. М. Бехтеревым и В. Н. Мясищевым в 1921 г., фактически синоним эргономики.
- 82 Под эмоциогениями, очевидно, имеются в виду психогении — психические болезни или расстройства психической деятельности, а также видоизменения клинической картины некоторых психических болезней под влиянием эмоциональных потрясений.
- 83 Гипоксемия — понижение содержания кислорода в крови.
- 84 Хандбук (англ. handbook) — руководство, справочник, указатель.
- 85 МОНХ (полное название — «метод обобщения независимых характеристик, получаемых при изучении личности в различных видах деятельности») — метод, разработанный К. К. Платоновым для изучения личности. Опирается на положение, согласно которому чем в больших видах деятельности изучается личность, тем она разнообразнее и глубже раскрывается и соответственно тем легче исследовать ее особенности. Поэтому методика предусматривает анализ различных сторон и свойств личности в различных видах деятельности и затем их обобщение. Этот метод может рассматриваться как «специфическая разновидность метода экспертизы, причем специфичность заключается в ожидании не одинаковых, а различных оценок экспертов, соответствующих различным видам деятельности, в которых каждый из них изучает одну и ту же личность». См.: Платонов К. К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. С. 205.
- 86 Гештальтизм — сокращение от гештальтпсихологии. Гештальтпсихология — одно из течений в психологии, выдвинувшее в качестве объяснительного принципа в психологии изучение психики с точки зрения целостных структур (гештальтов — отсюда название течения), которые понимаются как первичные по отношению к своим компонентам и не сводятся к сумме своих частей. Основным положением гештальтпсихологии является идея о том, что внутренняя организация целого определяет свойства и функции образующих это целое частей. Представители течения внесли определенный вклад в изучение таких психических процессов, как восприятие и мышление, в разработку категории психического образа, совершенствование и создание новых экспериментально-психологических методик и процедур. Однако понимание психических явлений как якобы полностью независимых от предшествующей предметной деятельности человека, его опыта и знаний, а также

фактически признаваемое тождество образов восприятия и реальных предметов часто уводило представителей гештальтпсихологии от подлинно научного, причинного понимания психических явлений. Главные представители этого течения — немецкие психологи М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка.

- 87 Вивисекция (от лат. *vivus* — живой и *sectio* — рассечение) — операция на живом животном с целью изучения функций организма, действия на него различных веществ, разработки методов лечения и т. п.
- 88 Тренажер — техническое средство профессиональной подготовки человека к условиям реальной деятельности, обеспечивающее постоянный контроль качества деятельности обучаемого и предназначенное для формирования и совершенствования у него профессиональных навыков или умений.
- 89 Гекзаметр (от греч. *hexametros* — шестистопный) — стихотворный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль с цезурой (паузой), рассекающей стих обычно на третьей стопе («Илиада», «Одиссея»). В силлабо-тоническом стихосложении передается сочетанием дактилей с хорейми («Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила», А. С. Пушкин).
- 90 Циклоид (от греч. кругоподобный, круглый) — тип строения тела.
- 91 Преморбидная личность — личность, которой свойственны какие-либо нарушения психической деятельности, то есть характеризующаяся отклонением от нормы психических свойств и состояний до момента настоящего заболевания. Правильнее говорить о преморбидном состоянии личности — таком состоянии личности больного, которое предшествует и способствует развитию болезни.
- 92 Прозектор — врач, производящий вскрытие трупа, или врач, заведующим патологоанатомическим отделением.
- 93 Нервизм — направление в физиологии и медицине, признающее за нервной системой главенствующую роль в регуляции жизнедеятельности организма как в норме, так и в патологии.
- 94 Сурдокамера — помещение со светозвуконепроницаемыми стенами, служащее для проведения исследований (физиологических, психологических и др.), а также тренировок космонавтов в условиях сенсорной ограниченности: уменьшения до минимума уровня звуковых, зрительных и других раздражений, поступающих в центральную нервную систему.

- 95 Штрафной батальон — особое военное формирование для отбывания военными наказания за уголовные и воинские преступления, совершенные в военное время. Личный состав штрафной части в годы Второй Мировой войны лишился воинских званий и наград и использовался на наиболее тяжелых и опасных участках боевых действий. Штрафные части создавались в вооруженных силах ряда государств.
- 96 Шок — остро развивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, обусловленный действием на организм сверхсильного раздражителя и характеризующийся тяжелыми нарушениями деятельности ЦНС, кровообращения, дыхания и обмена веществ. Гипогликемический шок — шок, возникающий при резком снижении содержания глюкозы в крови.
- 97 Сшибка (правильно: сшибка нервных процессов) — понятие, употреблявшееся в исследованиях павловской школы для обозначения перенапряжения силы и подвижности нервных процессов. Вызывалась сближением во времени или увеличением сходства двух условных раздражителей, один из которых вызывает процесс возбуждения, а другой — торможения, а также при переделке положительного раздражения в тормозное и наоборот. Сшибка нервных процессов является одной из причин срывов высшей нервной деятельности и развития неврозов.

Составитель примечаний
Ю. Н. Олейник

Научное издание

Серия «Выдающиеся ученые Института психологии РАН»

Константин Константинович Платонов

**МОИ ВСТРЕЧИ НА ВЕЛИКОЙ ДОРОГЕ ЖИЗНИ
(Воспоминания старого психолога)**

Под редакцией

*А. Д. Глоточкина, А. Л. Журавлева,
В. А. Кольцовой, В. Н. Лоскутова*

Редактор — *О. В. Шапошникова*

Корректор — *И. В. Клочкова*

Макет и верстка — *Б. В. Пулькин*

Сдано в набор 23.06.2005 г. Подписано в печать 12.09.2005 г.

Печать офсетная. Тираж 500 экз. Гарнитура academia.

Усл. печ. л. 19,4. Уч.-изд. л. 14,9.

Тираж 500 экз. Заказ №

Лицензия ЛР № 03726 от 12.01.01

Издательство «Институт психологии РАН»

129366, Москва, ул. Ярославская, 13

тел.: (095) 282-51-29

E-mail: publ@psychol.ras.ru

www.psychol.ras.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов

в ППП «Типография «Наука»

121099, г. Москва, Шубинский пер., 6

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ РАН»**

В НАЛИЧИИ

1. Соснин В.А., Лунев П.А. Как стать хозяином положения: Анатомия эффективного общения. — М.: Издательский центр «Академия», Институт психологии РАН, 1996. — 220 с.
2. Психологическая наука в России XX столетия: Проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1997. — 576 с.
3. Миракян А.И. Контуры трансцендентальной психологии. Книга 1 / Отв. ред. В.В. Давыдов, Ф.Т. Михайлов. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. — 208 с.
4. Детская речь: Психолингвистические исследования / Отв. ред. Т.Н. Ушакова, Н.В. Уфимцева. — М.: ПЕР СЭ, 2001. — 224 с.
5. Психологические исследования дискурса / Отв. ред. Н.Д. Павлова. — М.: ПЕР СЭ, 2002. — 208 с.
6. Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 1. Общая психология, психология труда и инженерная психология. Материалы юбилейной научной конференции ИП РАН, 28 — 29 января 2002 г. / Отв. ред.: А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. — 312 с.
7. Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 2. Общая и социальная психология, психология личности и психофизиология, экономическая, организационная и политическая психология. Материалы юбилейной научной конференции ИП РАН, 28 — 29 января 2002 г. / Ответственный редактор А.Л. Журавлев. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. — 363 с.
8. Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 3. Социальные представления и мышление личности. Материалы юбилейной научной конференции ИП РАН, 28 — 29 января 2002 г. / Отв. ред. К.А. Абульханова, М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. — 288 с.
9. Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 4. Методологические проблемы историко-психологического исследования. Материалы юбилейной научной конференции ИП - РАН, 28 — 29 января 2002 г. / Отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. — 336 с.
10. Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Часть 5. Программы и методики психологического исследования личности и группы. Материалы юбилейной научной конференции ИП - РАН, 28 — 29 января 2002 г. / Отв. ред. А.Л. Журавлев. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. — 368 с.
11. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Нравственно-психологическая регуляция экономической активности. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. — 436 с.
12. Голиков Ю.Я. Методология психологических проблем проектирования техники. — М.: ПЕР СЭ, 2003. — 224 с.
13. Обознов А.А. Психическая регуляция операторской деятельности. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. — 181 с.

14. Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функциональных состояний. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. — 318 с.
15. Ушаков Д.В. Интеллект: Структурно-динамическая теория. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. — 264 с.
16. Личность и проблемы развития / Отв. ред. Е.А. Чудина. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. — 127 с.
17. Миракян А.И. Контуры трансцендентальной психологии. Книга 2. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 384 с.
18. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 424 с.
19. Барабанщиков В. А., Носуленко В. Н. Системность. Восприятие. Общение. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 480 с.
20. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия: теоретические и прикладные проблемы. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 476 с.
21. Проблемы экономической психологии. Том 1 / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 620 с.
22. Профессиональная пригодность: субъектно-деятельностный подход / Под ред. В. А. Бодрова. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 390 с. (Труды Института психологии РАН)
23. Воловикова М.И. Представления русских о нравственном идеале. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 312 с.
24. Исследования по когнитивной психологии / Под ред. Е. А. Сергиенко. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 478 с. (Труды Института психологии РАН)
25. Воронин А.Н. Интеллект и креативность в межличностном взаимодействии. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 270 с.
26. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 176 с. (Труды Института психологии РАН)
27. Харламенкова Н.Е. Самоутверждение подростка. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 296 с.
28. Исследования по когнитивной психологии / Под ред. Е. А. Сергиенко. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 478 с. (Труды Института психологии РАН)
29. Идея системности в современной психологии / Под ред. В. А. Барабанщикова. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 496 с. (Труды Института психологии РАН)
30. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 416 с. (Труды Института психологии РАН)
31. Кольцова В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 414 с.

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ РАН»
можно приобрести в магазине
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КНИГА»
по адресу: Москва, ул. Ярославская, 13
Тел. для справок (095) 682-0100
Часы работы магазина:
понедельник — пятница с 10–00 до 18–00**